

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ ПУШКИНА

Петербургские  
встречи  
Пушкина







Петербургские  
Встречи  
Стуцкина



ЛЕНИЗДАТ  
1987



Составитель  
*Л. Е. Кошечая*

Научный редактор —  
кандидат филологических наук,  
старший научный сотрудник ИРЛИ  
(Пушкинский Дом) АН СССР  
*Р. В. Иезуитова*



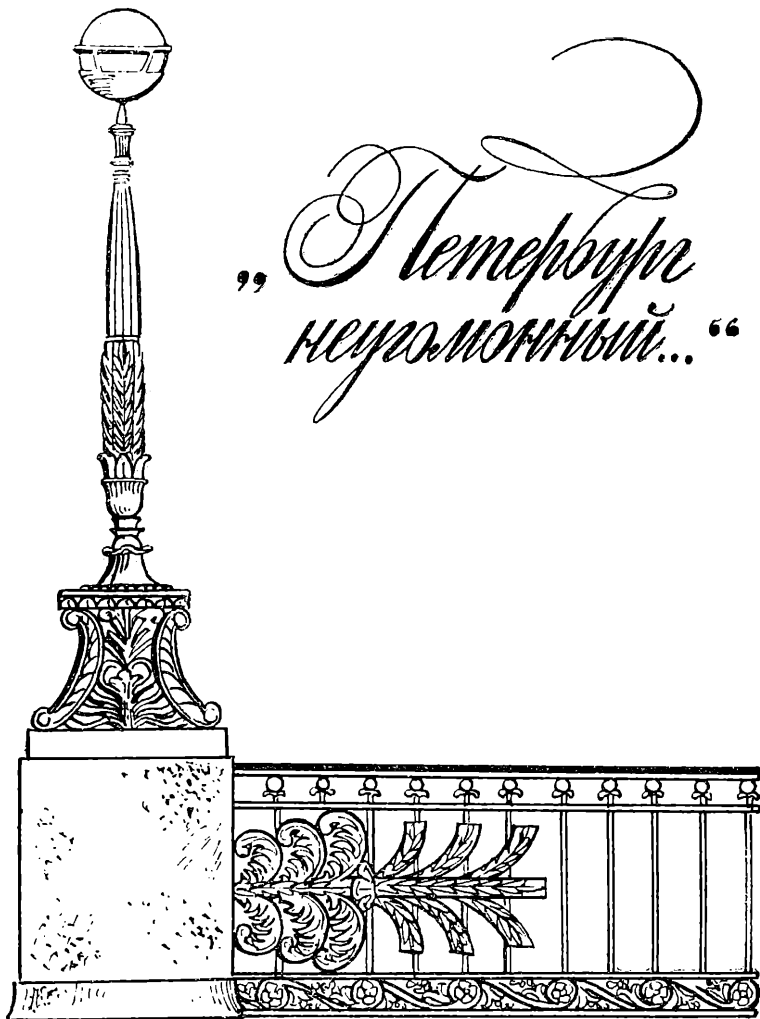
Эта книга — о современниках Пушкина, о его петербургском окружении. Среди тех, с кем поэта свела судьба в Петербурге, — его собраты литераторы, знаменитые артисты и художники, композиторы и музыканты, участники тайных декабристских обществ, видные общественные деятели. Круг замечательных людей, о которых рассказывает эта книга, достаточно разнообразен и широк. Авторы стремились представить Пушкина в живом человеческом и творческом общении с людьми, внутренне ему близкими, интересными с разных точек зрения, в острых столкновениях с его недругами и идейными противниками. Наряду с известными общественными и культурными деятелями героями книги стали лица, исторически, казалось бы, не примечательные, но привлекавшие поэта неповторимостью своего характера, необычностью поступков, резко выраженной индивидуальной манерой поведения и духовного склада. Среди них — женщины, которые одарили его прекрасными мгновениями любви и творческого вдохновения. Читатель сможет поближе узнать и тех, с кем поэт встретился невзначай, «проселочной дорогой», и эти мимолетные встречи обогатили и ободрили поэта, принесли ему радость живого общения. В свою очередь, многочисленные собеседники поэта смогли оценить его высокую образованность, просвещенный ум, живую любознательность, искреннее остроумие, душевную отзывчивость — словом, все те качества, которые делали столь привлекательным и обогащающим общение с ним, каким бы кратковременным оно ни было. Весь этот разнохарактерный материал подчинен главной цели — высветить многие грани духовного облика Пушкина, увидеть их глазами его современников, но и в них раскрыть то, что открылось глубокому и проницательному взору поэта.

Авторы книги не стремились заполнить все «белые пятна» петербургской биографии Пушкина, выявить и охарактеризовать неизвестные ранее петербургские знакомства поэта. Очерки, связанные единством главной темы и главного героя книги, должны, по замыслу авторов, помочь читателю получить более полное, более объемное представление о разнообразии и богатстве общественно-культурной жизни Петербурга в бурную и яркую эпоху русской



истории — эпоху пушкинскую. Пестрый kaleйдоскоп лиц, характеров, происшествий, событий дает новое освещение образу поэта, позволяет увидеть его в самой гуще современной жизни.

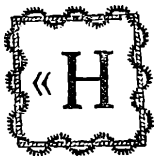
Очерки сгруппированы таким образом, чтобы читатель получил сравнительно достаточно полное представление о главных этапах жизни Пушкина в Петербурге. Книга разделена на две части. В первой, озаглавленной «Петербург неугомонный...», речь идет о встречах и знакомствах Пушкина в его ранние петербургские годы (1817—1820), во второй — «Город пышный, город бедный...» — рассказывается о тех, с кем поэт общался в последекабрьскую эпоху (1827—1837). Большая часть очерков построена по монографическому принципу, однако наряду с портретами отдельных героев читатель найдет в книге и своеобразные групповые портреты (деятелей тайных обществ, литературных объединений и даже участников других творческих содружеств). Авторы издания не стремились к строго выдержанному жанровому единообразию всех звеньев книги. Чаще всего сам материал подсказывал конкретную форму его подачи: одни очерки строго документальны, другие же, базируясь на исторически достоверных, документальных данных, написаны в более свободной манере. Каждому из разделов книги предпослано небольшое введение, в котором характеризуется атмосфера петербургской жизни разных ее периодов — преддекабрьского и последекабрьского.



„Петербург  
неурядливый...“







ового у нас здесь много: все улицы покрыты снегом, а набережные обложены гранитом, иные уверены, что на Исаакиевской площади воздвигнут монумент Петру Великому, изображающий его сидящего на коне, но наверное тебе сие утверждать не могу...»

Так, с легким озорством, писал пушкинский приятель Алексей Перовский в Москву Петру Вяземскому зимой 1812 года. И хотя невские берега действительно уже были одеты в гранит и бронзовый Петр уж лет тридцать как несся на своем гордом коне, но за ним не высилась еще величавая громада Исаакиевского собора, еще не взмыл в тусклое петербургское небо Александрийский столп и площадь перед Зимним дворцом не замкнулась изящной дугой творения Росси... Но вытягивались «в линию» стройные петербургские проспекты, отделявались со всей возможной роскошью особняки. Застраивались кварталы и победнее. Ни зимой, ни летом не умолкали в молодой столице перестук плотничьих топоров и мерные удары каменотесов. Деловито гудела Биржа, по воде без усталости сновали бойкие перевозчики. Город рос.

...«Нового у нас здесь много...» — этот только что усвоенный просвещенной молодежью ироничный, «английский», «разочарованный», названный потом «онегинским», тон не мог скрыть, однако, бурного кипения умов и страстей. На дружеских сходках и светских раутах, на



бесшабашных пирушках и в департаментах Сената уже задумывались над судьбой России. Недаром сюда, «в пышный Петроград», стремился из «темной» лицейской кельи юный Пушкин. Здесь были друзья, манящее разнообразие столичной жизни, сюда летела из Царского Села слава нового поэтического гения.

...На Фонтанке, в доме престарелого Гаврилы Державина, в старинной, украшенной колоннами зале церемонно заседали сановные ревнители «классической» литературной старины, члены «Беседы любителей русского слова». Даря слушателей тяжеловесной поэзией, они заодно предавали анафеме и молодых своих хулителей. Сторонники новых веяний, их ярые насмешники, стали собираться на другом конце той же набережной, в доме Голицына, где жили братья Тургеневы и, устраивая «шутовские действия», «отпевали» кого-нибудь из членов «Беседы». Неторопливый Жуковский и щеголь Уваров, меланхоличный Батюшков и язвительный Вяземский, всюду поспевающий Александр Тургенев, молодые «либералисты» Никита Муравьев, Николай Тургенев, Михаил Орлов... «Вот истинная русская академия, составленная из молодых людей умных и с талантом», — писал жене Н. М. Карамзин, частый гость собраний «Арзамаса», объединившего «новую» молодежь. Сюда, в «арзамасское братство», под веселым именем «Сверчок» заочно был принят и хорошо известный членам кружка лицейст.

Венец желаньям! И так я вижу вас  
О други смелых муз, о дивный Арзамас... —

приветствовал Пушкин этот дружеский союз, где дурачества перемежались служением легкокрылой музе, а шумный застольный разговор то и дело переходил в острый политический спор.

...Из приземистой, ревниво скрывающей свою пристойную бедность Коломны «рванулся» поэт навстречу

шумному Петербургу. В Коломне, по позднему свидетельству Гоголя, «все было тишина и отставка», там коротала век «необыкновенная дробь и мелочь», и почти провинциальный покой лишь изредка нарушался грохотом случайной кареты; сюда, на Козье болото, ходили по праздникам чиновники стрелять куликов. Здесь, на Фонтанке у Калинкина моста, в безалаберном родительском доме был у Пушкина «угол тесный и простой», здесь звонили к заутрене Покрова, к которым позже из дальних мест не раз уносился поэт «верною мечтою» и где творили потом безыскусную молитву обитатели «смирненной лачужки» — бедная вдова и ее дочь Параша.

Но картины эти, самый дух тогдашней Коломны, прочно отложившиеся в поэтической памяти, воскресли лишь десятилетие спустя. Юного же Пушкина Петербург притягивал иными впечатлениями, иными звуками.

Оглушала причудливая, многоголосая музыка улиц. Резкую барабанную дробь — сигнал казарменной побудки, взрывающий сонный рассвет провозвестником начавшегося дня, — сменял мерный скрип телег и возков: в город тянулись торговцы дровами, гужевым товаром, всевозможной снедью. Звенели в утреннем воздухе зычные крики разносчиков, шумели рынки, отпирались лавки, наперебой предлагали свои услуги бесчисленные извозчики в синих поддевках и высоких шапках. Ближе к полудню нарастал щегольской цокот копыт — начинали выезжать экипажи, легкие коляски и дрожки, скакали верховые. «Пади! Пади!..» — протяжно неслись чад парадной столицей юны, срывающиеся голоса форейторов. Лихие, нарядно одетые, беспечные «архангелы» быстрой петербургской езды, они увядали к ночи у театральных подъездов и освещенных особняков, пытались в томительном ожидании согреть над кучерскими кострами свои хрупкие мальчишеские тела... И лишь далеко за полночь, когда за цельными окнами особняков гасли бальные люстры, когда затихали, наконец, озорные улич-



ные «игры юношей разгульных», город, погружаясь в полумрак, отступающий у редких тусклых фонарей, затихал, и

...лишь ночные  
Перекликались часовые;  
Да дрожek отдаленный стук  
С Мильонной раздавался вдруг;  
Лишь лодка, веслами махая,  
Плыла по дремлющей реке:  
И нас пленяли вдалеке  
Рожок и песня удаляя...

...«Пади! Пади!..» Многоголосье Петербурга неслоь потом вслед Пушкину на юг, тревожа и выливаясь на бумагу. «Шумит ли Питер?» — спрашивал поэт из Тригорского у брата с затаенной тоской.

Петербург «шумел», однако, не только улицей. Вчерашние покорители Парижа, молодые генералы и юные гвардейские офицеры взволнованно обсуждали постыдность рабства; на троне еще царил в ореоле славы «властитель слабый и лукавый», и Сенатская площадь не обогрилась еще кровью, но несколько молодых людей — недавние защитники отечества — решили уже объединиться и довести дело свободы до конца. Пушкин потом обрел среди них не только друзей, но и наставников. Чаадаев, Федор Глинка, Николай Тургенев, в доме которого Пушкин был завсегдаем. Здесь «хромой Тургенев» давал непоседливому баловню муз суровые уроки гражданской нравственности, здесь родились знаменитые строки о вольности:

Хочу воспеть свободу миру,  
На тронах паразитъ порок.

Дерзновенные речи, дерзновенные стихи звучали в виду Михайловского замка — «пустынного памятника тирана», в стенах дома обер-прокурора Синода А. Голицына.

...Сквозь то беспечную, то серьезную, полную надежд молодость прорывался трагический гул эпохи.

...Петербург «шумел», и весело... Давались пышные балы. Небрежные вольнодумцы, не снимая шпаг, следили за кружением танца, влюблялись, вздыхали и стрелялись на дуэлях. То и дело пенилось, кружа головы, шампанское. Пушкин любил шумные дружеские обеды в модном тогда ресторане Талон.

Почти напротив него, у Полицейского моста, царил другой мир. Здесь, в номере известного Демутова трактира, осененный портретами Наполеона и Байрона, принимал друзей и светских знакомых один из самых блистательных молодых людей столицы — Петр Чаадаев. «Мудрец», «мечтатель», Чаадаев был полон гордых замыслов и веры в свое предназначение. Его уроки возвышали и сулили будущее героя — Пушкин в его присутствии оставлял свои дурачества.

*Приду, приду я вновь, мой милый домосед,  
С тобою вспоминать беседы прежних лет,  
Младые вечера, пророческие споры,  
Знакомых мертвецов живые разговоры...*

Здесь, у Демута, позже жил и Пушкин; отсюда отправился в Михайловское за гробом его Александр Тургенев.

Но тогда, еще до ссылки поэта, легкие прелести столичной жизни казались подчас неотразимыми. Кипели театральные страсти. Всегда был полон неистовый и благодарный раек, чинился и диктовал вкусы партер. Пушкин, страстный театрал и «почетный гражданин кулис», постоянно появлялся в первых рядах кресел, влюблялся в актрис, фланировал по Екатерининскому каналу перед Театральным училищем, не без тайного умысла заглядывая частенько в тамошнюю церковь, появлялся на «чердаке» у Шаховского — законодателя «театральных мод». Над общей «одержимостью» театром загорелся

и свет веселых собраний «Зеленой лампы», где, как и у «жрецов» арзамасского гуся, озорное бунтарство соседствовало с серьезностью интересов и устремлений, а картежный стол, развлечения с балетными «сильфидами» — с хлестким суждением о театре, литературе, о жизни. Не стеснялись здесь и в разговорах «на счет небесного царя, а иногда на счет земного». Дух вольномыслия несли в дом на Екатерингофском проспекте Яков Толстой, Федор Глинка, Сергей Трубецкой — члены «Союза благоденствия».

Я слышу, верные поэты,  
Ваш очарованный язык... —

это тоже о «лампаде» цвета надежды, о «Зеленой лампе», искрометно светившей Пушкину сквозь паутину первых разочарований, сквозь надвигавшуюся на него грозу: неосторожные стихи, пущенные беспечной рукой, уже кружили над городом, их жадно ловили, переписывали, заучивали наизусть. «Над здешним поэтом Пушкиным, если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное... — писал в апреле 1820 года Карамзин своему другу И. Дмитриеву. — Служа под знаменем Либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и проч., и проч. Это узнала полиция etc. Опасаются следствий». В те же дни — признание самого Пушкина Вяземскому: «Петербург душен для поэта...» А вскоре друзья Дельвиг и Павел Яковлев уже провожали Пушкина до Царского Села. Петербург вдруг остылел и стал отступать.

Я жажду краев чужих...

Однако «чужие края» лишь отодвинули, но не изгладил воспоминаний. Калейдоскоп столичной жизни продолжал тревожить дрожью, лихорадкой недавних дней. «Мочи нет, почтенный Александр Иванович, как мне хочется недели две побывать в этом пакостном Петербурге: без Карамзиных, без вас двух да еще без некоторых

избранных, соскучишься и не в Кишиневе...» Это — А. И. Тургеневу спустя год после высылки.

А в Петербурге многие из «избранных» все более преисполнялись решимостью пожертвовать собой для блага России. Эти петербургские токи живо ощущал Пушкин в кругу приятелей-южан. М. Ф. Орлов, В. Ф. Раевский, И. Д. Якушкин, «милые и умные отшельники» братья Давыдовы, Пестель... Екатеринослав, Кавказ и Крым в кругу семейства Раевских, Кишинев, наезды в Каменку, Одесса... «Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами». Собеседники — ядро конспиративного Юга. Споры — конечно, политические. Совсем рядом, за близким горизонтом — зарево греческого восстания. На север несутся, одна за другой, овечьные вольными южными ветрами вдохновенные страницы. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан»... Стремительно утверждающаяся, неоспоримая слава первого поэта. В столице — в обеих столицах — стихов ждут с нетерпением, просят, требуют, почитают украшением любого издания.

Но вольные южные ветры то и дело отдают горьким петербургским привкусом. Разгром кишиневской группы, аресты друзей, интриги М. С. Воронцова, Михайловское...

*Я вас бежал, отечески края...*

«Петербург душен...» Слова, написанные Вяземскому накануне ссылки, отозвались спустя два года в статье последнего о «Кавказском пленнике»: «Неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени». Еще через два года, уже в михайловской ссылке, образ отлился в бессмертную пушкинскую строку:

*Неволя душевных городов...*

Друзья, единомышленники поэта истово утверждали в правах отечественную словесность — и имя Пушкина было на их знамени.

В книжной лавке Слёнина на Невском, у Казанского моста, шла нарасхват новинка — альманах А. Бестужева и К. Рыльева «Полярная звезда» — конечно со стихами Пушкина. Вслед ему родились «Северные цветы» А. Дельвига. Приветствуя и поддерживая их начало, Пушкин вряд ли предполагал, что конец «Цветов» станет тризной по другу — и эту тризну суждено будет справлять ему... Однако пока оба альманаха будоражили умы, неожиданно явив читателям неопровержимые свидетельства существования русской литературы.

Пушкин пристально следит за петербургской жизнью, постоянно требует новостей. Михайловское вновь приблизило его к невским берегам — отсюда, из «тени лесов Тригорских», пульс столицы слышен был все явственнее. В первую же осень холодное дыхание Петербурга достигло михайловской глуши слухом о разыгравшейся водной стихии. Зловещий умысел природы... «Закрытие фетатра и запрещение балов — мера благоразумная. Благопристойность того требовала... — пишет опальный поэт брату Льву. — Желал бы я похвалить и прочие меры правительства, да газеты говорят об одном розданном миллионе. Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но овес, но вино?.. Этот потоп с ума мне нейдет, он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. Если тебе вздумается помочь какому-нибудь несчастному, помогай из Онегинских денег. Но прошу, без всякого шума, ни словесного, ни письменного».

История ускоряла свой бег.

В январе 1825 года Михайловское посетил Пуцун. Разговоры шли, между прочим, и о тайном обществе, и Пушкин догадывается теперь о причастности к нему лицейского друга. Через год после разгрома восстания Пуцун пойдет на каторгу. В апреле у Пушкина — Дельвиг. Одержимый «Северными цветами», он на пороге другого, сердечного увлечения. 30 октября он женится на Софье Салтыковой, предмете несчастной любви



*армейского офицера Каховского; а всего через полтора месяца, вечером 14 декабря, Каховский на квартире Рылеева будет навсегда прощаться с друзьями...*

*Спустя три дня после событий на Сенатской площади в Тригорское приходит известие о бунте. Через две недели в оцепеневшем, замершем Петербурге раздается голос ссыльного поэта: вышли в свет «Стихотворения Александра Пушкина». В фатально начертанном ранее эпитафии значилось: «Юность поет о любви — муж воспекает тревоги». Карамзин ужаснулся: «Зачем губит себя молодой человек?»*

*Долгие месяцы неизвестности, томительного ожидания, страха за друзей разрешились трагической вестью о казни пятерых, о жестоких каторжных приговорах.*

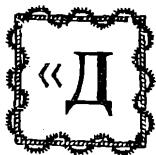
*Где вольность и закон? Над нами  
Единый властвует топор.*

*Пророческие слова, написанные в михайловской ссылке. «...Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна»...*

*Начинался новый виток истории.*

---

## „Отчизны внемлем призыванье...“



«Детьми 1812 года» вступило в жизнь поколение пушкинских сверстников, и такие понятия, как «патриот», «отчизна», «народ», «величие», «слава», наполнились для них совершенно новым смыслом. Война показала, кто явился подлинным спасителем страны, и заставила лучших людей России задуматься над ее судьбой.

«До сих пор история писала только о царях и героях,— заявлял Н. Бестужев.— О народе и его нуждах, его счастье или бедствиях мы ничего не ведали. Нынешний только век понял, что сила государства составляется из народа». Отечественная война 1812 года выявила огромные внутренние силы, скрывавшиеся в подавленном и забитом крепостном крестьянстве, и могучая сила народной России впервые заявила о себе в полный голос, поразив не только образованное русское, но и европейское общество. «Невозможно было не подивиться той силе сопротивления и решимости, которую обнаружил народ»,— восхищается знаменитая француженка де Сталь, непримиримая противница Наполеона.

Уважение к народу, ненависть к тем, кто унижает и угнетает его, становятся неотъемлемыми свойствами всякого истинного патриота. Недаром другой декабрист, И. Пущин, назвал послевоенные годы «политической эпохой народной жизни русской». Острые идейные споры, предельный накал политических страстей становятся едва ли не главной приметой этого времени.

Гостиными овладевали «либералисты», не скрывавшие своих убеждений, открыто громившие чиновничество и взяточничество, «искательство» перед сильными мира сего, страсть к наживе, кичливость знаменитыми предками. Привычное для крепостника наименование его холопа — «хам» — было переадресовано самому владельцу крепостных, выразив все презрение истинных патриотов к «барству дикому». Пылкие речи о народе, его бесправии, его нуждах, пугая негодующих ретроградов, пробуждали в молодых душах высокие гражданские чувства. Еще ожесточеннее, еще смелее звучали подобные речи среди тех, кто прошел военную кампанию 1812 года и воочию убедился в силе, мощи и величии народа. Заграничные походы русской армии лишь укрепили оппозиционные настроения в офицерской среде.

Много лет спустя не разделявший либеральных взглядов, но оставивший, однако, интереснейшие мемуары Ф. Ф. Вигель скажет, что Пушкина «сама судьба всегда совала в среду недовольных». «Царскосельские гусары» (Чаадаев, П. Каверин и др.) будут первыми среди тех, кто увлек поэта новыми идеями, ввел его в гущу современных политических споров. Затем последуют новые знакомства и встречи, посещение тех петербургских домов, где в кругу молодых вольнодумцев формировался и набирал силу свободолюбивый гений Пушкина.

### „Он в Риме был бы Брут...“



возможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношении к Вам», — писал Петру Яковлевичу Чаадаеву литератор И. В. Киреевский. Пушкин познакомился с Чаадаевым в доме историка Н. М. Карамзина, жившего летом 1816 года в Царском Селе. Здесь был расквартирован, по возвращении в Россию из европейского похода, лейб-гвардии гусарский

полк, где служил Чаадаев, к тому времени уже боевой офицер, овеянный славой сражений при Бородине, Кульме, Лейпциге, прошедший с победоносной русской армией до Парижа.

На Пушкина произвела впечатление и оригинальная внешность Чаадаева: его бледное, нежное лицо, казалось, было высечено из мрамора, серо-голубые печальные глаза светились добротой, но иронически улыбались тонкие губы. Одевался он чрезвычайно тщательно — «как dandy лондонский».

Как и все либерально мыслящие офицеры, проделавшие военную кампанию вместе с русскими солдатами — защитниками и патриотами родной земли, Чаадаев жил мыслью об уничтожении рабства и деспотизма в России. Он был близок к ранним декабристским организациям, и приобщал к идеям, которые сам проповедовал, Пушкина. «Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских — взяточниками, дворян — подлыми холопами, духовных — невеждами, все остальное — коснеющим и пресмыкающимся в рабстве», — вспоминал впоследствии Д. Н. Свербеев, знавший и Пушкина, и Чаадаева.

Лицейст Пушкин и офицер Чаадаев вели увлекательные беседы. Они говорили об истории, философии, нравственности. И содержание их бесед отразилось в стихах молодого поэта, посвященных Чаадаеву. Влияние высокообразованного офицера на юношу было «изумительно», вспоминают современники, он «заставлял его мыслить». «С моим Чадаевым читал!» — восклицал поэт. Уже тогда Пушкин понимал, что в условиях русской действительности Чаадаев не сможет занять подобающее место на государственной службе. С горькой иронией поэт писал:

Он вышней волею небес  
Рожден в оковах службы царской;

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,  
А здесь он — офицер гусарской.

Вспоминая имена Брута и Периклеса, Пушкин хотел подчеркнуть и свободолюбие, и демократические убеждения Чаадаева. Их дружба, основанная на общих политических взглядах, приобретала в глазах поэта поистине героический характер и звала к патриотическим действиям:

Пока свободою горим,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой друг, отчизне посвятим  
Души прекрасные порывы!

Пушкина поражала необыкновенная эрудиция Чаадаева, который был хорошо знаком с трудами французских просветителей и новой французской литературой, занимался изучением английской и немецкой философии (Локк, Кант, Шеллинг).

Чаадаев знал А. С. Грибоедова и П. И. Пестеля, С. Г. Волконского и С. И. Муравьева-Апостола, многих других декабристов.

В эти годы Александр I не видел еще большой политической опасности в «забавах взрослых шалунов». Благоклонно отнесся он и к стихотворению Пушкина «Деревня», переданному ему генералом от кавалерии И. В. Васильчиковым, адъютантом которого состоял тогда П. Я. Чаадаев. Известно, что впоследствии через своего начальника Чаадаев хлопотал о смягчении участи вольнолюбивого поэта.

Дружба Пушкина с Чаадаевым продолжалась и после 1817 года в Петербурге. Они встречались в гостинице Демута, где свое временное пристанище Чаадаев обставил по собственному вкусу.

Позднее, описывая кабинет Онегина, Пушкин вспомнит обстановку, в которой жил его друг, — «всегда мудрец, а иногда мечтатель и ветреной толпы бесстрастный наблюдатель...».



Янтарь на трубках Цареграда,  
Фарфор и бронза на столе,  
И, чувств изнеженных отрада,  
Духи в граненом хрустале;  
Гребенки, пилочки стальные,  
Прямые ножницы, кривые,  
И щетки тридцати родов  
И для ногтей и для зубов.

В комнате Чаадаева висел его портрет, на котором были написаны стихи Пушкина «К портрету Чаадаева».

Отправляясь в 1820 году на юг, Пушкин зашел проститься с Чаадаевым, но встреча не состоялась. Отвечая на «дружеский выговор Чаадаева, зачем, уезжая из Петербурга, он не простился с ним», Пушкин сообщал в оставленной записке: «Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал: стоило ли будить тебя из-за такой бездельницы».

9 апреля 1821 года поэт записал в дневнике: «Получил письмо от Чаадаева.— Друг мой, упреки твои жестоки и несправедливы; никогда я тебя не забуду. Твоя дружба заменила мне счастье.— Одного тебя может любить холодная душа моя».

В кишиневской ссылке Пушкин написал стихотворение, в котором воссоздал яркий и своеобразный облик друга, рассказал о его значении в своей жизни:

Ты был целителем моих душевных сил;  
О неизменный друг, тебе я посвятил  
И краткий век, уже испытанный Судьбою,  
И чувства — может быть спасенные тобою!  
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;  
Ты видел, как потом в волнении страстей  
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;  
В минуту гибели над бездной потаенной  
Ты поддержал меня недремлющей рукой;  
Ты другу заменил надежду и покой;  
Во глубину души вникая строгим взором,  
Ты оживлял ее советом иль укором;  
Твой жар воспламенял к высокому любовь;  
Терпенье смелое во мне рождалось вновь...

Под влиянием Чаадаева поэт «познал и тихий труд, и жажду размышлений».

...Когда в 1820 году в столице восстал Семеновский полк, Александр I находился на конгрессе в Троппау. С докладом к нему послали Чаадаева, который изложил царю и свои соображения по поводу этого события. Чаадаеву был предложен пост флигель-адъютанта, но он ответил просьбой об отставке. Свой поступок Чаадаев объяснил в письме к тетке: «...до сих пор не могу понять, как я мог решиться на это (просьба об отставке.— *Авт.*) в ту минуту, когда я должен был получить то, что, казалось, желал, ...что получить молодому человеку в моем чине считается в высшей степени лестным... Я нашел более забавным презреть эту милость... Меня забавляло высказывать мое презрение людям, которые всех презирают».

6 февраля 1823 года в письме П. А. Вяземскому Пушкин спрашивал: «Видишь ли ты иногда Чедаева? он вымыл мне голову за пленника, он находит, что он недовольно blasé (пресыщенный.— *Авт.*). Чедаев по несчастию знаток по этой части». Дальше он просит: «Оживи его прекрасную душу, поэт! ты верно его любишь — я не могу представить себе его иным, что прежде».

«Говорят, что Чедаев едет за границу,— пишет Пушкин 5 апреля,— давно бы так; но мне его жаль из эгоизма — любимая моя надежда была с ним путешествовать — теперь бог знает, когда свидимся».

Прожив некоторое время в имении у тетки, Чаадаев в 1823 году уехал в чужие края — Англию, Францию, Италию, Швейцарию и Германию. Его незаурядный ум и блистательное образование дали ему возможность общаться с замечательными учеными и мыслителями — Гумбольдтом, Кювье, Шеллингом. Глубоко интересовался он и историей искусств и религиозными учениями.

Воспоминания о друге не оставляли поэта и в Михайловской ссылке. В письме к брату Льву Пушкин про-

сил прислать перстень, без которого ему грустно, и портрет Чаадаева.

Пребывание за границей отдалило Чаадаева от деятельности русских тайных обществ. События 14 декабря 1825 года произошли в его отсутствие. Он вернулся в Россию в дни следствия над арестованными декабристами. Его сразу же схватили и некоторое время содержали под арестом, а затем пустили, не обнаружив никаких улик. После этого Чаадаев поселился в Москве.

Друзья снова увиделись только в 1829 году, затем в тридцатые годы встречались во время приездов поэта в Москву.

В 1831 году Пушкин посылает Чаадаеву только что вышедшую из печати трагедию «Борис Годунов»: «Вот, друг мой, мое любимое сочинение. Вы прочтете его, так как оно написано мною, и скажете свое мнение о нем. Покамест обнимаю вас и поздравляю с новым годом».

Чаадаев видел в Пушкине уже подлинного национального поэта. «Друг мой, пишите историю Петра Великого», — обращается он к нему в письме 18 сентября 1831 года. Об исторических занятиях Пушкина впоследствии Чаадаев будет осведомляться у А. И. Тургенева и в письме к нему высоко оценит «Капитанскую дочку».

Политическая реакция, наступившая после разгрома декабристского движения в России, наложила заметный отпечаток на все существование Чаадаева, на его историко-философские взгляды, сделав их глубоко пессимистическими. Живя в Москве, он заключил себя на многие годы в своеобразную темницу добровольного духовного заточения. Разработанные им в то время идеи были изложены в его «Философическом письме», появившемся в 1836 году в журнале «Телескоп», который издавал Н. И. Надеждин.

Духовно подавленный политической реакцией, Чаадаев выступил с суровым обвинением против всей рус-

ской истории, русской культуры, самого русского народа. По мнению Чаадаева, русские не дали миру ни одной полезной мысли, ни одной великой истины. «Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя», — с горечью писал Чаадаев. Ему казалось, что Россия не совсем вобрала в себя и то духовное богатство, которое выработало человечество. Естественно, что Пушкин, гений и творчество которого питались и вдохновлялись родником народных духовных сил, любовью к истории своей родины, к русскому народу, не мог согласиться с основными тезисами «Философического письма».

Чаадаев в то время был даже склонен скептически оценивать события Отечественной войны 1812 года, считал и декабрьское восстание «громadным несчастьем, отбросившим нас на полвека назад». С какой же болью и недоумением должен был читать эти слова Пушкин, который так высоко чтит подвиг русского народа и ценил «скорбный труд и дум высокое стремленье» декабристов — своих друзей, братьев, товарищей.

Ответ Пушкина Чаадаеву проникнут болью и гордостью за свой народ. «У нас было свое особое предназначение, — писал Пушкин. — Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу... нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... — продолжал он далее и, перечисляя знаменательные этапы русской истории, восклицал: — А Петр Великий, который один есть целая всемирная история!» Гордился поэт и именами Ломоносова, Радищева и Карамзина... Свою полемику с Чаадаевым поэт заканчивал словами: «...но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую

историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

Протестуя против основных идей «Философического письма», поэт разделяет «боль и ужас», которые водили пером Чаадаева, когда он говорил о современном состоянии русской общественной жизни: «Многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь».

Читал ли Чаадаев письмо Пушкина? Его текст был известен друзьям поэта. После смерти Пушкина письмо хранилось у В. А. Жуковского, и к нему обращался Чаадаев с просьбой прислать хотя бы копию. Вероятно, оно так или иначе нашло своего адресата.

Николай I и его приближенные восприняли письмо как невиданную дерзость. «Издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу, у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим,— сообщил Чаадаев в январе 1837 года брату.— Земная твердость бытия моего поколеблена навеки».

Прогрессивно настроенные современники восприняли «Философическое письмо» как смелый протест официальной идее «самодержавия, православия и народности». По словам А. И. Герцена, «это был крик боли и упрека», «протест личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося в душе».

В то же время Чаадаева болезненно ранили упреки многих в отсутствии у него патриотизма, любви к родной истории. В своей «Апологии сумасшедшего» он ответил оппонентам словами, которые, наверное, горячо приветствовал бы Пушкин, если был бы жив: «Больше, чем кто либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества своего народа... Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее... Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня лю-



бить его... Наконец,— писал далее Чаадаев,— может быть, преувеличением было печалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».

Именно Пушкин сумел оценить глубинный патриотизм Чаадаева, а сам Чаадаев имел полное основание сказать: «Я воспламенял в нем любовь к высокому».

### „...И всюду он гусар“



В первой главе «Евгения Онегина» Пушкин вводит своего героя в круг молодых людей, среди которых постоянно бывает его приятель Павел Петрович Каверин. Встреча происходит в модном петербургском ресторане на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы (ныне Невский пр., 15).

*К Talon помчался: он уверен,  
Что там уж ждет его Каверин.*

Имя Каверина органично вплетается в художественную ткань романа и превращается в художественный образ. Говоря о встрече Онегина с Кавериным, Пушкин тем самым вводил героя романа в свой собственный дружеский круг.

Поэт находит яркие бытовые детали, создающие живую картину веселого, непринужденного застолья. Сколько раз в обществе Каверина он сам бывал на таких пирушках:

*Вошел: и пробка в потолок,  
Вина кометы брызнул ток...*

П. П. Каверин в дневниковой записи 10 ноября 1824 года вспоминает о подобном дружеском ужине в

мае 1819 года: «Щербинин<sup>1</sup>, Олсуфьев<sup>2</sup>, Пушкин у меня... шампанское на лед было поставлено за сутки вперед; случайно тогдашняя красавица моя мимо шла; ее зазвали; жар был несносный; Пушкина просили память этого вечера в нас продолжить стихами; вот они; оригинал у меня:

Веселый вечер в жизни нашей  
Запомним, юные друзья;  
Шампанского в стеклянной чаше  
Шипела холодная струя».

П. П. Каверин в 1810—1812 годах вместе с братьями Николаем Ивановичем и Сергеем Ивановичем Тургеневыми слушал лекции в Геттингенском университете. Он помышлял о дипломатической карьере, но исполнению его желаний помешали события Отечественной войны 1812 года.

В январе 1813 года Каверин вступил в Смоленское ополчение и участвовал в военной кампании 1813—1815 годов, где отличился большой храбростью. «Это был самый лихой повеса в полку»,— вспоминал М. А. Корф.

В качестве секунданта Каверин принимал участие в нашумевшей дуэли В. В. Шереметева с А. П. Завадовским из-за танцовщицы А. Истоминой. Он прославился и своими кутежами, а во время пребывания с полком в Гамбурге за проказы был лишен награждения орденом. Отличаясь необыкновенно крепким здоровьем, Каверин купался в проруби в самые жестокие морозы. Его сестра вспоминала: «Это ангел, когда подумаешь о его сердце, но вместе с тем ужасный шалун».

Подобное «гусарство», как это называлось тогда, было характерно для офицерской молодежи 1800-х годов

---

<sup>1</sup> М. А. Щербинин — участник Отечественной войны, чиновник канцелярии квартирмейстера Главного штаба; встречи его с Пушкиным состоялись в 1819 году.

<sup>2</sup> В. Д. Олсуфьев — офицер лейб-гвардии гусарского полка, знакомый Пушкина по Царскому Селу и Петербургу (1814—1819).

и являлось своеобразной формой протеста царившей в армии мертвящей казенщине, лицемерию и ханжеству. Этот протест проявлялся зачастую в эффектной позерстве и смелом озорстве. Но, кроме того, в своеобразный кодекс, присущий «гусарству», входили презрение к опасности, чувство товарищества и прямодушие, что вызывало его резкое неприятие в высших кругах. Каверин нес в себе все черты этого явления, и Пушкин сумел разглядеть их в своем друге еще в 1816 году, живя в Царском Селе, где был расквартирован лейб-гвардии гусарский полк, в котором служил П. П. Каверин.

В стихотворении «К портрету Каверина» (1817) Пушкин писал:

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар,  
На Марсовых полях он грозный был воитель,  
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,  
И всюду он гусар.

И в то же время поэт видел и слабости Каверина, например его необыкновенную самоуверенность, о чем сказал с иронией: «Я сам в себе уверен... я маленький Каверин».

В своем дневнике Каверин сделал запись: «Пушкин в Ноё! на лейб-гусарский полк, не прочтя мне, поместил и на мой счет порядочный куплет и, чтобы извиниться, прислал через несколько дней следующее послание — оригинал у меня».

Стихотворение «К Каверину» Пушкин начинает словами:

Забудь, любезный мой Каверин,  
Минутной резвости нескромные стихи,  
Люблю я первый, будь уверен,  
Твои счастливые грехи.

Далее он создает образ индивидуально неповторимый и одновременно типичный для своего времени:

Пока живется нам, живи,  
Гуляй в мое воспоминанье;  
Молись и Вакху и любви  
И черни презирай ревнивое роптанье:  
Она не ведает, что дружно можно жить  
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;  
Что ум высокий можно скрыть  
Безумной шалости под легким покрывалом.

Казалось бы, о жизни Каверина лучше всего говорит эпиграф, который он сам выбрал для своего дневника:

Und was er gewollt, hat er empfunden!  
Und was er gewollt, hat er gethan! <sup>1</sup>

Но это далеко не полный портрет этого удивительного человека.

Сохранив дружеские связи с братьями Тургеневыми, Каверин был близок с П. А. Вяземским, с А. С. Грибоедовым, поэтом В. Г. Тепляковым. Он вошел в «Союз благоденствия» и посещал собрания «Зеленой лампы». Ему ненавистно было рабство в России, что особенно сблизило его с Н. И. Тургеневым. Тургенев в письме к брату Сергею с живым участием описал «поступок повесы Каверина, которому кучер принес 1000 рублей и просил за это свободы. Он ему отвечал, что дал бы ему свои 1000 р. за одну идею о свободе: но, не имея денег, дает ему отпускную».

Знакомство Каверина с Пушкиным продолжалось и позже в Петербурге. Их связывали и общие литературные интересы. По воспоминаниям одного из современников, Каверин, проезжая как-то с Пушкиным на извозчике мимо Михайловского замка, предложил ему написать стихи об этом здании.

Каверин интересовался отечественной и иностранной литературой. В его дневниковых записях можно найти

---

<sup>1</sup> «Чем хотел, тем и наслаждался, что хотел, то и делал» (нем.).

такие заметки: «читал бездну», «уморился от чтения», «читал и читал»... Среди дневников особенно значительна первая тетрадь, в которую попала большая часть переписанных стихов Пушкина. Этих списков много, и обращает внимание необыкновенное уважение Каверина к пушкинским текстам. Так, например, лишняя запятая, поставленная при переписывании, дважды тщательно им перечеркивается. Он исповедовал культ пушкинского творчества и был предан поэту всей душой. «Каков Онегин, каков Фонтан? — восклицает Каверин в письме поэту В. Г. Теплякову. И далее: — Читали ли Вы Пушкина «Братья разбойники»? — хорошо очень».

Известно, что в 1825 году Каверин участвовал в распространении политической лирики Пушкина.

После возвращения Пушкина из ссылки в 1826 году дружеские связи с Кавериным возобновились. К этому времени относится и короткое шутивное письмо Пушкина из Москвы, которое он начинает обращением: «Душа моя Каверин» — и далее сообщает об их беспечной жизни на «съезжей» — холостой квартире Соболевского на Собачьей площадке.

В 1826 году Каверин снова вернулся на военную службу, которую оставил три года назад «по болезни», а на самом деле за недостатком средств, которые требовались для службы в лейб-гвардейском полку. Вернувшись в полк, он принял участие в турецкой кампании 1828—1829 годов. В отставку Каверин вышел в 1836 году в чине полковника.

Второе, и последнее, сохранившееся письмо Пушкина «милому Каверину» относится к февралю 1836 года. Поэт приносит ему тысячу «извинений... за то, что не сдержу слова — непредвиденное обстоятельство заставляет меня удалиться немедленно».

В феврале 1837 года, записав в тетрадь несколько пушкинских строк по памяти, Каверин прибавил под ними: «Его уж нет!»



«Смерть Пушкина поразила меня,— писал он П. А. Вяземскому.— Как рано он умер для своей славы. И неужели он не достоин, чтобы об нем кто-нибудь сказал более, чем то, что мы, провинциалы, читали в «Пчеле» и «Петербургских ведомостях». Неужели Вы не уделите несколько времени от Ваших занятий — почтить память, смею сказать, бессмертного?.. ...Здесь носится слух об какой-то дуэли — неужели он справедлив? Ужасно, если правда. Умоляю, напишите два слова об этом. Вы знаете, что Пушкин мне был близок — и я душевно грущу».

Душевная грусть от тяжелой утраты и одновременно непреходящее ощущение величайшего счастья от общения с великим поэтом и человеком — так сказал сам Каверин об истории своих дружеских связей с Пушкиным.

### „Прияель всех арзамасцев“



еличественная фигура, высокий рост, черные волосы, всегда коротко остриженные, лоб крутой и высокий, черные глаза за золотыми очками, голос сильный, речь страстная и красноречивая — таким запомнили друзья и знакомые Николая Ивановича Кривцова.

Участник войны 1812 года, офицер лейб-гвардии егерского полка, он был ранен в руку под Бородином; в битве под Кульмом 18 августа 1813 года ему оторвало ядром левую ногу. Это произошло на глазах Александра I и других коронованных особ, участвовавших в этом сражении, и он был отмечен высокими наградами.

Человек сильной воли, Кривцов сумел превозмочь свое тяжелое увечье. Позднее, в Лондоне, ему сделали пробковый протез, с которым он мог не только ходить, но даже танцевать. После излечения он остался за гра-

ницей, объехал большую часть Европы — Австрию, Швейцарию, Германию, побывал в Англии, полтора года прожил в Париже, где слушал лекции, знакомился с судопроизводством, посещал школы, тюрьмы и больницы, занося свои впечатления в дневник.

В избранном парижском обществе можно было встретить двадцатичетырехлетнего русского офицера, сначала передвигавшегося на костылях, а затем на протезе. Блеск истинной образованности, внешний лоск и светские манеры — все это было присуще Кривцову.

Его принимали в литературных и политических салонах Парижа. Он познакомился с Бенжаменом Констаном, бывал у госпожи де Сталь. Проездом через Веймар навестил Гёте.

В Россию Кривцов вернулся в феврале 1817 года: сначала он появился в Москве, а в середине марта — в Петербурге. 10 апреля он был пожалован в камергеры и причислен к Коллегии иностранных дел, куда вскоре поступил на службу и Пушкин.

Двадцатилетний Кривцов и восемнадцатилетний Пушкин дружески сошлись на «ты». В 1817 году они встречались во многих домах Петербурга. В дневнике Кривцова 28 июля 1817 года сохранилась такая интересная запись: «Вечером был я у Тургенева, где был молодой Пушкин, преисполненный ума и обещающий еще больше, чем то, что он дает в настоящее время». Несомненно, что ему было уже известно суждение о гениальности Пушкина от таких людей, как Карамзин, Тургенев, Жуковский, Вяземский.

Кривцов не принадлежал к «арзамасскому штату», но, по словам Вяземского, «был приятелем всех арзамасцев». В одном из писем Карамзин сообщает, что среди его собеседников часто бывали «Кривцов, добрый *esprit fort* (вольнодумец.—*Авт.*), и поэт Пушкин».

Республиканец, противник крепостничества, Кривцов и в обществе слыл вольнодумцем. Вяземский охарактере-

ризовал его так: «Был он более человеком рассудка, разбора, анализа. Он питал в себе чувства искренней приязни и уважения к некоторым исключительным лицам и остался им верен до конца».

Пушкин, обращаясь к Кривцову, писал:

Пусть остылой жизни чашу  
Тянет медленно другой;  
Мы ж утратим юность нашу  
Вместе с жизнью дорогой.

В 1818 году Кривцов был причислен к русскому посольству в Лондоне. Пушкин подарил ему в дорогу изящную, переплетенную в темно-синий сафьян книжечку Вольтера «*La pucelle d'Orleans*» («Орлеанская девица») с надписью: «Другу от друга» — и стихотворение, в котором писал:

Когда сожмешь ты снова руку,  
Которая тебе дарит  
На скучный путь и на разлуку  
Святую Библию Харит?  
Амур нашел ее в Цитере,  
В архиве Шалости молодой.  
По ней молись своей Венере  
Благочестивою душой.  
Прости, эпикурец мой!  
Остапись век каков ты ныне,  
Лети во мрачный Альбион!

Живя за границей, Кривцов не порывал дружеских сношений с петербургскими друзьями и с Пушкиным. 28 августа 1818 года А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому, что Кривцов «не перестает развращать Пушкина и из Лондона прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии».

В письме Кривцову из Михайловского в августе 1819 года Пушкин, называя его «жителем свободной Англии», тепло вспоминает о вечерах, проведенных с ним у Тургеневых и Карамзиных.

Неуравновешенный и несдержанный, Кривцов очень скоро не поладил с русским послом Х. А. Ливеном и в 1821 году вернулся в Россию. Пушкина в Петербурге уже не было, но он напомнил о себе теплым письмом из Одессы, которое начал словами: «Милый мой Кривцов, помнишь Пушкина?» — и закончил просьбой: «Но не забывай демократических друзей 1818 года. Все мы разбрелись. Все мы переменялись. А дружба, дружба». Письмо датировано октябрём — ноябрём 1823 года. В декабре в письме Вяземскому Пушкин спрашивает: «Что Кривцов? Его превосходительство мог бы аукнуть».

Как раз в этом году, по ходатайству Н. М. Карамзина, Кривцов получил назначение губернатором в Тулу. Не без тревоги, зная его тяжелый характер, Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Кривцов воюет в хвост и в голову, делами занимается усердно... будет ли успех — бог знает, но худо то, что он, кажется, не умеет водиться с людьми».

Беспокойство его оправдалось. В деятельности Кривцова расцвел невероятный деспотизм, казалось, совершенно несовместимый с его общими либеральными взглядами. Его энергия, несомненно, приносила пользу, но он иногда прибегал к таким крутым мерам, какие были нетерпимы даже в николаевской России. Его уволили с выговором Сената. Такая же приблизительно история повторилась с ним и в Воронеже, и в Нижнем Новгороде, где он также занимал губернаторские посты.

В 1827 году ему, наконец, пришлось выйти в отставку.

Переезжая из одного губернского города в другой, в ноябре 1826 года он останавливался в Москве у П. А. Вяземского, который сообщил в письме Пушкину в Михайловское: «Кривцов проездом в свой новый пашалык (область, управляемая пашой.— Авт.) живет с нами, жалеет, что тебя уже не застал, и дружески обнимает». Свидание с поэтом состоялось только в 1827 году

в Петербурге, в первый приезд его после ссылки. Вдвоем они навестили осиротевшую семью Карамзиных.

С 1826 года круг друзей страшно поредел: «Иных уж нет, а те далече...» Декабрьские события коснулись семьи Кривцовых. Младший брат Николая Ивановича Сергей, член тайного общества, был арестован. Судьба разметала братьев: «государственный преступник» Сергей отправился в сибирскую каторгу, а Николай, бывший губернатор, до конца дней жил в тамбовской глуши.

Поселившись в своем имении Любичи, Кривцов прежде всего выстроил себе усыпальницу, а затем усердно и успешно занялся хозяйством. «Эксфаворит императора, эксгубернатор трех губерний, эксбогач, посещавший все дворы Европы... имевший блистательные и основательные надежды... с гордым повелительным характером, с умом светлым, с знаниями обширными, с деятельностью непомерной... в 37 лет обречен был на житие в пустынной деревне», — писал один из современников. «Редко выезжал он из нее в Москву на несколько недель, еще реже являлся в Петербург, и то на время еще короче», — вспоминал Вяземский.

В 1832 году Кривцов решил снова поступить на службу — на этот раз в Министерство внутренних дел, куда был назначен министром бывший его сослуживец по Лондону, советник русского посольства Д. Н. Блудов. В течение трех лет он находился «на испытании» и, наконец, не дождавшись назначения на должность, подал в отставку в ноябре 1835 года.

В эти годы, наезжая в Петербург, он встречался с Пушкиным. Но поэт и раньше не забывал его: отправляя Кривцову только что вышедшую в свет трагедию «Борис Годунов», он писал в 1831 году: «Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты — будь благосклонен и к произведениям более зрелым». Далее Пушкин предается теплым воспоминаниям о прошлом и мечтам о встрече, ко-

торой суждено было сбыться: «Мне брюхом хотелось с тобою увидеться... бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять». Здесь и грустные размышления о будущем: «Счастья мне не было. Il n'est de bonheur que dans les voies communes («Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах». — *Авт.*). Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».

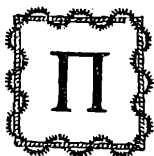
Судя по этим строчкам, Пушкин видел в Кривцове близкого человека — он поделился с ним самыми сокровенными мыслями.

Это последнее известное нам письмо Пушкина Кривцову было бережно вклеено его дочерью С. Н. Батюшковой в семейный альбом.

Имена Пушкина и Николая Ивановича Кривцова упоминаются П. А. Вяземским, когда он, сообщая жене из Петербурга в 1833 году о своем именинном пире, перечислял гостей. Новый 1835 год Пушкин и Кривцов встречали у В. Ф. Одоевского.

Узнав о трагическом исходе дуэли Пушкина, Кривцов писал А. И. Тургеневу: «Смерть Пушкина была для меня очень чувствительна; мы были так давно знакомы, и он всегда был так добр ко мне, что эта потеря, помимо национального чувства, заставившего меня оплакивать смерть нашего единственного поэта во цвете лет, была для меня настоящей скорбью».

## „Princesse Nocturne“



оздно вечером, когда во многих домах уже гасили свечи, ярким их пламенем озарялись окна дворца княгини Евдокии Ивановны Голицыной на Большой Миллионной (ныне ул. Халтурина, 30; дом перестроен), и к нему подъезжали кареты.

В доме Голицыной собиралось немногочисленное, избранное общество, состоящее в основном из поэтов, ученых, друзей искусства. Вся обстановка дома, напоминавшего храм, создавала настроение чего-то необычного, даже таинственного. Необычность усугублялась тем, что Голицына принимала только ночью. Говорили, что цыганка нагадала ей смерть в ночи, и она решила, обманув предсказание, не дать застать себя врасплох — днем спать, ночью бодрствовать. Но как бы там ни было, за ней навсегда сохранилось название «Princesse Nocturne» («Принцесса ночи»).

Восемнадцатилетний Пушкин, недавний выпускник Лицея, познакомился с Голицыной у Карамзиных осенью 1817 года. Юный поэт был приглашен бывать в ее доме, который, по словам П. А. Вяземского, «был украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников». Хозяйку «можно было признать жрицею какого-то чистого и высокого служения, — продолжает Вяземский. — Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой моды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое».

Голицына вела себя настолько независимо и необычно для светской дамы, что шокировала придворные круги, хотя у нее там были многочисленные и устойчивые родственные связи.

Дочь генерала И. М. Измайлова и А. Б. Юсуповой (родной сестры адресата пушкинского послания «К вельможе» — Н. Б. Юсупова), она рано потеряла родителей.

Вместе с единственной сестрой Ириной она воспитывалась в Москве, у родного дяди — сенатора М. М. Измайлова, который ведал всеми строительными работами в Кремле и памятниками московской старины. В юности зародились у Евдокии Ивановны пламенный патриотизм и любовь к искусству. Интерес ее к истории России сохранился на всю жизнь.

Она получила в доме дяди разностороннее образование. Судя по сохранившемуся портрету Виже-Лебрен, где она изображена в ранней молодости, в виде Флоры, с корзинкой цветов на голове, у нее было красивое и чрезвычайно выразительное лицо. Когда ее стали выводить в свет, ум, образованность и красота девушки привлекли всеобщее внимание. К несчастью, это время совпало с кратким царствованием Павла I, и молодая красавица по его капризу в девятнадцать лет была выдана замуж против воли за скучного, немолодого и неинтересного князя Сергея Михайловича Голицына, которого она так и не смогла полюбить. В 1800—1802 годах они жили в Дрездене, и тогда, вероятно, был создан ее портрет профессором Дрезденской Академии художеств, прославленным портретистом Иозефом Грасси, создавшим множество прекрасных женских образов в конце XVIII — начале XIX века, работавшим в Вене, Варшаве, Дрездене.

Вяземский не раз в письмах превозносил ум, доброту и красоту Голицыной: «Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извилистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная, придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное,— и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее». Как эта характеристика близка портрету работы И. Грасси...

«...Красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшем древнее греческое изваяние. В ней ничто



не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное...» Это описание перекликается с образом Голицыной, созданным русским мастером А. Е. Егоровым. Видимо, в соответствии с желанием княгини Егоров изобразил ее в образе весталки. Высокий античный идеал, присущий мировоззрению этого художника, прекрасно усвоившего каноны классицизма, отмечали современники, говорившие о нем: «...приняв от Лосенко строгий и правильный рисунок, он хранил его подобно огню Весты».

Молодой, обворожительной, внушающей сочувствие и уважение, несмотря ни на что, вернулась Голицына в Петербург, найдя возможность навсегда оставить мужа.

Вскоре ее посетила любовь к достойному, умному и образованному М. П. Долгорукому. Она просила развода, но муж категорически отказал ей. Долгорукий стал искать смерти, и она его настигла в битве при Иденсальми в 1808 году...

После гибели Долгорукого все современники отмечали, что доброе ее имя оставалось безупречно-неприкосновенным. По свидетельству Вяземского, «ее независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности... Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия не отемняли чистой и светлой свободы ее».

Голицына замкнулась в своем горе. С этих пор началась ее самостоятельная жизнь, заполненная серьезными занятиями и общением с избранным кругом единомышленников.

В 1814 году княгиня обратилась к русскому дворянству с предложением воздвигнуть в Москве памятник в честь избавления России от иноземного нашествия и приготовила для этого памятника знамя, затем переданное в Александро-Невскую лавру. Вот что писала она в сопроводительной записи:

«...На стенах Кремлевских, там, где возносилось знамя вражеское, да водрузится ныне сие священное знамя великого народа русского. Итак, основанием памятника будут стены Кремлевские, которые возвысятся ныне с новою славою, и на них имена всех тех, которые прославились воинскими подвигами или высокою добродетелью. Все сие имена, столь любезные, столь драгоценные отечеству, будут вырезаны на бронзовых досках с описанием их подвигов. Такие же бронзовые доски останутся без надписей для изображения впредь, на всякие времена для имен тех, которые окажутся достойными... Которые будут всегда поддерживать силу, законы, благоустройство государства и возвеличивать славу России...»

Здесь все сословия должны быть равны... никакие происки и богатство не должны давать право быть первым среди героев... И поэтому последний из крестьян может этим правом воспользоваться...»

Так понимала патриотично настроенная Голицына роль народа в истории и в этом отношении оказалась близкой идеям будущих декабристов.

Бывая в доме Карамзиных и постоянно общаясь с автором «Истории государства Российского», она далеко не во всем соглашалась с его взглядами на историческое развитие России. Видимо, вспоминая споры с нею, Карамзин писал Вяземскому 24 декабря 1817 года: «...от ее трезубца пышет не огнем, а холодом» — и далее, слегка иронизируя: «Он [Пушкин] у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви». Однако он ошибался. Еще 30 ноября 1817 года Пушкин посвятил Голицыной стихотворный экспромт «Краев чужих неопытный любитель», свидетельствующий о восхищении поэта не только красотой и умом, но и подлинно гражданскими доблестями этой замечательной женщины.

Краев чужих неопытный любитель  
И своего всегдашний обвинитель,  
Я говорил: в отечестве моем  
Где верный ум, где гений мы найдем?  
Где гражданин с душою благородной,  
Возвышенно и пламенно свободной?  
Где женщина — не с хладной красотой,  
Но с пламенной, пленительной, живой?  
Где разговор найду непринужденный,  
Блистательный, веселый, просвещенный?  
С кем можно быть не хладным, не пустым?  
Отечество почти я ненавидел —  
Но я вчера Голицыну увидел  
И примирен с отечеством моим.

Он создает благородный и прекрасный во всех движениях своего характера поэтический образ современницы, близкой ему духовно, и подчеркивает счастье общения с ней.

Но, избегая насмешек над увлечением женщиной, намного превосходящей его возрастом, поэт был осторожен в изъявлении своих чувств. Однако в осенние месяцы 1817 года он искал с нею встреч. Возможно, с мыслью о Голицыной создавалось и стихотворение, написанное несколько раньше экспромта (27 ноября 1817 года), но без указания адресата — «К...»:

Не спрашивай, зачем унылой думой  
Среди забав я часто омрачен,  
Зачем на все поднимаю взор угрюмый,  
Зачем не мил мне сладкой жизни сон;

Не спрашивай, зачем душой остылой  
Я разлюбил веселую любовь  
И никого не называю *милой* —  
Кто раз любил, уж не полюбит вновь;

Кто счастье знал, уж не узнает счастья,  
На краткий миг блаженство нам дано:  
От юности, от нег и сладострастья  
Останется уныние одно..,

Чуткою душою юный поэт понимал всю сложность положения независимой княгини и не мог не восхищаться тактом и благородством, с каким она его принимала. Однако внушенное самому себе чувство (не столько увлечение, а поклонение и восхищение) к Голицыной постепенно угасло. И уже в декабре 1818 года А. И. Тургенев писал Вяземскому: «Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее [Голицыну], а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете».

Такая женщина не могла не пробуждать глубоких и сильных чувств. Голицына на своем веку внушила несколько продолжительных привязанностей, даже поклонений. До какой степени им отвечало ее сердце — остается тайной.

Среди постоянных посетителей ее салона был и Михаил Федорович Орлов, «рыцарь любви и чести». Красавец, молодой генерал, которому вручили ключи Парижа как представителю русской армии, победившей Наполеона, он принадлежал к лагерю будущих декабристов. Вместе с братьями Александром и Николаем Тургеневыми он способствовал тому, что в салоне Голицыной утвердился дух оппозиционности, неприятия деспотизма и произвола, веры в светлое будущее России. Е. И. Голицына полноправно участвовала в этих острых политических спорах. Л. Н. Майков отмечал в своей книге «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки»: «Строгость ее приговора об «Истории государства Российского» внесла даже рознь в среду арзамасцев: между тем как влюбленный в Авдотью Ивановну Пушкин посмеивался втайне над ее суждениями о сочинении Карамзина, другой страстный ее поклонник, тоже арзамасец, М. Ф. Орлов, по словам нашего поэта, пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян».

Литературные вкусы Голицыной были прогрессивны,

все ее ближайшие друзья были членами литературного общества «Арзамас».

В начале 1818 года Пушкин послал Голицыной свою оду «Вольность» со специальным посвящением — «Кн. Г-ой, посылая ей оду „Вольность“»:

Простой воспитанник природы,  
Так я, бывало, воспевал  
Мечту прекрасную свободы  
И ею сладостно дышал.  
Но вас я вижу, вам внимаю,  
И что же?.. Слабый человек!..  
Свободу потеряв навек,  
Неволю сердцем обожаю.

Пушкин посвятил Голицыной произведение, которое сам очень ценил и за которое (среди других его вольнолюбивых стихов) вскоре поплатился ссылкой. С огромным воодушевлением изобразил он гибель тирана — Павла I: «Погиб увенчанный злодей!» И вслед за этим — восторженные строки о «мечте прекрасной свободы», которую поэт разделял со своим адресатом. Завершая стихотворение изящным мадригалом, поэт относит «неволю» только к «плену» своего сердца, покоренного прекрасной Голицыной.

В 1818 году Пушкин посещал салон Голицыной особенно часто, видимо, он чувствовал потребность в постоянном общении с ней, обмене мнениями во всех областях — в литературе, истории, философии. 8 июня в письме к Вяземскому дядя поэта Василий Львович Пушкин сообщает о том, что приехавшая из Петербурга княгиня Евдокия Ивановна Голицына говорила ему накануне, что племянник его «Александр у нее бывал всякий день» и «что он малый предобрый и преумный».

К. Н. Батюшков, посещавший салон Голицыной, писал в июне 1818 года А. И. Тургеневу: «Трудно кому-нибудь превзойти вас в доброте, точно так как княгиню Голицыну Авдотью Ивановну в красоте и приятности, вы никогда не состаритесь: Вы — душою, она — лицом».

Судя по переписке А. И. Тургенева с Вяземским, Пушкин часто навещал салон княгини и в 1819 году, до самой своей ссылки и отъезда из Петербурга. Тургенев неоднократно упоминает о чтении пушкинских стихов в салоне «Принцессы ночи» в присутствии автора. Вяземский, находившийся в 1818—1821 годах в Варшаве, сожалел о своем отсутствии. Он просил Тургенева: «Напомни ей обо мне. Мало знаю женщин, которые были бы мне так по сердцу, как она». Тургенев отвечал: «Кн. А. И. читала твои о ней строки (и ей это приятно было). Она благородная и, когда не на треножнике, а просто на стуле,— умная женщина. Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя».

В последний раз в переписке Тургенева с Вяземским встречается имя Пушкина, как посетителя салона Голицыной 3 сентября 1819 года: «Вчера читал я у княгини Голицыной стихи твои [Вяземского] и был свидетелем Пушкина восхищения и ея одобрения». Таким образом, можно еще раз убедиться в том, как ценили современники мнение Пушкина и как часто совпадало оно с мнением хозяйки дома на Миллионной.

В мае 1820 года Пушкин покинул Петербург, высланный Александром I из столицы на юг страны. Но и там он не забывает эту незаурядную женщину. «Вдали камина кн. Голицыной замерзнешь и под небом Италии»,— писал он в 1821 году А. И. Тургеневу. И позднее, в 1823 году, ему же: «Что делает поэтическая, незабвенная, конституциональная, антипольская, небесная княгиня Голицына...» Будучи сторонницей конституции, Голицына негодовала, что конституция дана лишь Польше, но не России.

Голицына заботилась о судьбе опального поэта, и по ее поручению ее дальняя родственница Екатерина Сергеевна Уварова (сестра декабриста М. С. Лунина) приглашала замечательного русского композитора А. Н. Верстовского «из дружбы к Пушкину» исполнить

у нее в доме, на специально устроенном по этому случаю музыкальном вечере, романс «Черная шаль». На этот вечер не без умысла она пригласила приехавшего в Петербург М. С. Воронцова, к которому должен был перейти поэт на службу в Одессе.

По возвращении в Петербург в мае 1827 года, ровно через семь лет, Пушкин снова появился в салоне Голицыной, но, по-видимому, не стал его завсегдатаем. Княгиня серьезно увлеклась математикой и философией, и среди ее гостей теперь больше ученых, нежели поэтов. Ее любимым собеседником стал известный русский математик академик Михаил Васильевич Остроградский. Под его руководством она написала книгу «Анализ силы», в которой пришла к конечному выводу о том, что «всё в природе жизнь и сила, ничтожества нет». Этот труд стал «замечательным подвигом мышления». В одном из откликов было отмечено, что «княгиня обнаружила такой, собственно ей принадлежащий взгляд на вещи, который не может не показаться крайне новым и вместе справедливым по глубокомысленным выводам ее».

В 1835 году Пушкин приобрел эту книгу, вышедшую в том же году во Франции, для своей библиотеки.

Последняя известная нам встреча Пушкина с Голицыной произошла в начале августа 1835 года, о чем сообщает Е. С. Уварова в письме к М. С. Лунину из Петербурга. Находясь в дружбе с Екатериной Сергеевной, Голицына, надо полагать, читала смелые письма декабриста Лунина из ссылки, содержащие критику русского государственного строя и политики Николая I.

В 1836 году Голицына, подобно другим своим соотечественникам, не желавшим мириться с наступлением реакции на русскую общественно-культурную жизнь, уехала в Париж. Там она продолжала свои философско-математические занятия, по-прежнему увлекаясь и литературой. К ее мнению прислушивались в литератур-

ном мире, о чем свидетельствует известный французский писатель и критик Сент-Бёв.

В Париже ее иногда навещал А. И. Тургенев. «Вчера заехал я к кн. А. И. Голицыной в три часа,— писал он Вяземскому.— Она еще не вставала, но приняла, выслала с девушкой рюмочку Троицкой святой воды, которую я выпил с должным чувством, потом явилась, и подали утренний чай». На столе он увидел ее книги, изданные во Франции, но с русским эпитафием. Тургенев и другие ее соотечественники всегда отмечали неизменный интерес Голицыной ко всему касающемуся России. До последних минут жизни она оставалась патриоткой. По ее завещанию, четверем отличившимся воспитанникам военных учебных заведений из оставленных ею средств выплачивались денежные награды. Одним из таких стипендиатов был впоследствии знаменитый ученый, генерал-лейтенант В. Ф. Петрушевский.

Голицына скончалась 15 января 1850 года в Петербурге. Ее похоронили в Александро-Невской лавре.



---

„У них свои бывали сходки...“



Пушкин не входил ни в одно из тайных обществ, но во время следствия над декабристами он откровенно писал Жуковскому, что «был в связи с большею частию нынешних заговорщиков». Почти слово в слово он повторил это и в письме к П. А. Вяземскому: «...я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков». Признание многозначительное, свидетельствующее о духовной близости первого поэта России с деятелями тайных обществ!

Со многими из них, ставшими для него «друзьями, братьями, товарищами», Пушкин впервые встретился именно в Петербурге, сумел быстро завоевать их симпатии и доверие, проникся горячим сочувствием к их идеям. Прислушиваясь к резким, язвительным речам знаменитых декабристских «ораторов», Пушкин вместе с ними мечтал:

Товарищ, верь: взойдет она,  
Звезда пленительного счастья,  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишут наши имена! —

и, наконец, он был допущен на конспиративные сходки, хотя, разумеется, не был поставлен в известность, что присутствует на заседаниях «Союза благоденствия». Однако при нем велись откровенные разговоры о бедственном положении страны, состоянии ее экономики, фи-

нансов, о бесправии ее народа. Острой, уничтожающей критике подвергались самодержавно-крепостнические порядки, обсуждались проекты будущего государственного устройства и даже (есть такие свидетельства!) строились планы цареубийства. И он жадно впитывал эти впечатления, духовно, идейно мужал в этой раскаленной атмосфере.

В 1818—1819 годах Пушкин был, что называется, «своим» в кругу петербургских деятелей тайных обществ, полностью разделял программные установки «Союза благоденствия». Вспоминая об этом времени, Пушкин писал о них в зашифрованных строфах X главы «Евгения Онегина». Воссозданная в этой главе по личным впечатлениям галерея славных «заговорщиков» строго достоверна, но поэт не изменяет исторической правде, включив в эту сплоченную идейным родством «семью» и самого себя: «Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>...» Один из них, названный «Сказки (Ура! в Россию скачет)», дошел и до нас. Злые эпиграммы на царя и царедворцев, полные революционного пафоса, «вольные» стихи Пушкина переписывались, передавались из рук в руки, заучивались наизусть, поднимая всю молодую Россию на борьбу с тиранией и крепостничеством. «Он наводнил Россию возмутительными стихами»,— заявит Александр I, но и Пушкин не откажется от репутации поэта, воспитавшего целое поколение «заговорщиков» («все возмутительные рукописи ходили под моим именем»). На следствии многие декабристы признавались, что дух вольнолюбия воспитывали в них стихи Пушкина. В полной мере осознавая это, Пушкин напишет в «Арионе»:

Нас было много на челне;  
Иные парус напрягали,  
Другие дружно упирали  
В глубь мощны весла. В тишине  
На руль склонясь, наш кормщик умный

В молчаньи правил грузный чолн;  
А я — беспечной веры полн, —  
Пловцам я пел...

### „У беспокойного Никиты...“



Никита Михайлович Муравьев познакомился с Пушкиным при посещении Царскосельского лицея в 1814 году, и, очевидно, юный поэт привлек его внимание, потому что в письме к своей матери Е. Ф. Муравьевой 25 апреля 1815 года он спрашивал: «Что делает Пушкин?» Затем их знакомство продолжилось в Петербурге. Встречались они на собраниях «Арзамаса», членами которого были оба, и у самого Никиты Михайловича, жившего на Фонтанке в доме своей матери Екатерины Федоровны Муравьевой (ныне дом 25; надстроен двумя этажами).

После смерти мужа Е. Ф. Муравьева переехала в Петербург и купила дом у купца Кружевникова. Гостеприимная и хлебосольная, она радушно принимала друзей, знакомых и родственников. У нее любили бывать В. А. Жуковский и Н. И. Гнедич, И. А. Крылов и братья Тургеневы, художник О. А. Кипренский и многие-многие... К ней наезжал и жил месяцами поэт К. Н. Батюшков. Почти пять лет снимал квартиру у Муравьевой, своей московской приятельницы, Н. М. Карамзин.

Семья Муравьевых принадлежала к образованному дворянству. Ее глава Михаил Никитич был известным писателем, видным деятелем народного просвещения, другом и покровителем Н. М. Карамзина. Он заботился о разностороннем образовании своих сыновей, Никиты и Александра, стремился развить в них широту взглядов, высокие патриотические чувства и привить любовь к науке. Еще мальчиком Никита, или, как его звали, Ни-

котинька, постоянно бывал в кругу друзей своего отца равноправным собеседником. После смерти М. Н. Муравьева в 1807 году образование сыновей продолжила его жена Екатерина Федоровна.

Питомец Московского университета, Никита еще в юности удивлял всех блестящими способностями: превосходно знал французский, английский, немецкий, латинский и греческий языки, серьезно занимался историей, тяготел к кабинетным занятиям. Не случайно М. С. Лунин, один из выдающихся декабристских деятелей, сказал впоследствии, что «Никита один стоит целой академии».

Узнав о падении Смоленска и об отступлении русской армии к Москве, шестнадцатилетний юноша стал грустен, потерял сон и, как он сам говорил, «в 1812 году не имел... образа мыслей, кроме пламенной любви к родине». Мать не решалась удовлетворить желание сына пойти на военную службу, и он тайно ушел из дома, надеясь попасть в армию Кутузова. Но крестьяне задержали подозрительного барчука, который, к их великому удивлению, расплатился за еду золотым. У него нашли список наполеоновских маршалов и военные карты и препроводили связанным в Москву, где посадили в тюрьму. Только после допроса графа Ростопчина он был отпущен домой. Екатерина Федоровна перестала противиться, и Никита, поступив на военную службу, оказался участником военного похода 1813—1814 годов. Он сражался под Дрезденом и Лейпцигом, участвовал во взятии Гамбурга, вступил с русскими войсками в Париж. Здесь окунулся в бурную политическую жизнь послевоенной французской столицы.

Вернувшись из похода, Никита Михайлович окружил себя друзьями, которые постоянно собирались у него в доме на Фонтанке, в его кабинете. Это были большей частью офицеры, недавние участники сражений, прошагавшие вместе с русскими солдатами всю Европу, его

политические единомышленники. По словам одного из современников, Ф. Ф. Вигеля, «молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге... готовы были, вопреки пословице, променять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно слово — свобода. Ими населена была гостиная г-жи Е. Ф. Муравьевой...». Все свои силы ума и сердца они обратили на «внутреннее устройство» России.

Среди этих людей бывал и Пушкин, политические стихи которого были необычайно популярны. Здесь постигал он «мятежную науку», слушал, как в горячих спорах сталкивались различные суждения:

Витийством резким знамениты,  
Сбирались члены сей семьи  
У беспокойного Никиты...

«Умный и пылкий», Муравьев был одним из наиболее деятельных членов тайных организаций — сначала «Союза спасения» и «Союза благоденствия» и наконец — Северного общества. В эти годы он сблизился с П. И. Пестелем.

История, политическая экономия, публицистика, право, социология — вот далеко не полный перечень наук, которые интересовали Никиту Михайловича. Друзья возлагали на него большие надежды как на будущего талантливую историка.

В журнале «Сын отечества» за 1816 год появилось его «Рассуждение о жизнеописаниях Суворова» — критический обзор вышедших в свет русской и иностранных биографий великого полководца. Свой обзор двадцатилетний автор начал словами: «Муза истории дремлет у нас в России».

Батюшков в стихотворении 1817 года, посвященном своему родственнику и другу, писал:

Твой дух встревожен, беспокоен;  
Он рвется лавры пожинать:

С Суворовым он вечно бродит  
В полях кровавая войны  
И в вялом мире не находит  
Отрадной сердцу тишины.

Оба поэта — Батюшков и Пушкин, обращаясь к характеристике Муравьева, пользуются одним эпитетом «беспокойный».

В кабинете Никиты молодежь обсуждала только что вышедшую в свет «Историю» Карамзина, и «вдруг вошел... сам Николай Михайлович, живший в одном доме (Муравьевых.— Авт.). Они обратились к нему со своими замечаниями». Высоко ценя и уважая Карамзина, Н. Муравьев в то же время не разделял его концепции.

Готовясь написать свои «Мысли об „Истории государства Российского“», Муравьев читал Ливия, Геродота, Страбона, Диодора, Иордана — на латинском, греческом, французском языках, обращался к трудам Полибия и Макрабия, мимо которых прошел Карамзин. Свою статью он начал словами: «История принадлежит народам». Отдавая честь писателю, который создал труд, являющийся «неоценимым благодеянием», критик замечает: «Но сомнения, изложенные с приличием, могут ли быть оскорбительными?» Для него неприемлема позиция Карамзина, призывающего к примирению «с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках». Но должна ли история мирить с несовершенством?

«Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом», — утверждал критик. Для него история — борьба, развитие, а творец истории — народ; народная масса — это сила, определяющая движение истории. В критике Н. Муравьева сказались прогрессивность новых исторических воззрений будущих декабристов. С гордостью говорит он о величии и нравственной силе русского народа, на долю которого выпали небывалые

испытания. Свой очерк он показал Карамзину и получил разрешение его распространять. Это было «научное соревнование» двух людей, глубоко уважавших друг друга.

С 1821 года Никита Михайлович начал огромную подготовительную работу, необходимую для создания проекта конституции. Он изучил всевозможные действовавшие в те времена конституции, штудировал основные законы революционной Франции, Северо-Американских Соединенных Штатов, испанскую конституцию 1812 года и многие другие. Используя опыт Западной Европы, он создал самостоятельный проект конституции. Друзья запомнили благородное выразительное лицо Никиты Михайловича, его задумчивую и нежную улыбку, с какой он «в беседе невыразимой прелести» обсуждал свой труд. По словам И. Д. Якушкина, его проект — «наиболее полное выражение конституционных идей если не всех декабристов, то, по крайней мере, членов Северного общества».

Следственной комиссией по делу декабристов Н. М. Муравьев был приговорен к двадцати годам каторги. 10 декабря 1826 года он и его брат Александр, в цепях, были отправлены в Сибирь. Его жена Александра Григорьевна одна из первых среди жен декабристов последовала в Сибирь за мужем.

Встретившись с А. Г. Муравьевой в Москве, Пушкин передал ей два стихотворения: «И. И. Пушину» и «Во глубине сибирских руд». Со словами ободрения и глубокого преклонения обратился поэт к далеким узникам. Он хотел вселить в их души «бодрость и веселье»:

Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут — и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья меч вам отдадут.

## „Одну Россию в мире видя...“



именем Николая Ивановича Тургенева всегда вспоминаются строки Пушкина, в которых столь ярко и точно дана характеристика незаурядного человека:

Одну Россию в мире видя,  
Преследуя свой идеал,  
Хромой Тургенев им внимал  
И плети рабства ненавида  
Предвидел в сей толпе дворян  
Освободителей крестьян.

Н. Тургенев был одержим одной идеей — необходимостью уничтожить крепостное право в России. Ей он посвятил свои труды и подчинил свои помыслы. Об этом знали все его друзья и знакомые.

Свое образование Николай Иванович начал в Московском благородном пансионе, а затем был переведен в университет.

Девятнадцатилетним юношей он отправился в 1808 году в Геттинген. В ту пору Геттингенский университет славился юридическим и историко-филологическим факультетами. Н. Тургенев с увлечением слушал лекции выдающихся профессоров, много читал и занимался, начал большую, уже самостоятельную работу по финансовым вопросам, которая затем частично вошла в его книгу «Опыт теории налогов».

Тогда уже Николай Тургенев с негодованием говорил о «жестоком рабстве», «в коем бедные поселяне владели жизнь свою», в то время как «грубые вельможи» пользовались их доходами. Его занимали и судьба крепостных, и отсутствие широкого народного просвещения в России.

«Любовь к Отечеству будет для меня первейшим и священнейшим долгом, и все должно быть покорно оно-



му», — записывает он дорогую для него мысль в последние дни своего пребывания в Геттингене.

Предпринятое Н. Тургеневым по окончании курса путешествие по Европе длилось восемь месяцев. Он побывал во Франции, Швейцарии, Италии и Австрии. Это путешествие расширило его представления о мире, об укладе жизни других европейских народов, уже свободных от крепостного рабства. В Россию Н. Тургенев вернулся в 1812 году. Приехав в Петербург, он поступил в V отделение канцелярии министра финансов Д. А. Гурьева на должность ученого секретаря.

Русские финансы в те годы находились в отчаянном состоянии, и вопрос об их исправлении был для правительства самым жгучим и острым. Одновременно Н. Тургенев числился в комиссии по составлению законов.

Свободное время он отдавал книге «Опыт теории налогов», задуманной еще в Геттингене, и к 1813 году вчерне ее закончил. Но в это время его, как все русское общество, захватили события Отечественной войны. Он жил новостями с театра военных действий.

После победы над Наполеоном, в октябре 1813 года, получив назначение русским комиссаром в Центральный совет союзных правительств, ведавший отвоёванной от французов Германией, Н. Тургенев отправился во Франкфурт. Здесь находился тогда центр политической жизни Европы. Н. Тургенев работал под началом либерального прусского реформатора Г. К. Штейна. Высоко оценив его знания и способности, Штейн говорил, что «имя его равносильно с именем чести и чести».

Вернувшись в Россию в 1816 году, Н. Тургенев быстро выдвинулся по службе. Он стал помощником статс-секретаря Государственного совета, а в 1819 году — управляющим одного из отделений канцелярии Министерства финансов. Во всех делах и начинаниях Н. Тургенев неизменно отстаивал интересы крестьян. Министр иност-

ранных дел И. Каподистрия высоко ценил его сотрудничество и говорил, что он был бы выдающимся государственным деятелем даже в Англии.

6 марта 1819 года цензор И. О. Тимковский, хорошо знакомый Н. Тургеневу, подписал пропуск его книге, и ее передали в типографию Н. И. Греча для напечатания. В ноябре автор начал рассылать ее своим друзьям и знакомым. Он смело обращал внимание читателей на тяготы, которые испытывал народ от податей и налогов, показывал, в каком плачевном состоянии находится финансовое положение России.

Значение книги состояло, прежде всего, в том особом критическом настроении, которым она была проникнута, в ее либеральном, свободолюбивом духе. Знакомясь с трудом Н. Тургенева, читатели проникались ненавистью к привилегированной части общества, которая жила паразитически за счет народа, присваивая с помощью разнообразных налогов все его доходы. Главная тяжесть налогов, доказывал автор, должна падать не на бедняков, а на богатых людей. Наконец, он подводил своих читателей к мысли, что одна только конституционная форма правления может охранить народ от злоупотреблений правительства. Говоря о России, Тургенев указывал на необходимость «ограничения власти помещиков, которая... противна религии и человечеству». «Угнетение одного класса граждан другим, — доказывал он, — не может быть залогом благосостояния великого и нравственно доброго государства».

Успехи России, по его мнению, «были бы еще совершеннее, если бы общей деятельности, общему стремлению к образованности и благосостоянию не препятствовало существование рабства». Возмущаясь роскошью, в которой жили русские дворяне, он подчеркивал, что они используют даровой труд крепостных. И потому роскошь в России «печалит внимательного наблюдателя».

Книга имела несомненный успех, и в 1819 году вышло

ее второе издание. Она обратила на себя внимание не столько новизной предмета исследования, сколько своими отступлениями, касавшимися важнейших и насущных вопросов русской жизни. Можно представить, с каким интересом читали ее друзья автора и люди его круга. В. А. Жуковский познакомился с работой Н. Тургенева еще в рукописи. Сохранилась и книга Н. Тургенева с пометками Жуковского.

В Петербурге Николай Иванович жил вместе с братом Александром в доме министра народного просвещения А. Н. Голицына на Фонтанке (ныне дом 20).

Николай Иванович был полной противоположностью своего старшего брата Александра, живого, общительного, имевшего огромные связи и знакомства в петербургском обществе. Малоподвижный из-за хромоты, оставшейся после перенесенной в детстве болезни, молчаливый, замкнутый и сосредоточенный, с серьезным и несколько строгим лицом, он был весь погружен в работу. Но на людей имел влияние неотразимое.

Н. Тургенев сразу же вошел в круг литературного общества «Арзамас», часто собиравшегося в квартире братьев, и стал его членом.

«Лицо его пылало... пролилась река лавы», — записано в арзамасском протоколе 1817 года о речи Н. Тургенева, в которой он с исключительной силой обрушивался на «халдеев» — членов «Беседы», ненавистных ему «староверов». Непримирым был Н. Тургенев и в борьбе с крепостничеством и деспотизмом. Отсюда и его прозвище «Варвик» — по имени одного из героев баллады Жуковского, отличавшегося необыкновенной страстностью и непреклонностью.

Участие Н. Тургенева в «Арзамасе» совпало с появлением здесь генерала М. Ф. Орлова. Эти два человека стремились внести в деятельность общества политический дух.

«Третьего дня был у нас Арзамас, — писал Н. Турге-

нев в дневнике 1817 года.— Нечаянно мы отклонились от литературы и начали говорить о политике внутренней. Все согласны в необходимости уничтожить рабство, но средства предлагаемые не всем нравятся». Тогда уже вместе с Орловым они задумали создать журнал.

Пушкин сблизился с Н. Тургеневым после окончания Лицея. «Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых,— писал в своих «Записках» Ф. Ф. Вигель.— ...К ним, т. е. к меньшому Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы».

Значение Николая Тургенева в жизни Пушкина было, несомненно, очень велико. Он был одним из его политических учителей и оказал большое влияние на мировоззрение и творчество молодого поэта. Фанатическая ненависть Н. Тургенева к рабству отзовется в стихотворении Пушкина «Деревня», где с высоким гражданским пафосом обличаются ужасы крепостного права. Ода «Вольность» была «вполовину» сочинена в кабинете Н. Тургенева и на другой день поэт «принес ему на одобрение» всю рукопись.

Бесстрашно рисует Пушкин картину убийства Павла I, этого «увенчанного злодея». Ода «Вольность» тревожила сердца и была необыкновенно популярна среди передовой молодежи. Бережно хранил Н. Тургенев автограф стихотворения.

Брату Сергею в 1817 году он писал: «Пушкин точно стоит удивления по чистоте слога, воображению и вкусу, и все это в 18 лет от роду». Оценил и остроумие поэта: «„Мы на первой станции образованности“»,— сказал я недавно молодому Пушкину. „Да,— отвечал он,— мы в Черной Грязи“».

Судьба Пушкина всегда занимала Н. Тургенева. Когда началось дело о высылке поэта, Николай Иванович неоднократно сообщал брату, как протекают события. «Некоторые из его стихов дошли до Милорадовича, и

он на него в претензии. Надеяться должно, однако ж, что это ничем не кончится»,— пишет он 26 августа 1819 года. Затем следует еще сообщение 23 апреля 1820 года: «Пушкина дело кончилось очень хорошо. У него требовали его оды и стихов. Он написал их в кабинете графа Милорадовича... Он теперь собирается ехать с молодым Раевским в Киев и в Крым». И впоследствии имя Пушкина будет постоянно встречаться в семейной переписке Тургеневых.

В 1819 году Н. Тургенев вступил в «Союз благоденствия» и стал его деятельным членом, энергично отстаивая свою идею уничтожения крепостного права.

Позднее, в записке «О народном воспитании» 1826 года, Пушкин, сказав о «политическом фанатизме» — непримиримости Н. Тургенева, отметил его высокую нравственность и умеренность правил, которые явились «следствием просвещения истинного».

Чтобы подать пример, Тургенев дал вольную своим дворовым, а в симбирской деревне, которая принадлежала ему и его братьям,

Ярем он барщины старинной  
Оброком легким заменил,  
И раб судьбу благословил.

Платежи помещику были уменьшены на одну треть.

В 1819 году Н. Тургенев снова стал помышлять о журнале. В августе у него собирались Н. М. Муравьев, Ф. Н. Глинка, И. Г. Бурцов, П. И. Колошин, А. С. Пушкин; обсуждали программы журнала под названием «Архив политических наук и российской словесности». Но служба отвлекала его и отнимала много времени. Это заметил и его брат Александр: «Жаль, что Николай начинает утопать в делах текущих! По крайней мере Европа и ее ажитация для него еще не чужды... весь вечер посвящает чтению журналов, а к ночи возвращается в кабинет свой и знает публику только по Совету...»

Но было еще одно важное обстоятельство, которое помешало его литературно-научной деятельности. В 1818 году вышло запрещение печатать что-либо о крепостном праве. Даже заглавия статей Н. Тургенева не могли пройти цензуру: «Нечто о барщине», «Нечто о крепостном состоянии». Писать о русском суде, о деятельности присяжных и тому подобное было также невозможно.

Связи Н. Тургенев имел в это время обширные: с Жуковским и Чаадаевым, Кривцовым, поэтом И. И. Козловым, Ф. Н. Глинкой, Н. И. Гнедичем, бывал у Карамзиных, переписывался с М. Ф. Орловым. Познакомился с Рылеевым. В 1823 году сформировалось Северное тайное общество, и Тургенев стал одним из влиятельных и активных его членов.

Обширная и серьезная работа расстроила здоровье Николая Ивановича. Получив отпуск, 9 апреля 1824 года он выехал в Карлсбад. Примечательно, что профессор, осматривавший его, дал ему 50 лет — так плохо выглядел тридцатипятилетний Тургенев! Он начал энергично лечиться, и это дало хорошие результаты.

В 1825 году, в сентябре, вместе с братом Александром они отправились в Париж, также «для лечения». Здесь и застала их 30 декабря весть о «кровавом пролитом происшествии в Петербурге»: «Человек 200... убито. Убит Милорадович каким-то человеком во фраке. Но все усмирено».

В январе братья приехали в Лондон. А 29 апреля Н. Тургенев записал в дневнике: «Известия из Петербурга так далеко переходят за черту моих ожиданий и опасений, что я не могу надивиться этому».

Учрежденная царем следственная комиссия выяснила значительную роль Н. Тургенева в деятельности Северного тайного общества. Русское правительство обратилось к Англии с просьбой выдать его как политического преступника. Распространились слухи, будто Н. Тур-

генева уже везут морем в Россию. Встревоженный Пушкин спрашивал П. А. Вяземского в письме из Михайловского 14 августа 1826 года: «Правда ли, что Николая Т. привезли на корабле в Петербург? Вот какво море наше хваленое!» Поэт имел в виду стихотворение Вяземского «Море», присланное ему в письме от 31 июля 1826 года. Это стихотворение было откликом на приговор по делу декабристов. Автор противопоставлял запятнанную преступлениями землю чистой морской стихии, где «кровь братьев не дымится». В своем стихотворном ответе Вяземскому Пушкин гневно обличал «Нептуна грозного трезубец», по воле которого Н. Тургенева должны были доставить в Россию, на суд:

Не славь его. В наш гнусный век  
Седой Нептун Земли союзник.  
На всех стихиях человек —  
Тиран, предатель или узник.

Англия отказалась выдать Н. Тургенева. Его судили заочно и приговорили к смертной казни, замененной вечной каторгой.

«Какая фея, какой ангел-хранитель охранял меня?» — восклицал Николай Иванович. И вот запись 10 августа 1826 года: «...прочел ужасное известие о казни в Петербурге... Оно меня поразило чрезвычайно, особенно казнь Пестеля!»

Дневник Тургенева в июне 1827 года надолго обрывается. В том же году он потерял своего любимого младшего брата Сергея. Хрупкий и болезненный, Сергей был настолько потрясен трагическими событиями, последовавшими после декабрьского восстания, что тяжело заболел и скончался в Париже.

Николай Иванович не вернулся на родину. Тяжкая участь политического эмигранта выпала на долю страстного патриота, который, по словам Пушкина, «одну Россию в мире видя», желал ей всяческого благоденствия и, не щадя себя, неустанно за него боролся.

## „Человек поистине замечательный...“



ушкин познакомился с Михаилом Сергеевичем Луниным 19 ноября 1818 года. В обществе Е. Ф. Муравьевой и ее сына Никиты, В. А. Жуковского, А. И. Тургенева, Н. И. Гнедича, П. Л. Шиллинга и Пушкина он ездил в этот день в Царское Село для проводов поэта К. Н. Батюшкова в Италию. Веселый обед завершился экспромтом Пушкина, который, как сообщал А. И. Тургенев в письме П. А. Вяземскому, «послать нельзя».

Лунин знал ранее и интересовался творчеством юного Пушкина, которого еще в 1816 году в беседе со своим приятелем французским драматургом И. Оже назвал «нашим восходящим светилом».

В Петербурге Пушкин встречался с Луниным в доме его тетки Е. Ф. Муравьевой, у которой он бывал почти каждый день.

Военная служба Лунина началась в 1803 году, когда его зачислили юнкером в лейб-гвардии егерский полк. В 1805 году он перешел в кавалергардский полк. Во многих военных операциях корнет Лунин принимал непосредственное участие. «В походах и делах противу неприятеля» проявлял «отличную храбрость». Однако военные успехи и награды мало привлекали Лунина, уже ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Чрезвычайно остро переживая неудачи русского оружия, мечтая о героическом самопожертвовании, он предлагал убить Наполеона, что, по его суждению, могло прекратить войну. Лунин прошел всю военную кампанию 1812—1813 годов. Вместе с полком вступил в Париж 12 марта, но уже через две недели отправился обратно в Россию.

Лунин приехал в Петербург. Ипполит Оже вспоминал, как Михаил Сергеевич объяснялся с отцом, прося



уплатить его долги, и обещал выйти в отставку и не требовать больше денег. Отец согласился. «Вот моя просьба об отставке, только что испеченная: еще чернила не успели высохнуть, — воскликнул Лунин. — В ней моя будущая свобода! По-испански свобода Libertad. Прочь обязательная служба! Я не хочу быть в зависимости от своего официального положения; я буду приносить пользу людям тем способом, какой мне внушают разум и сердце. Гражданин вселенной — лучше этого титула нет на свете».

Когда Александру I доложили о желании Лунина выйти в отставку, царь сказал: «Это самое лучшее, что он может сделать».

К тому времени Михаил Сергеевич покинул дом отца и жил на Торговой улице (ныне ул. Союза Печатников, 14). В мае — июне 1816 года в «С.-Петербургских ведомостях» появились публикации об отъезде за границу «Михаила Сергеевича Лунина, отставного гвардии ротмистра и кавалера, с дворовым человеком Алексеем Еремеевым, живущего в Мал. Коломне в доме госпожи Дубецкой, № 7».

На корабле «Фиделитэ» он отплыл во Францию.

В Париже, поселившись в скромной гостинице, Лунин зарабатывал на существование собственным трудом — давал уроки музыки, математики, английского и французского языков, сочинял поздравительные письма и прошения. С увлечением отдался и сочинительству — писал исторический роман «Лжедмитрий», который высоко оценил французский литератор, впоследствии академик Шарль Брифо. «Ваш Лунин — чародей! — воскликнул он. — Мне кажется, даже Шатобриан не написал бы лучше». Но роман остался неоконченным.

Посещая различные политические кружки, он заслушивался увлекательными рассуждениями и беседами, познакомился с Сен-Симоном.

После смерти отца, в 1817 году, ему пришлось вернуться в Россию для устройства дел. В Петербурге он оказался в самой гуще оппозиционной молодежи, связанной с тайными обществами. По словам Лунина, вхождение его в тайное общество определила Отечественная война, которая «совокупила народ для защиты своего достоинства, которое одни меры правительства не в состоянии уже были охранять», а после разгрома врага внимание мыслящих людей должно привлечь «внутреннее устройство» России. Рабство, опустошенная страна — все это «вопяло за отечество». «Теперь мыслящие восстали на умственный подвиг, как прежде толпы восставали на рукопашный бой».

Среди лучших людей начала XIX столетия М. С. Лунину принадлежит выдающееся место в одном ряду с П. Пестелем, К. Рылеевым, Н. Муравьевым. В «Союз спасения» его ввел в 1816 году Н. И. Тургенев. Затем он стал членом «Союза благоденствия», одним из организаторов Северного тайного общества, близко связанным и с Южным обществом. Со свойственной ему энергией Лунин принял самое горячее участие в делах общества. Ему принадлежит проект «о совершении царевубийства на царскосельской дороге с партией в масках, когда время придет к действию приступить». Убийство царя должно было совершиться во имя ограничения самодержавия, во имя приближения конституционных форм правления в России. Второе его предложение — организация тайной литографии. Оба эти проекта не были реализованы.

Вся жизнь Лунина до его последнего вздоха была жизнью человека, поражавшего, как писал хорошо его знавший декабрист С. Г. Волконский, своими необыкновенными качествами: «...сила духа, ясность мышления и точность выражения ставят его в совсем исключительное положение, не только выдвигая его в рядах современников, но вынося его за пределы своего времени».

Лунин понимал необходимость пополнять свое образование и развивать «свои способности ума» постоянным общением с кругом просвещенных людей. При его блестящих способностях это принесло богатые плоды: он действительно стал одним из образованнейших людей своего времени.

Большую роль в его жизни играла музыка. Одаренный прекрасными музыкальными способностями, Лунин признавался: «Под моими пальцами послушный инструмент выражает все, что я захочу: мои мечты, мое горе, мою радость». Он был превосходным пианистом.

В воспоминаниях И. Оже создан выразительный образ Лунина: «...поэт и музыкант и в то же время реформатор, политикоэконом, государственный человек, изучивший специальные вопросы, знакомый со всеми истинами, со всеми заблуждениями... В нем чувствовалась сильная воля... Он был высокого роста, стройно и тонко сложен, но худоба его происходила не от болезни: усиленная умственная деятельность рано истощила его силы».

Представляет большой интерес и яркая характеристика Лунина, сделанная его сестрой: «Молодая душа была благородна, нежна и горда. Лицо было красиво, внушительно и строго; манера говорить была краткая и резкая, ум — глубокий и живой». Пушкин также запомнил эту речевую особенность Лунина. «Тут Лунин резкий предлагал...» — писал он в черновых строфах X главы «Евгения Онегина». Яркая, многогранная личность Лунина не могла не привлекать к себе внимания выдающихся его современников, хотя не все и не сразу за броской внешностью сумели разглядеть ее сущность. Так же как и Каверина, бретером и дуэлянтом, лихим кутилой воспринимали Лунина многие из знавших его людей. О его похождениях и проказах ходили настоящие легенды. Не все могли понять, что его поведение было своеобразным вызовом господствующей рутине

и фрунтомании, царившей в армии, увидеть ту сложную внутреннюю работу, которая шла в скрытной, сложной и оригинальной натуре молодого офицера. Пушкин видел в Луние «человека поистине замечательного», о чем и сказал впоследствии его сестре Е. С. Уваровой, встретив ее в 1835 году. Сообщая в письме брату слова поэта, Е. С. Уварова добавляла: «Он поручил... сказать тебе, что сохраняет прядь волос, которую он утащил у тети Катерины Федоровны, когда ты велел побрить голову перед отъездом, если не ошибаюсь, в Одессу».

Свои встречи с Луниным в кругу декабристов Пушкин описал в X главе «Евгения Онегина»:

Друг Марса, Вакха и Венеры,  
Тут Луни дерзко предлагал  
Свои решительные меры  
И вдохновенно бормотал.

В 1820 году знакомство Пушкина и Лунина невольно оборвалось. Луни продолжал в Петербурге и Москве пропагандировать «решительные меры», а Пушкин, «гонимый рока самовластьем», уехал в Бессарабию.

В 1822 году Лунина снова зачислили в уланский полк, а в 1824 году он отбыл для прохождения службы в Варшаву командиром Гродненского гусарского полка. С Пушкиным более никогда не встречался. Но память Лунина хранила образ поэта. Среди его бумаг нашелся листок с изображением Пушкина, набросанным карандашом. В адрес Лунина в Варшаву поступали выписанные им все имевшиеся в продаже произведения Пушкина. Эти два человека, столь отличные по своим судьбам, встретившись, запомнились друг другу, оставив о себе взаимно сильное впечатление.

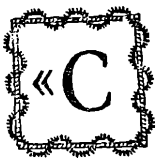
В ходе следствия над декабристами выяснились значение и роль Лунина в тайных обществах. 15 апреля 1826 года его, арестованного, привезли из Варшавы в

Петербург, в Главный штаб. Последовал приказ царя: «Отправить в крепость немедленно». Так началась жизнь «государственного преступника» Михаила Лунина.

Жизнь в Сибири не сломила, а духовно укрепила Лунина. Он, как и Пушкин, был твердо уверен, что дело декабристов не пропало даром. «От людей можно сделаться, но от их идей нельзя,— говорит Лунин в своем сочинении «Взгляд на Русское тайное общество с 1816 до 1826 года». — Сердца молодого поколения обращаются к сибирским пустыням, где великие ссыльные блистают среди мрака, в котором хотят их скрыть. У них все отнято: общественное положение, имущество, здоровье, отечество, свобода... Но никто не мог отнять народного к ним сочувствия». Он не ошибся: декабристы разбудили целое поколение новых революционеров — поколение Герцена.

Литературное наследие Лунина, созданное в сибирской ссылке, по словам М. В. Нечкиной, прорвало тюремный кордон и ценой жизни декабриста дошло до молодой России.

### „Меланхолический Якушкин...“



уществование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед» — эти замечательные строки, написанные в 1814 году, принадлежат декабристу Ивану Дмитриевичу Якушкину. Они живо

воссоздают атмосферу, воцарившуюся в Петербурге после Отечественной войны 1812 года. Этим воздухом жили и дышали те люди, с которыми общался и Пушкин после окончания Лицея. Среди них загорелась «искра пламени иного», как писал впоследствии поэт.

К этим годам политические взгляды таких людей, как Якушкин, вполне сложились. Страстное желание изменить общественный строй России, уничтожить самое большое зло — крепостное право — привело его сначала в «Союз спасения» и «Союз благоденствия» и, наконец, в Северное тайное общество.

Друзья вспоминали, что Якушкин был человеком строгого морального облика, необычайно требовательный к себе, с высокими духовными запросами. В своих записках он сообщает, что настольными книгами «каждого из нас» были сочинения древних историков — Плутарха, Тита Ливия, Цицерона, Тацита.

Он постоянно посещал собрания в доме Никиты Муравьева, бывал и у Ильи Долгорукова на Екатерининском проспекте, где собирались члены тайного общества. Эти собрания посещал и Пушкин.

Якушкин познакомился и сблизился со многими заговорщиками. В своих «Записках» он вспоминал: «В беседах наших обыкновенно разговор был о положении России. Тут разбирались главные язвы нашего отечества: закоснелость народа, крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами, которых служба в течение 25 лет почти была каторга; повсеместное лихоимство, грабительство и наконец явное неуважение к человеку вообще».

Вопрос об убийстве царя обсуждался в Москве в 1817 году, во время пребывания там гвардии. «Я решил без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести», — заявил Якушкин. В этих словах проявились его природная смелость и решительность. Слухи о готовящемся цареубийстве распростра-

нились достаточно широко и могли дойти до Пушкина. Не случайно впоследствии он написал:

Меланхолический Якушкин,  
Казалось, молча обнажал  
Цареубийственный кинжал.

Внешность Якушкина была незаурядна: острый нос с горбинкой, «темные быстрые глаза; улыбающийся красивый рот его обрамлялся сверху черными усами, а снизу маленькой... эспаньолкой».

«Я познакомился с ним [Пушкиным],— писал Якушкин,— в последнюю мою поездку в Петербург у Петра Чаадаева, с которым он был дружен и к которому имел большое доверие».

Несомненно, что между Якушкиным и Пушкиным возникли приятельские отношения. Якушкин вспоминал, как он был приятно удивлен, приехав в ноябре 1820 года в имение Давыдовых Каменку, когда «поэт выбежал к нему с распростертыми объятиями».

В воспоминаниях Якушкина возникает необыкновенно привлекательный образ поэта. Он ценит и его большую скромность, и тонкость и точность критических замечаний, и верность вольнолюбивым идеалам: «...заходил ли разговор о чем-нибудь дельном, Пушкин тотчас просветлялся. О произведениях словесности он судил верно и с особенным каким-то достоинством. Не говоря почти никогда о собственных своих сочинениях, он любил разбирать произведения современных поэтов и не только отдавал каждому из них справедливость, но и в каждом из них умел отыскать красоты, каких другие не заметили. Я ему прочел его Noël: «Урал в Россию скачет», и он очень удивился, как я его знаю...

...Но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал бы их (вольнолюбивых стихов Пушкина. — *Авт.*) наизусть. Вообще Пушкин был отголосок своего поколения, со всеми его недо-

статками и со всеми добродетелями. И вот, может быть, почему он был поэтом истинно народным, каких не было прежде в России!»

Выразительно и тепло рассказывает Якушкин в своих «Записках» о том, с каким жаром Пушкин доказывал «всю пользу, какую бы могло принести Тайное общество России...», и приводит слова поэта: «„Я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собой..“ — И заканчивает Якушкин словами: — В эту минуту он был точно прекрасен».

Судьба Якушкина, как и многих его товарищей, сложилась трагически. Он был осужден по первому разряду на 20 лет каторги.

### „С Орловым спорю...“



ушкин встречался с Михаилом Федоровичем Орловым в литературном обществе «Арзамас», во многих домах и салонах столицы, в семье Раевских. Эти встречи происходили в 1817—1820-х годах. Современники запомнили примечательную внешность

Орлова, восхищались его широкой образованностью, начитанностью и красноречием, добротой и большой физической силой.

Первый ученик в пансионе французского аббата Николая, «уважаемый наставниками и товарищами», Михаил Орлов сохранил связь со своими однокашниками — С. Г. Волконским, В. Л. Давыдовым, А. П. Барятинским — будущими декабристами.

Зачисленный в Коллегию иностранных дел в 1801 году, он выхлопотал перевод на военную службу и в 1805 году, 10 августа, юнкером кавалергардского полка выступил из Петербурга в заграничный поход. Полк шел на помощь армии Кутузова, а затем принял участие в Аустерлицком сражении.



Здесь ярко проявилась поистине неудержимая храбрость Орлова. Он был «употребляем по труднейшим делам, которые всегда исполнял с желанным успехом», вспоминали современники. Началась его блестящая военная карьера.

Кутузов поручил Орлову написать листовку, разоблачавшую лживый 29-й бюллетень Наполеона, где побежденный император пытался объяснить разгром своей армии русским морозом. Листовка написана с тонкой иронией и беспощадным сарказмом. Со свойственной ему страстностью автор прославлял героизм русских солдат, ни разу не упомянув о царе.

В последние дни войны проявились дипломатические способности Орлова. За выдающиеся военные заслуги и решающую роль в переговорах о капитуляции Парижа ему был пожалован чин генерал-майора.

По словам Ф. Ф. Вигеля, Орлов мечтал «о счастье сограждан» и видел его прежде всего в уничтожении крепостного права. В этом он пытался убедить и царя, подавая ему проект об освобождении крестьян, но потерпел неудачу.

В 1814 году у него созрела мысль об организации тайного общества. «Я первый задумал в России план тайного общества», — сообщал он впоследствии. Задуманное общество получило название «Орден русских рыцарей». В 1815 году Орлов участвовал во втором походе русских войск во Францию и закончил его начальником штаба оккупационных войск. Здесь он общался с русским комиссаром Центрального департамента союзных правительств Н. И. Тургеневым. Дружба и общение этих двух замечательных людей была для них обоим необычайно значимой.

В 1816 году генерал-майор Орлов вернулся на Родину. В Петербург он приехал в январе 1817 года и попал в обстановку идейного брожения. Всюду говорили о необходимости немедленных реформ, обсуждали пла-

ны преобразований. Передовая военная молодежь видела смысл жизни в борьбе за счастье народа. Мерзости крепостного права, отсталость России возмущали чувство национальной гордости лучших людей России. В Петербурге уже более полугода существовало тайное общество «Союз спасения». Его члены — старые друзья и знакомые Орлова — М. С. Лунин, С. П. Трубецкой, А. З. Муравьев и др. К этому времени «Орден русских рыцарей» формально прекратил свое существование. Михаил Федорович вошел в созданный в 1818 году «Союз благоденствия».

Еще в 1817 году Н. И. Тургенев привлек своего друга в литературное общество «Арзамас». За плавность и красоту речи Орлову дали прозвище «Рейн», часто прибавляя к нему эпитет, характеризующий его темперамент, «Кипучий». В речи «Кипучего Рейна», произнесенной при вступлении в «Арзамас», «просвещение подавало руку грозной и мирной богине Свободе», записал В. А. Жуковский в протоколе собрания. Орлов призывал арзамасцев образовывать «общее мнение и распространять мнения ясные и правильные, наблюдать политическое и нравственное состояние России и прочих государств». Уже на следующем заседании он предложил «завести журнал». В. А. Жуковский в стихотворном протоколе так описал его выступление:

Тут осанистый Рейн, разгладив чело...

Важно жезлом волшебным махнул, и явилось нечто

Пышным вратам подобное, к светлomu зданию ведущим,

Звездная надпись сияла на них: Журнал арзамасский.

Руководство «Арзамасом» по существу перешло теперь к двум друзьям — Н. И. Тургеневу — «Варвику» и М. Ф. Орлову — «Кипучему Рейну». Они надеялись, что «Арзамас» будет готовить членов будущих тайных обществ, стремящихся ко «благу отечества». Но их надежды не осуществились, не состоялось и издание журнала.

К этому времени благоволение царя к своему флигель-адъютанту давно прошло: его не мог устраивать беспокойный генерал, досаждавший проектами об освобождении крестьян. Свое новое назначение в Киев начальником штаба корпуса, которым командовал генерал Н. Н. Раевский, Орлов рассматривал как опалу. Только после длительных хлопот он получил назначение в 1820 году командиром 16-й пехотной дивизии в Молдавии.

В Кишиневе гостеприимно были раскрыты двери дома, где жил новый командир. И когда в 1821 году в Кишинев прибыл Пушкин, он стал частым гостем в доме Орлова. «Пишу тебе у Рейна — все тот же он, не изменился, хоть и женился», — сообщал он Петру Андреевичу Вяземскому 2 января 1822 года. Жена Орлова, старшая дочь Н. Н. Раевского Екатерина Николаевна, по словам Пушкина, «женщина необыкновенная». В письме П. А. Вяземскому из Михайловского в сентябре 1825 года поэт писал, имея в виду Марину Мнишек из трагедии «Борис Годунов»: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова!.. Не говори, однако ж, этого никому».

Кишинев был тогда местом примечательным. В городе находился центр подготовки греческого восстания против турецкого ига. Глава тайного общества по освобождению Греции А. Ипсиланти жил в Кишиневе и часто бывал у Орлова. Здесь велись беспрестанные шумные споры — философские, политические, литературные. «С Орловым спорю», — скажет позже Пушкин. Поэт тогда горячо исповедовал идею вечного мира. Екатерина Николаевна писала брату: «Он [Пушкин] убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, что тогда не будет проливаться иной крови, кроме крови тех, кто пожелает войны». Эти суждения впоследствии отразились в заметке Пушкина «О вечном мире».

В 16-й дивизии было немало членов тайного общества. Из них составилаь кишиневская управа «Союза благоденствия», которая сразу приступила к действию. Не зная о существовании тайного общества, Пушкин жил его идеями, дышал его воздухом. В Кишиневе поэт создал наиболее яркие политические стихотворения: «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Генералу Пушкину».

В письме Вяземскому Пушкин сообщал, что «Орлов делает палки сургучные, а палки в дивизии своей уничтожил» (Орлов завел вблизи Кишинева сургучную фабрику). Он не только отменил телесные наказания, но преследовал офицеров, не выполнявших его распоряжений.

О ты, который сочетал  
С душою пылкой, откровенной  
(Хотя и русский генерал)  
Любезность, разум просвещенный;  
О ты, который с каждым днем  
Вставая на военну муку,  
Усталым усачам верхом  
Преподаешь царей науку;  
Но не бесславишь сгоряча  
Свою воинственную руку  
Презренной палкой палача...

«Ласковое его обращение, его величественный вид, его всегда веселое лицо, его доступность для всех — внушало солдатам доверенность, привязанность до восторженности», — вспоминал один из офицеров майор В. Ф. Раевский. Начали действовать и ланкастерские школы взаимного обучения, получившие необычайное развитие в дивизии Орлова. В. Ф. Раевский вел политическую агитацию среди солдат. Орлов готовил свою дивизию к активным выступлениям: «16 тысяч под ружьем... С этим можно пошутить».

После ареста В. Ф. Раевского — первого декабриста, как его называли, — командира дивизии отстранили от службы, и он был назначен «состоять по армии». Жил

в Киеве, в Крыму и в своем имении Калужской губернии. Хозяйственные заботы не могли удовлетворить человека, привыкшего к кипучей политической деятельности. В какой-то мере помогали занятия историей, литературой, политической экономией.

После событий 14 декабря Орлова арестовали. Это произошло 21 декабря. Но его спас от расправы брат А. Ф. Орлов, командовавший лейб-гвардии конным полком, который участвовал в подавлении восстания. Пользуясь неограниченным доверием Николая I и принимая непосредственное участие в суде над декабристами, он сумел избавить брата от тяжелой участи, которой подверглись остальные участники восстания. «В своем спасении меньше всего был виноват Орлов», — скажет А. И. Герцен.

17 июня 1826 года М. Ф. Орлов был освобожден, но его навсегда вычеркнули из гражданской жизни. Для кипучей натуры, находившейся в полном расцвете сил, такое положение стало подлинной трагедией.

Когда правительство, после долгих ходатайств, разрешило ему в 1831 году поселиться в Москве, дом его стал центром «глухой оппозиции». Здесь велись бурные философские споры, обсуждались последние литературные новинки. Постоянными гостями у него были Чаадаев и Вяземский, а во время своих наездов в Москву приходил сюда и Пушкин.

В это время Орлов снова обратился к экономическим и финансовым проблемам. Его книга «О государственном кредите» подверглась жестокой цензуре, в результате которой ему предложили выкинуть из рукописи все, что касалось социально-политических проблем. Книга вышла в свет без имени автора в 1833 году.

Орлов преподнес один экземпляр Пушкину с надписью: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину от сочинителя М. Орлова в знак дружбы и уважения». Он вложил в книгу рукописное добавление

всех исключенных цензурой мест. В бумагах поэта сохранился черновой набросок: «Заметки при чтении книги М. Ф. Орлова „О государственном кредите”».

Еще в «Арзамасе» Орлов мечтал о журнале, о публицистической деятельности, к которой имел несомненное дарование. И с какой же горечью он писал Вяземскому в июне 1827 года: «Ежели бы я был свободен жить, где я хочу, ежели б не обращали на меня особенного надзора, и я бы сделался твоим сотрудником и я бы счастлив был, ежели бы видел хоть один порядочный журнал в отечестве».

Интересуясь судьбой Пушкина, Орлов возмущенно писал в 1826 году Вяземскому, одному из деятельных авторов журнала «Московский телеграф»: «Как ты Пушкина отдал на съедение Погдину и не причел его к своим сотрудникам?» (М. П. Погдин был редактором «Московского вестника»).

«Посылаю вам двух Байронов и двух Тальма,— извещал Орлов Вяземского в 1827 году.— Один из Байронов и один из Тальма — для Пушкина». «Как хорош граф Нулин!» — восклицает он в письме 17 февраля 1828 года.

Но, по-видимому, не все гладко было в отношениях Орлова с Пушкиным. Отголоски каких-то сложных споров, имевших место еще в Кишиневе, отразились в письме Пушкина к Наталье Николаевне: «На днях обедал я у Орлова. Орлов умный человек и очень добрый малый, но до него я как-то не охотник по старым нашим отношениям».

Безвременная смерть Пушкина не могла не поразить Орлова. Не случайно Чаадаев хотел показать Орлову письмо Жуковского, адресованное Сергею Львовичу Пушкину, с описанием последних часов жизни поэта.

---

---

„О други смелых муз...“



хождению Пушкина в петербургские литературные круги предшествовали удивительные перемены: рушились авторитеты, доселе казавшиеся непререкаемыми, заживо изживали себя столпы классицизма, до недавнего времени почти безраздельно владевшие «российской словесностью». Близился и конец «Беседы любителей русского слова», с 1811 года объединявшей всех литературных знаменитостей столицы. Правда, молодые литераторы охотнее посещали дома меценатов и салоны просвещенной петербургской знати, так как собственно писательских объединений, более соответствовавших духу времени, в столице почти не было. Постепенно хирело некогда активно действовавшее «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», в котором начиналась литературная деятельность Батюшкова, Гнедича, Востокова и др.

Еще на лицейской скамье Пушкин услышал о новом обществе с необычным названием «Арзамас», окруженным ореолом таинственности. Общество, постепенно вовлекшее в свои ряды всех тех, кто не мирился с рутинной, литературной отсталостью и выступал противником обветшалых догм классицизма, завоевало симпатии столичной молодежи. Оно не устраивало публичных, многолюдных заседаний, избегало широкой гласности. Его участники демонстративно именовали себя обществом «безвестных людей» и, казалось, не преследовали никаких серьезных целей. На первых порах число членов «Арзамаса» было настолько незначительным, что

не приходилось говорить о каком-либо влиянии на умственную жизнь столицы: просто кружок друзей-единомышленников. И все же молодые литераторы, образовавшие шуточное общество «безвестных людей», были людьми далеко не ординарными: стихами Жуковского уже зачитывались и просвещенные любители российской словесности, и юные лицеисты, и образованные женщины. Поэта любили и знали не только в столице, но и во всей России. Славным русским Тиртеем, воспевшим «ратных грозный строй», вошел он в каждое русское сердце. Александр Тургенев по-своему тоже знаменит: занимая видные государственные посты, он был человеком отзывчивым и добрым, отличался необычайной общительностью, пламенно и увлеченно любил литературу, содействовал расцвету многих дарований. Особенно дружен был он с Жуковским. Другие участники общества: Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов и уже набиравший силу С. С. Уваров (все трое станут видными николаевскими сановниками, отказавшись от либеральных увлечений своей молодости), не нашедший себя еще ни в каком литературном роде Ф. Ф. Вигель (впоследствии видный мемуарист). Все они люди молодые, ищущие, широко образованные, наделенные тонким художественным вкусом, а главное — чувством юмора, даром меткого и живого слова, бесшабашной веселостью, обычной спутницей молодости. Ко времени создания «Арзамаса» у каждого за плечами уже был опыт борьбы с «беседчиками», которых они именуют «губителями русского слова».

Открытое столкновение двух позиций, двух взглядов на цели и задачи искусства становилось неизбежным. В «Беседе» витийствуют, читают громоздкие эпопеи и неуклюжие, бездарные вирши, а затем издают плоды своих трудов. В «Арзамасе» потешаются над живыми «покойниками» «Беседы», читая им похвальные речи, подтрунивают над чопорной публикой, зевающей на засе-



даниях общества, смеются и над собою, веселятся, шутят. В шутивно-пародийных формах арзамасских собраний без труда угадываются демократические порядки: общее голосование при избрании председателя заседания, красный колпак (якобинский символ свободы и независимости мнений), в который облачается председатель, члены общества — «граждане», или «сограждане», а также «гуси». Арзамасские собрания заканчивались дружеским ужином, за которым обычно подавали к столу жареного гуся (город Арзамас славился гусями). Гусь становится шутливой эмблемой общества. Почетные члены общества (число их будет стремительно возрастать) именуются «почетными гусями „Арзамаса”» (Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев и др.). В общество один за другим вступают П. Вяземский и Д. Давыдов, К. Батюшков и В. Л. Пушкин и другие. Все они, отрекшись от своих имен, демонстративно нарекаются прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского (Ахилл, Светлана, Ивиков журавль, Чу, Эолова арфа).

Поводом к созданию «Арзамаса» послужили резкие выпады против Жуковского в комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Поэтому «Арзамас» ведет свое летосчисление «от Липецкого потопа», а «невинно умученные» баллады Жуковского берутся под защиту.

Впоследствии, опасаясь обвинений в «недозволенной деятельности», С. Уваров будет всячески подчеркивать дружеский, сугубо развлекательный характер «Арзамаса», однако в деятельности этого общества нашли отражение глубокие внутренние процессы русской жизни начала XIX века. В боевых схватках «арзамасцев» с «покойниками» «Беседы», в насмешках над мертвой схоластикой их писаний, в колких выпадах арзамасских пародий и разящей остроте эпиграмм скрывались новые представления о личности, постепенно высвобождавшейся из-под власти узкосословной морали и этики. В «Ар-

замасе» боролись за подлинно национальную, высокохудожественную литературу, мечтали о гармоническом расцвете человека, горячо ратовали за развитие общественного прогресса. «Арзамас» стал средоточием лучших литературных сил России.

«В некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея», прекрасными стихами уже подавал «оттуда свой звонкий голос» Пушкин — «Сверчок». Став одним из самых задорных, самых боевых «арзамасцев», он быстро усвоил и приемы пародирования, и жанры полемических выступлений, и самый пафос борьбы с литературными рутинерами. Арзамасская шутовская и острогротескная поэзия находила у юного поэта живейший отклик, вдохновляла его на создание «Тени Фонвизина», острых эпиграмм, направленных против «беседчиков» («Угрюмых тройка есть певцов...»). Осенью 1817 года Пушкин впервые присутствовал на заседании «Арзамаса», приветствовал «арзамасцев» стихотворным посланием. Текст его не сохранился, но отдельные строки остались в памяти участников арзамасских собраний, дошли до наших дней. Пушкин вдохновенно и пылко славит в них «дивный Арзамас», Тиртея — Жуковского, пророческие речи Кассандры — Блудова. «Други смелых муз» — «арзамасцы» — становятся ближайшими из его друзей.

### „Наш Тиртей“



ушой «Арзамаса» был Василий Андреевич Жуковский; ему более всего это общество обязано своими ритуальными затеями и необычными формами литературного общения. Поэт пришел в «Арзамас» с опытом шутовского содружества, восходящим ко временам его молодости. В имени его родных Муратове и поместье Чернь А. А. Плещеева (которого Жу-

ковский тоже обратит в «арзамасскую веру») разыгрывались забавные представления, пародировались баллады Жуковского, выпускались юмористические журналы и газеты («Муратовский сморчок», «Муратовская вошь» и др.). Но Жуковский внес в «Арзамас» и нечто большее: он способствовал утверждению в обществе духа подлинного товарищества, равенства всех его членов в сочетании со строгой требовательностью к каждому.

Согласно сложившейся традиции Жуковский тоже получил арзамасское прозвище («Светлана»), взятое из лучшей его баллады и удивительно точно выражающее нрав Жуковского — его светлый ум, добродушный характер, доброжелательность, уступчивость и мягкость. Жуковский стал бессменным секретарем общества. Это его рукой были написаны дошедшие до наших дней шуточные — прозаические и стихотворные — протоколы «Арзамаса». Он был изобретателем «арзамасской галиматии», создателем особого «арзамасского наречия», но вместе с тем он был и самым значительным, самым талантливым поэтом «Арзамаса», уступив свое первенство только Пушкину.

1815 год — важнейшая веха в истории отношений Жуковского и Пушкина, время расцвета поэтической славы Жуковского. «Певец во стане русских воинов» принес молодому поэту (уже известному, но еще неизвестному) славу русского Тиртея (певца, воспламенявшего воинов-греков на битву). И в этом облике — в ореоле участника Отечественной войны 1812 года — воспринимает Жуковского лицеисты, зачитываясь не только «Певцом», но и другими стихами поэта.

Поэзию Жуковского Пушкин знает и любит с детских лет, — иначе и не может быть, потому что Жуковский — желанный гость в доме родителей Пушкина, живущих в Москве. Но прежде чем состоялось настоящее знакомство двух поэтов, познакомились и по-

дружились их музы. Проездом через Москву в начале января 1815 года Жуковский читает в рукописи (полученной В. Л. Пушкиным от племянника) «Воспоминания в Царском Селе» с вдохновенными строчками о себе:

О Скальд России вдохновенный,  
Воспевший ратных грозный строй,  
Среди друзей твоих, с душой воспламенной,  
Взгреми на арфе золотой!

Переехав в Петербург из Дерпта, Жуковский спешит посетить Лицей. В лицейских ведомостях его имя значится среди посетителей уже в июне 1815 года, но состоялась ли встреча, сказать трудно, ибо Жуковский напишет Вяземскому о своем знакомстве с «молодым нашим чудотворцем» 19 сентября этого же года. Пушкин отзовется на эту «царскосельскую» встречу стихами своего послания «К Жуковскому (Благослови, поэт...)» еще позднее, в 1816 году:

И ты, природою на песни обреченный!  
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?

С этого момента Жуковский — поэтический наставник юного Пушкина — не единственный, но первый и главный среди целого созвездия ярких поэтических талантов, учивших и ободрявших Пушкина-лицеиста.

Их уже связывает дружба, несмотря на разницу лет (Пушкин на 16 лет моложе своего наставника). Они общаются почти ежедневно — десятки, сотни встреч! Следы теснейшего общения хранят рукописи Пушкина, бумаги Жуковского, мемуары современников, письма друзей. Пушкин ценит Жуковского-поэта, понимает и любит его, хотя далеко не всё принимает в его творчестве. Уникальная поэтическая память Пушкина вмещает бесчисленное количество стихов Жуковского, который любит повторять, что, если Пушкин не запоминает его стихотворной строки, она требует переделки.

Пушкин совсем по-арзамасски любит подшутить над своим наставником: он посвящает ему немало шуточных записок, экспромтов, пародий и даже хотя и не очень обидных, но острых эпиграмм. «Послушай, дедушка», — посмеется он над стихотворением Жуковского «Тленность». Уже вдали от Петербурга, советуя Жуковскому при составлении сборника своих сочинений «не слушаться маркиза Блудова», Пушкин по-озорному перефразирует начало обращенного к Блудову послания Жуковского:

Веселого пути  
Я Блудову желаю..

Для Пушкина Жуковский не только поэт-переводчик — русский Гёте, Грей, Шиллер и Томсон, но одновременно и бравый «штабс-капитан» (в этом чине Жуковский вышел в отставку после окончания военной кампании 1812 года).

Резвое и шаловливое перо Пушкина не только выписывает строчки знаменитой пародии на «Двенадцать спящих дев», включенные в IV песнь «Руслана и Людмилы», но набрасывает на полях рукописи шаржированный портрет самого автора баллады. В черновиках «Руслана и Людмилы» Жуковский изображен в виде старого добродушного дядьки. Жуковский не обиделся и, слушая поэму у себя на литературных вечерах, оценил изящество и остроумие литературной шутки Пушкина, давая «Руслану и Людмиле» самую высокую оценку: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“».

Жуковский был склонен к самоиронии: в одном из своих поздних писем он назовет себя «поэтическим дядькой чертей и ведьм немецких и английских», как бы вторя давней петербургской шутке Пушкина. Резвился не один Пушкин, читая наизусть шуточное, от

имени Жуковского написанное «Послание к павловским фрейлинам», к сожалению, не сохранившееся (а может быть, просто сымпровизированное в Павловске у Жуковского, куда юный поэт приехал вместе с А. Тургеневым поздней ночью и всю ночь забавлял и потешал хозяина, который тоже не отставал от своих ночных гостей).

Уже на юге, работая над «Кавказским пленником», Пушкин мысленно перенесся в Петербург и, вспомнив об одной из таких же встреч, начал торопливо набрасывать строки обращенного к Жуковскому послания: «...как ты шалишь и как ты мил».

Таким рисовался его воображению далекий петербургский наставник! Вдали от столицы Пушкин помнил Жуковского, требовал от него и от общих друзей новых его стихов: они нужны ему как воздух («брат пришлет тебе мои стихи, жду твоих, как утешения»), он будет бредить, болеть ими, непрестанно повторять полюбившиеся ему строчки.

Вернувшись в Петербург в мае 1827 года, Пушкин не застал Жуковского в столице. Их первая встреча после семилетней разлуки состоится лишь в ноябре 1827 года, и возобновится их постоянное, доверительное, дружеское общение.

### „Философ резвый и пнит...“



ный Пушкин видел Константина Николаевича Батюшкова еще в доме своих родителей, в Москве, но знакомство и личное общение с ним началось значительно позже, в Петербурге. Поэзия Батюшкова оказала на молодого поэта значительное и плодотворное влияние. Оно обнаруживается уже в его лицейских стихотворениях — «в складе выражений и особенно во

взглядах на жизнь и ее наслаждение,— говорил Белинский.— Во всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюшкова».

В 1815 году в первом номере «Российского музеума» появилось стихотворение «К Батюшкову», где Пушкин с любовью и восхищением рисует его образ:

Философ резвый и пиит,  
Парнасский счастливый ленивец,  
Харит изнеженный любимец,  
Наперсник милых Аонид...

Играй: тебя молодой Назон,  
Эрот и Грации венчали,  
А лиру строил Аполлон.

Быть может, именно знакомство с этими стихами побудило Батюшкова в феврале 1815 года приехать в Царское Село, чтобы навестить племянника своего старшего знакомого В. Л. Пушкина. Он застал юного поэта больным в лицейском лазарете.

В шестом номере «Российского музеума» этого же года появилось второе послание Пушкина «Батюшкову», в котором отразились и беседы двух поэтов:

А ты, певец забавы  
И друг Пермесских дев,  
Ты хочешь, чтобы славы  
Стезюю полетев,  
Простясь с Анакреоном,  
Спешил я за Мароном  
И пел при звуках лир  
Войны кровавый пир.

Но Пушкин не принял совета Батюшкова — настроить свою лиру на героический лад: «Бреду своим путем, будь всякой при своем...»

Задумав писать поэму о Бове, он уступил свой замысел Батюшкову и в письме Вяземскому в марте 1816 года просил обнять Батюшкова «за того больно-

го, у которого, год тому назад, завоевал он Бову Королевича».

Батюшков был уже известным поэтом. Его первые литературные опыты создавались под непосредственным влиянием Н. М. Карамзина и М. Н. Муравьева и появились в «Вестнике Европы», других журналах и альманахах. «Просвещенные любители словесности», как писал Н. И. Гнедич, высоко оценили поэзию «ума и сердца» Батюшкова.

Но великие события увлекли поэта, он принял участие в героической борьбе русского народа с войсками Наполеона. В феврале 1807 года Батюшков в рядах ополчения выступил в поход: «Мы идем, как говорят, прямо лбом на французов». В битве под Гейльсбергом он был ранен, и «его вынесли полумертвого из груды убитых и раненых товарищей». События 1812 года потрясли Батюшкова. Пламенный патриот, он писал еще в 1809 году Н. И. Гнедичу: «Любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг!»

Батюшкову довелось побывать в Москве после отхода французских войск. Ему представилась страшная картина разрушения. Он с гневом писал Гнедичу: «Варвары, вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе!» «Москвы нет! потери невозвратные!.. Сколько зла!» — повторял поэт в письме к Вяземскому.

Трижды с ужасом потом  
Бродил в Москве опустошенной  
Среди развалин и могил...

В 1813 году его направили в Дрезден адъютантом к генералу Н. Н. Раевскому, с которым он делил все опасности и трудности военного похода, легко их перенося, несмотря на свое хрупкое здоровье. «Три войны, и все на коне, и в мире на большой дороге», — скажет он впоследствии. В письме к Жуковскому сообщал: «В



Париж я вошел с мечом в руке. Из Парижа в Лондон, из Лондона в Готенбург, в Стокгольм... в Петербург. Вот моя Одиссея, поистине Одиссея!»

Батюшков остановился у своей тетки Е. Ф. Муравьевой, в доме на Фонтанке. Старший друг и покровитель А. Н. Оленин зачислил его на службу в Публичную библиотеку.

В 1815 году Батюшкова заочно избрали в члены «Арзамаса» под именем «Ахилл», а впервые он присутствовал на заседании общества в доме А. И. Тургенева 27 августа 1817 года.

Собрания «Арзамаса» его увлекали. «В „Арзамасе” весело,— сообщает он П. А. Вяземскому и дает характеристики некоторым арзамасцам: ...отдохнул с людьми, ибо это, право, люди: Блудов, столь острый и образованный; Тургенев, у которого доброты достанет на двух, и какого-то аттицизма, весьма приятного и оригинального, человек на десять; ...Орлов, у которого — редкий случай! — ум забрался в тело, достойное Фидиаса, и Жуковский, исполненный счастливейших качеств ума и сердца, ходячий талант».

Друзья запомнили кроткую, миловидную наружность Батюшкова: она «согласовалась с неподражаемым благозвучием его стихов, с приятностью его плавной и умной прозы. Он был моложав, часто застенчив, сладкоречив; в мягком голосе и в живой, но кроткой беседе его слышался как бы тихий отголосок внутреннего пения».

Пушкин встречался с Батюшковым не только в «Арзамасе», но и во многих петербургских домах. Сохранился экспромт, посвященный дружескому собранию в Царском Селе 1 сентября 1817 года. Его содержание живо передает непринужденное веселое настроение участников:

Пушкин { Я дружбой пламенею,  
          { Я дружбе верен стал.

Батюшков { Мне дружба заменяет  
                  { Умершую любовь,

Жуковский { Пусть жизнь нам изменяет,  
                  { Что было, — будет вновь,

В октябре этого же года Батюшков и Пушкин в Царском Селе провожали В. А. Жуковского, уезжавшего в Дерпт.

Высоко оценив дарование юного поэта, Батюшков с интересом следил за его развитием. Маленькому Пушкину, скажет он, «Аполлон дал чуткое ухо». А «арзамасцу» Д. Н. Блудову сообщит: «Талант чудесный! вкус, остроумие, изобретательность, веселость!» В письме к Вяземскому в мае 1818 года он отзывался о «Руслане и Людмиле»: «Молодой Пушкин пишет прелестную поэму и зреет».

Первый биограф Пушкина П. В. Анненков вспоминает о том, как «Батюшков судорожно сжал в руках» листок бумаги, на котором читал пушкинское «Послание к Ю<рье>ву», и проговорил: «О как стал писать этот злодей!» По словам Анненкова, он «нередко сизумленным смотрел, как антологический род поэзии, созданный им на Руси, легко и непринужденно подчиняется перу молодого человека, занятого, по-видимому, только удовольствиями и рассеяниями света». Батюшкову казалось опасным увлечение Пушкина светскими развлечениями, и он советовал А. И. Тургеневу его «запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... но да спасут его Музы и молитвы наши!»

В 1817 году вышел в свет первый сборник произведений Батюшкова «Опыты в стихах и прозе», которому суждено было стать единственным. Поэт рассматривал его как итог своего поэтического творчества.

Слабое здоровье Батюшкова и «ипохондрия» заставили друзей в 1818 году хлопотать о причислении его

к Министерству иностранных дел, с тем чтобы он мог поехать для лечения в Италию. Хлопоты увенчались успехом. «Вчера проводили мы Батюшкова в Италию,— сообщал 20 ноября А. И. Тургенев П. А. Вяземскому.— Отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились. Готовы были плакать и опять пили... В девять часов вечера усадили нашего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились». Вместе с А. И. Тургеневым проводить поэта собрались Е. Ф. Муравьева с сыном Никитой, М. С. Лунин со своей сестрой, В. А. Жуковский, Пушкин.

Италия не помогла Батюшкову. Душевная болезнь прогрессирует. Пророчески звучат его слова: «Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было». И скажет с глубокой скорбью: «Меня уже нет».

Печальное известие о болезни Батюшкова достигло и Михайловское. Глубокая тревога звучит в письме Пушкина брату 21 июля 1822 года: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть не лъзя: уничтожь это вранье». Обращаясь к К. Ф. Рылееву 25 января 1825 года, поэт опять с грустью вспоминает о трагической судьбе Батюшкова: «Уважим в нем несчастья и не созревшие надежды».

В наброске статьи 1824 года «Причинами, замедлившими ход нашей словесности...» Пушкин писал: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для италианского».

Некоторые пушкинские стихотворения, пишет П. В. Анненков, имеют сходство с «манерой Батюшкова». Рассказывают, что в 1828 году Пушкин сказал о

своем стихотворении «Муза»: «Я люблю его — оно отзывается стихами Батюшкова».

К сборнику Батюшкова Пушкин обратился в 1830 году. На полях второй части «Опытов» он сделал множество замечаний, пометок, зачеркиваний. Он изучал и как бы редактировал этот сборник.

Сам автор ранее в письмах к Н. И. Гнедичу, В. А. Жуковскому и П. А. Вяземскому просил при чтении «выкидывать лишнее». Надо полагать, что Пушкин знал об этом и сделал то, чего не выполнили друзья Батюшкова. В своих замечаниях он выступает как собрат по перу, судит строго и профессионально. Эти замечания — бесценный материал для понимания зрелой поэтики Пушкина. Они делятся почти поровну на положительные и отрицательные. Поэт писал их для себя, не стесняясь в выражениях. «Дрянь, вяло, плохо, черт знает что», — замечает он о некоторых стихотворениях. Но многие стихи получают восторженные оценки: «Что за чудотворец этот Батюшков», «По чувству, гармонии, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова» и т. п.

Не случайно Белинский настойчиво напоминал об особой заслуге Батюшкова, который «много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно».

В сборнике Батюшкова был напечатан и очерк «Прогоулка в Академию художеств», который увидел свет еще в журнале «Сын отечества» в 1814 году. Пушкин использовал материал очерка во вступлении к поэме «Медный всадник», в особенности описывая преобразование «топи блат» в «великолепный Петербург».

...Батюшкова привезли в Москву в 1828 году и поселили в небольшом домике в Грузинах под наблюдением доктора и под надзором старой любящей его покровительницы — тетки Е. Ф. Муравьевой.

Последний раз Пушкин видел его в 1830 году в Грузинах, но Батюшков уже никого не узнавал. «И был он мертв для внешних впечатлений...» — с грустью скажет П. А. Вяземский.

### „Наш Аристип и Асмодей...“



VII главе «Евгения Онегина» Пушкин упомянул о встрече своей героини Татьяны у скучной тетки в Москве с поэтом и критиком Петром Андреевичем Вяземским:

К ней как-то Вяземский подсел  
И душу ей занять успел.

«Эта шутка Пушкина очень меня порадовала. Помню, что я очень гордился этими двумя стихами», — писал впоследствии Вяземский, один из ближайших друзей поэта.

Пушкин ценил в своем друге пронизательность и глубину ума, умение блестящим, глубоко содержательным разговором «занять душу» своего собеседника.

В их переписке отразились бурные литературные споры, все, что «к размышлению вело». Сохранилось семьдесят четыре письма Пушкина к Вяземскому и сорок шесть писем Вяземского. Несомненно, что какая-то часть переписки друзей была уничтожена ими в тревожные дни после декабрьского восстания.

Любивший острую шутку, Вяземский так описывает собственную внешность:

«У меня маленькие и серые глаза, вздернутый нос... Как бы в вознаграждение за маленький размер этих двух частей моего лица, мой рот, щеки и уши очень велики. Что касается до остального тела, то я ни Эзоп, ни Аполлон Бельведерский!.. У меня чувствительное

сердце... У меня воображение горячее, быстро воспламеняющееся, восторженное, никогда не остающееся спокойным...

Я очень люблю изучение некоторых предметов, в особенности поэзии. Я не стараюсь отгадать, подлинное ли я дитя муз или только выкидыш,— как бы то ни было, я сочиняю стихи. Я не глуп,— но мой ум часто очень забавен».

Детство Вяземского прошло в подмосковном имении Остафьево. Большое влияние оказал на него отец — человек большого ума и благородного сердца. Остроумный спорщик, любитель самых разнообразных отраслей знаний — гуманитарных и точных наук, Андрей Иванович Вяземский собрал обширную библиотеку. «Урывками и тайком обращали... на себя мое ребяческое внимание», вспоминал Петр Андреевич, любимые книги отца — исторические и философские. Ему обязан поэт образованием, многими чертами своего характера: мужеством, стойкостью, твердостью в защите своих убеждений. Методы воспитания ребенка носили спартанский характер. Так, например, впечатлительного и робкого, его оставляли одного ночью в парке, а чтобы научить плавать — бросали в пруд.

В 1804 году его сестра (внебрачная дочь А. И. Вяземского) Екатерина Андреевна Колыванова вышла замуж за Н. М. Карамзина, в их семье «русский литературный оттенок смешался с французским колоритом, который до него превенствовал».

Два года пребывания Петра Вяземского в Петербургском иезуитском пансионе, в который его отвезли в 1805 году, расширили круг его интересов, особенно литературных.

Возвратившись в Остафьево, в доме родителей он «нашел Дмитриева и В. Л. Пушкина, юношу Жуковского и других писателей». «Отец хотел видеть во мне математика, Карамзин боялся видеть во мне плохого сти-

хотворца», — шутливо вспоминал Вяземский. Оба они ошиблись. Он стал выдающимся интересным литературным критиком и журналистом, значительным поэтом.

После смерти отца в 1807 году наставником и опекуном осиротевшего юноши стал Карамзин, влияние которого не смогло оградить молодого Вяземского от увлечения светской жизнью, ее излишествами. «Я прокипятил на картах около полумиллиона», — признавался он впоследствии.

В 1811 году хлопотами Н. М. Карамзина Вяземский был определен на службу, получил звание камер-юнкера, и в том же году женился на Вере Федоровне Гагариной. Вера Федоровна была впоследствии большим другом Пушкина.

В годы нашествия Наполеона на Россию Вяземский вступил в ополчение и участвовал в Бородинском сражении. Слабое здоровье помешало его дальнейшей военной службе. Он отдался серьезной литературной и критической деятельности и принимал самое живое участие в общественно-литературной борьбе своего времени.

Пушкина Вяземский знал еще в Москве ребенком, будучи знаком с его родителями, и в особенности с дядей — Василием Львовичем Пушкиным. Познакомившись со стихами лицейского поэта, он писал К. Н. Батюшкову в феврале 1815 года: «Его „Воспоминания“ вскружили нам голову с Жуковским. Какая сила, точность в выражениях, какая твердая и мастеровская кисть в картинах. Дай бог ему здоровья и учения, и в нем будет прок и горе нам. Задавит каналья!»

Приехав в столицу в 1816 году, он, вместе с Карамзиным и Жуковским, поспешил навестить Пушкина в Царском Селе. С этого времени и началось их общение. Молодой Пушкин, несмотря на разницу в возрасте (Вяземский был старше его на семь лет), сумел завоевать

симпатию и дружеское расположение «взрослого» Вяземского. Дальнейшее сближение произошло на почве общих литературных симпатий, приведших их в «Арзамас».

Активный член «Арзамаса», Вяземский сатирическим пером разил «Беседу любителей русского слова», вполне оправдывая свое арзамасское прозвище «Асмодей» — демон чародейства. «Я разлился потоком эпиграмм», — вспоминал он с удовольствием. Эпиграммы Вяземского возбуждали полемический задор «Сверчка».

Пушкин высоко ценил этот дар своего старшего друга. Он писал в 1820 году:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,  
И блеском колких слов, и шутками богатый,  
Счастливый Вяземский, завидую тебе.  
Ты право получил, благодаря судьбе,  
Смеяться весело над злобою ревнивой,  
Невежество разить анафемой игривой.

Общаясь с вольнолюбивой молодежью, среди которой были Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев, М. Ф. Орлов и многие другие, Вяземский мечтал об изменении общественного строя России. Вместе с ними он понимал, как важно для этого иметь влияние на публику: «Как похитить это влияние? Изданием журнала... Журналов у нас большой недостаток». Но мечты о журнале не сбылись.

Для Вяземского жить в Петербурге — значило «идти на всех и всякого рода домовых деспотизма». Рабство на теле государства Российского нарост; ...начнешь толковать о средствах, как его срезать вернейшим образом и так, чтобы рана затянулась скорее», — писал он А. И. Тургеневу в феврале 1820 года. Сочиненное Вяземским письмо об уничтожении крепостничества послужило одним из толчков к составлению записки о создании общества для разработки проекта об освобождении



крестьян. Подписанная группой передовых дворян, записка была подана Александру I, но, естественно, не встретила одобрения. Начальство, которому известны были оппозиционные настроения Вяземского, приняло свои меры. Служивший в Варшаве, Вяземский в апреле 1821 года был выслан из польской столицы. Он уехал в Москву. На год раньше покинул Петербург и Пушкин, отправляясь в южную ссылку.

Вяземский с глубоким вниманием следил за творчеством Пушкина и в своих статьях выступал с тонкой и верной критикой его произведений. «Благодарю тебя, милый Вяземский! пусть утешит тебя бог за то, что ты меня утешил. Ты не можешь себе представить, как приятно читать о себе суждение умного человека», — писал Пушкин, познакомившись с его статьей «О Кавказском пленнике, повести соч. А. Пушкина», напечатанной в 1822 году в «Сыне отечества».

Литературно-критическую деятельность своего друга поэт ценил очень высоко: «Проза князя Вяземского чрезвычайно жива. Она обладает редкой способностью оригинально выражать мысли — к счастью, он мыслит, что довольно редко между нами». Высоко ценил он и поэзию Вяземского, хотя и не скупился на критические замечания, впрочем, неизменно доброжелательные. «...Присылай нам своих стихов, — писал Пушкин в апреле 1820 года, — они пленительны и оживительны — „Первый снег“ прелесть; „Уныние“ — прелестнее». Впоследствии он вспоминал: «„Первый снег“ я читал еще в 20 году и знаю наизусть».

Из стихотворения «Первый снег» Пушкин взял эпиграф к первой главе «Евгения Онегина»:

И жить торопится, и чувствовать спешит.

В письмах поэта разбросано множество отзывов о стихах Вяземского. «Мой милый, поэзия твой родной язык», — восклицает он в августе 1825 года.

Сатирик и поэт любовный,  
Наш Аристип<sup>1</sup> и Асмодей,  
Ты не племянник Анны Львовны,  
Покойной тетушки моей.  
Писатель нежный, тонкий, острый,  
Мой дядюшка — не дядя твой,  
Но, милый, — музы наши сестры,  
Итак, ты всё же братец мой.

Вяземский — поэт сложной и своеобразной литературной биографии. Остроумный памфлетист и сатирик, мастер излюбленного «арзамасцами» жанра дружеских посланий, он в 20-х годах печатался в «Полярной звезде» Рыльева и Бестужева. Вершиной этого жанра можно назвать стихотворение «Негодование», которое не увидело света и распространялось в списках. По резкой критике, гражданскому пафосу его можно поставить рядом с произведениями Рыльева:

Мой Аполлон — негодование!  
При пламени его с свободных уст моих  
Падет бесчестное молчанье,  
И загорится смелый стих.  
Негодование! огонь животворящий!

В стихотворениях «Давным-давно» и «Русский бог» дается смелая и злая сатирическая картина нравов крепостнической России. При жизни поэта стихи «Русский бог» распространялись в списках, и только в 1854 году были напечатаны в Вольной русской типографии в Лондоне.

События 14 декабря 1825 года потрясли Петра Андреевича. «Сей бедственный для России день и эпоха кровавая, за ним следующая, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали», —

---

<sup>1</sup> Аристип — древнегреческий философ, родившийся в 430 г. до н. э.,

писал он впоследствии в «Записке о кн. Вяземском, им самим составленной». Но современники называли его — «декабрист без декабря». Недостойная процедура «судилища» над декабристами и лицемерная роль верховного судьи — царя вызвали его глубокое негодование. С щемящей скорбью встретил он жесточайший приговор, приведенный в исполнение 13 июля 1826 года.

«Для меня этот день (13 июля) ужаснее 14-го, — читаем в «Записной книжке». — По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, в коих большая часть состояла в одном умысле. Вижу в некоторых из приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не нахожу ни в одном твердого убеждения в решимости на совершение оногo.

Как нелеп и жесток доклад суда! ...казней по-настоящему три: смертная, каторжная работа и ссылка на поселение».

«Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге», — писал он А. И. Тургеневу и Жуковскому 29 сентября 1826 года, повторяя слова Пушкина, сказанные в письме к нему в августе этого же года: «Но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна!»

Воспоминания о них нахлынули на Вяземского и Пушкина, когда они весной 1828 года отправились на прогулку по Петропавловской крепости в праздник преполовения. Этот праздник проходил в столице очень парадно, при большом стечении народа перед Петропавловской крепостью — на суше и на воде. Крестный ход шествовал по крепостным стенам.

В письме к жене Вяземский писал: «Мы сажались с Пушкиным в лодочку... пошли бродить по крепости и бродили часа два... много странного и мрачного и грознопоэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах». Здесь когда-то томились декабристы, на кронверке крепости были повешены пять руководителей восстания...

В память об этом дне друзья подняли здесь с земли и унесли с собой пять сосновых щепок. Бережно сохранил их Вяземский в ящичке под своей печатью, прикрепив к крышке записку: «Праздник Преполовления за Невою. Прогулка с Пушкиным. 1828 год».

До этого Вяземский встретился с Пушкиным после долгих лет разлуки в Москве в сентябре 1826 года. Постоянно общаться они стали уже в Петербурге, куда Вяземский переехал с семьей зимой 1832 года на постоянное жительство.

Поданная царю записка Вяземского под названием «Моя исповедь» — замечательный памятник русской общественной мысли. Она еще раз дает возможность судить о независимой позиции этого незаурядного человека, который открыто давал понять, что, по его мнению, правительство перед ним, гражданином, виновато. Разве он не имеет права выступать с критикой верховной власти? И Пушкин, и его друзья тогда еще надеялись, что правительство в своих действиях прислушается к мнению просвещенных передовых людей и будет им руководствоваться.

К этому времени Пушкин и Вяземский не имели своего журнала. Пушкин охладел к «Московскому вестнику», Петр Андреевич порвал с «Московским телеграфом». Поэтому для них было так важно полученное А. А. Дельвигом в 1830 году разрешение на издание «Литературной газеты». Наступило время тесного и плодотворного сотрудничества Вяземского с Пушкиным и Дельвигом. Писатели пушкинского круга выступали теперь как единая общественная сила, против засилья рептильной (продажной) журналистики. «Надобно же оживлять «Газету», чтобы морить Пчелу-пьявку, чтобы поддержать хотя бы один честный журнал в России», — писал Вяземский А. И. Тургеневу 25 апреля 1830 года. Общественное значение его журналистской деятельности подчеркивает Пушкин: «Ты много оживил ее («Ли-

тературную газету». — *Авт.*) Поддерживай ее, покамест у нас нет другой. Стыдно будет уступить поле Булгарину». Несмотря на трудности, «Литературная газета», по мнению современников, была газетой замечательной, а статьи в ней — оригинальными, которые можно «прочесть и перечесть».

С необыкновенной яростью набросился на «Литературную газету» издатель газеты «Северная пчела» Булгарин со своей братней. Они обращались к самым недостойным приемам, вплоть до личных выпадов в печати и доносов на своих противников.

В 1830 году Вяземский снова начал хлопоты о службе и по приезде в Петербург был назначен чиновником по особым поручениям при министре финансов Е. Ф. Канкрине. Но дело затягивалось. Наконец в 1831 году он получил звание камергера, а затем должность вице-директора Департамента внешней торговли. Пушкин, поздравляя его со званием камергера, писал шутиливо:

Любезный Вяземский, поэт и камергер..  
(Василья Львовича узнал ли ты манер?  
Так некогда письмо он начал к камергеру,  
Украшенну ключом за Верность и за Веру).  
Так солнце и на нас взглянуло из-за туч!  
На заднице твоей сияет тот же ключ.  
Ура! хвала и честь поэту-камергеру.  
Пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру.

Усиление цензурного гнета, вызванное июльской революцией 1830 года во Франции и событиями 1831 года в Польше, тяжело отозвалось на участи передовых писателей. «Литературная газета» была закрыта, а Пушкин и его друзья опять остались без печатного органа. Такая же участь постигла и московский журнал «Европеец», издававшийся И. В. Киреевским. По поводу запрещения «Европейца» Вяземский обратился с письмом к Бенкендорфу, смело защищая не только Киреевского, но и круг всех передовых писателей. Осуждая действия цен-

зуры, он обвинял и цензоров, которые «чрезвычайно трусливы и мелочны и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия». Тем самым Вяземский обвинял и действия власти. По мнению Пушкина, письмо это — «смелое, умное и убедительное». Но правительство не меняло своих решений.

Только в 1836 году Пушкин получил разрешение издавать журнал «Современник», вокруг которого сразу же сплотились его литературные друзья и единомышленники.

Смерть Пушкина была для Вяземского не только личной трагедией — он понимал, что гибель поэта — огромная потеря для всей России, для всего мира:

Вам затвердит одно рыдающий мой стих:  
Что яркая звезда с родного небосклона  
Внезапно сорвана средь бури роковой,  
Что песни лучшие поэзии родной  
Внезапно замерли на лире онемелой,  
Что пел во всей поры красы и славы зрелой  
Наш лавр, наш вещий лавр, услада наших дней,  
Который трепетом и сладкозвучным шумом  
От сна воспрянувших пророческих ветвей  
Вещал глагол богов на севере угрюмом,  
Что навсегда умолк любимый наш поэт,  
Что скорбь постигла нас, что Пушкина уж нет.

### „Ленивец милый на Нарьяссе...“



В годовщину гибели своего сына Сергей Львович Пушкин запишет: «Александр Иванович Тургенев был единственным орудием помещения его в Лицей, и через 25 лет он же проводил тело его к последнему жилищу. Да узнает Россия, что она Тургеневу обязана любимым его поэтом!» — слова многозначительные...

Пушкин знал Тургенева с детства еще по Москве, а затем, лицеистом, встречался с ним у Карамзиных в Царском Селе. Тургенев слышал звенящий от волнения отроческий голос будущего поэта, который читал на открытом экзамене в зале Лицея «Воспоминания в Царском Селе». Наконец, с 1817 года Пушкин постоянно посещал квартиру Тургеневых на Фонтанке, где часто собирался «Арзамас». Свое арзамасское прозвище «Эолова арфа» Тургенев получил за отзывчивость.

Он высоко ценил дарование Пушкина, любовно следил за развитием поэта. Досадуя подчас на его пресловутую «преступную праздность», он жаловался Жуковскому в ноябре 1817 года: «Посылаю послание ко мне Пушкина Сверчка, которого я ежедневно браню за его леность и нерадение о собственном образовании».

Юный поэт обратился к Тургеневу с стихотворением, в котором создал несколько иронический и вместе с тем проникнутый теплым чувством портрет своего друга:

Ленивец милый на Парнассе,  
Забыв любви своей печаль,  
С улыбкой дремлешь в Арзамасе  
И спишь у графа де Лаваль;  
Неся мучительное бремя  
Пустых иль тяжких должностей,  
Один лишь ты находишь время  
Смеяться лености моей,

Пушкин прощал другу, впрочем, как и многим, и неумение за внешней «леностью» увидеть глубокую работу его творческого сознания, стремящегося как бы вобрать в себя кипящую вокруг жизнь.

В письме из Кишинева Пушкин писал: «Верьте, что где бы я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам».

Общественный деятель, историк, литератор, Тургенев занимал в 1810—1820-х годах место директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий, был

членом Комиссии составления законов. Интересы его необычайно разнообразны и разносторонни. Благодаря необыкновенно общительному характеру его знал весь петербургский свет.

«Ездил я к этому рыскуну Тургеневу. Вообрази, что и в этакую бурю нет его... кое-где валяются письма, записочки, даже доклады, во всех углах разные газеты», — писал А. Я. Булгаков своему брату в 1818 году. И в другом письме: «Поутру был я у Тургенева, пил кофе с ним, потом началась у него *lanterne magique* (волшебный фонарь.— *Авт.*) или кукольная комедия: то один, то другой, то поп, то солдат, то нищий, то мамзель».

Александр Иванович принимал горячее участие в судьбе ссыльного Пушкина. Полагая, что поэту будет лучше в Одессе под началом графа М. С. Воронцова, нежели в Кишиневе, он хлопотал о его переводе. В письме к П. А. Вяземскому 15 июля 1823 года он сообщал: «Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть; за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся». Но его надежды не оправдались: Пушкин не смог ужиться с «полумилордом» Воронцовым.

В 1824 году служебное положение Тургенева сильно изменилось. Политика Александра I становилась откровенно реакционной. Происками архимандрита Фотия был уволен с поста министра народного просвещения А. Н. Голицын, начальник А. И. Тургенева. Немалую роль в этом сыграли А. А. Аракчеев и известный обскурант, «гаситель просвещения» М. Л. Магницкий. В мае 1824 года отрешили от всех должностей и Тургенева. «Мне очень жаль Тургенева. Нет сомнений, что он малый честный, благонамеренный и много делал добра, — писал А. Я. Булгаков. — Не разбирает, перед кем что



говорить надобно и можно, и все это передается дальше и с прибавлениями».

Летом 1824 года Александр Тургенев вместе с младшим братом Сергеем уехал во Францию, где уже лечился Николай Иванович. Судьба уберегла братьев Тургеневых от жестокой расправы, учиненной царским правительством: они находились за пределами России, когда было подавлено восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Александр Иванович превратился в добровольного эмигранта и почти постоянно жил с братом на чужбине, но связь с Родиной он не терял. Его эпистолярное наследие необыкновенно широко: свои увлекательные письма он писал по следам живых точных записей, которые вел неукоснительно изо дня в день. «...Не было никогда и нигде борзописца ему подобного, — рассказывал П. А. Вяземский. — Спрашиваешь: когда успевал он писать и расписывать свои всеобщие и всемирные грамоты? Он переписывался с просителями и с братьями, и с знакомыми и с незнакомыми, с учеными, с духовными лицами всех исповеданий, с дамами всех возрастов, был в переписке со всей Россией, с Францией, Германией, Англией и другими государствами».

В его письмах и дневниковых записях постоянно встречалось имя Пушкина. Он следил за судьбой поэта, его поэзия как бы сопутствовала ему в скитаниях по городам и весям Европы. Всюду и везде, при любом удобном случае Тургенев обращал внимание своих многочисленных чужестранных друзей и знакомых на творчество Пушкина, стремился знакомить их с этим «гением-писателем», как он его называл. Он живо интересовался литературной и общественной жизнью России, с увлечением читал «Литературную газету», издаваемую Дельвигом, и высоко оценивал ее.

Одиннадцать лет длилась разлука Тургенева с Россией. Только в начале 1831 года бездомным скитальцем

вернулся Александр Иванович на родину и встретился с Пушкиным в Москве. В его дневнике отмечено восемь встреч с поэтом. К этому времени прежняя дружеская приязнь перешла в близкие отношения людей, связанных общностью интересов к истории и литературе, общностью социальной позиции.

Долгие часы проводил Тургенев за чтением газет, журналов, книжных новинок. «Слышал из 9-й песни «Онегина»... прелестно», — восклицал он. Чтением «Онегина» закончились его московские встречи с Пушкиным. 24 декабря Тургенев проводил поэта в Петербург.

Весной 1832 года в Петербурге Пушкин получил посылку от Тургенева — альманах «Album litteraire» с дружески-шутливой надписью: «Журналисту Пушкину от Гремущки-Пилигрима, Любек, 6 июля 1832». Книга эта сохранилась в библиотеке поэта.

Проездом за границу Александр Иванович побывал в Петербурге и встречался с Пушкиным. В 1834 году Тургенев опять вернулся в столицу. С огромным интересом прочел он поэму Пушкина о «Петербургском потопе» и нашел ее превосходной. С пристальным вниманием изучил только что вышедшую «Историю Пугачева» и ждал от поэта в подарок книжку «с своим автографом — на память старины священной».

«С Пушкиным осмотрел его библиотеку», — запись 21 ноября. Среди книг Пушкина сохранилось несколько томов, полученных от Тургенева. На томике латинских поэтов Катулла, Тибулла, Проперция надпись: «Поэту Пушкину. А. Тургенев».

При всякой возможности из года в год Тургенев работал в архивах Ватикана, Парижа, Лондона, собирал в свой «отеческий карман» драгоценные материалы из русской истории, составившие затем его личный обширный архив. Щедро делился своими находками с друзьями, и прежде всего с Пушкиным, который также увлеченно работал в архивах.

Особенно тесными становятся отношения двух друзей в последний год жизни поэта. Приехав в Петербург 20 ноября 1836 года, Тургенев снял номер в гостинице Демута, недалеко от дома на Мойке, где жил тогда поэт. «Пушкин мой сосед. Он полон идей», — делился своими впечатлениями Александр Иванович со своей московской знакомой Е. А. Свербеевой. Они виделись иногда по нескольку раз в день. Поэт поместил в своем журнале «Современник» письма Тургенева из-за границы под заголовком «Хроника русского» и готовил к печати его «Отрывок из записной книжки», который увидел свет в пятом томе «Современника» уже после смерти Пушкина.

«Вечер у Пушкиных до полуночи», — записал 15 декабря Александр Иванович. Из коротких, почти телеграфных записей узнаем, что из уст поэта он услышал стихотворение: «Портрет его в подражание Державину: „весь я не умру”». Речь идет о «Памятнике». А далее еще одна знаменательная фраза: «Читал письмо к Чаадаеву, не посланное». Поэт, считая Тургенева своим близким единомышленником, делился с ним самыми жгучими, самыми волнующими мыслями, возникшими у него после чтения «Философического письма» Чаадаева, имевшего столь огромный и разноречивый резонанс.

26 января 1837 года Тургенев получил записку от Пушкина, на которой сделал помету: «Последняя записка ко мне Пушкина накануне Дуэля». Она очень короткая: «Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов». По-видимому, Александр Иванович пригласил поэта, желая познакомиться с новыми выписками из парижских архивов. Но Пушкин по каким-то обстоятельствам не мог уйти из дома и звал к себе. Они провели «часть утра» за чтением бумаг.

В дневнике Александра Ивановича встречаются записи о нескончаемых беседах с Пушкиным, которые ни-

когда не заканчивались, потому что собеседники никогда не могли исчерпать начатой темы. «Я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине... Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Великая потеря», — восклицал он.

Среди богатейшего эпистолярного наследия Александра Ивановича заслуживают особенного и благодарного внимания три его письма, написанные 29 января, в день кончины Пушкина. Тургенев был у ложа умирающего поэта, стоял в изголовье, чутко ловя каждое слово, каждый звук. Все, что он видел, слышал и пережил в эти скорбные часы, легло на бумагу. Эти драгоценные письма, скорее настоящие дневники, он адресовал своей сестре А. И. Нефедьевой, московскому почтдиректору А. Я. Булгакову и неизвестному нам лицу.

«Жуковский приехал... с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его», — записал в дневнике 2 февраля А. И. Тургенев. Он единственный из друзей, которому предстояло сопровождать тело поэта до Святогорского монастыря. Тургенев заявил, что поедет «за свой счет и с особой подорожной».

При нем рыли могилу у стен монастыря, при нем отслужили панихиду и вынесли из церкви гроб. «Бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез», — записал в дневнике Тургенев.

Неизгладимое впечатление произвели на него места, где все дышало поэзией Пушкина. Вернувшись в Петербург, он с друзьями просил в письме П. А. Осипову «...сохранить для России воспоминание об образе жизни поэта в деревне, о его прогулках в Тригорское, о его любимых двух соснах, о местоположении...».

## „Страж верный прошлых лет...“



иколай Михайлович Карамзин бывал в доме родителей Пушкина в Москве. И уже тогда, по словам Сергея Львовича, ребенок, оставя игрушки, слушал Карамзина, не спуская с него глаз.

С именем Н. М. Карамзина связан новый период русской литературы первого десятилетия XIX века. С ним родилась, по словам П. А. Вяземского, «поэзия чувства, любви к природе, нежных отливов мысли и впечатлений, словом сказать, поэзия внутренняя, задушевная».

В. А. Жуковский в полушутливых стихах запечатлел тогда облик своего старшего друга, к которому относился с огромным уважением и любовью:

С подъятыми перстами,  
Со пламенем в очах  
. . . . .  
Казаясь он пророком,  
Открывшим в небесах  
Все тайны их священны.

Карамзин начал освобождать русский литературный язык «от чужого ига», как говорил Пушкин, и создавать некий единый язык, язык дворянского культурного общества. В исторических условиях русской жизни начала XIX века его деятельность оказала серьезное влияние на дальнейшее развитие русской литературы, русского языка.

Он был издателем «Московского журнала» и «Вестника Европы» — журналов, имевших невиданное по тем временам количество подписчиков, автором прославленных «Писем русского путешественника», повестей «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь» и многих других, вызывавших восторг и слезы читателей.

Творчество Карамзина породило многочисленных подражателей и последователей, но оно же и вызвало ожесточенную критику со стороны реакционных литераторов.

Имя Карамзина стало знаменем молодых передовых писателей, объединившихся в литературное общество «Арзамас». Но уже в начале 1800-х годов он отошел от литературной деятельности. Несколько лет, скрывшись в «тиши своего уединенного кабинета», он отдался работе, которая стала делом всей его жизни, — созданию «Истории государства Российского». «Карамзин избрал себе одно занятие, одно поприще, куда уходит от страстей и огорчений», — писал поэт К. Н. Батюшков.

В 1803 году Карамзин обратился с письмом к министру народного просвещения с просьбой назначить его «историографом». Он хотел «сочинять Русскую историю, которая с некоторого времени занимает всю душу» его. Благодаря хлопотам его близкого друга попечителя Московского университета Михаила Никитича Муравьева, занимавшего тогда должность товарища министра просвещения, ему присвоили звание придворного историографа. Но менее всего он бывал при дворе, проводя время в архивах, библиотеках, в сводчатых тесных комнатах монастырских книгохранилищ. Карамзин, как писал Вяземский, «был воплощенный труд, воплощенное терпение».

В 1816 году Карамзин закончил восемь томов «Истории». Свой труд он должен был представить Александру I и в связи с этим 2 февраля прибыл в Петербург, «вооружась запасом терпения, уничижения и нищеты духа». Полтора месяца ему пришлось ждать приема у царя. «Я дрожал от негодования при мысли, что меня держат здесь бесполезно и почти оскорбительным образом. Меня душат здесь — под розами, но душат», — писал он своему другу писателю И. И. Дмитриеву.

В марте в сопровождении П. А. Вяземского, А. И. Тургенева он посетил Царскосельский лицей. Ему

уже были знакомы стихи племянника арзамасского старосты В. Л. Пушкина. Вызвав к себе юношу, Карамзин обратился к нему со словами: «Пари, как орел, но не останавливайся в полете».

Может, именно об этом случае вспоминал Пушкин:

Страж верный прошлых лет, наперсник Муз любимый  
И бледной зависти предмет неколебимый  
Приветливым меня вниманьем ободрил.

Наконец получив указание от царя — печатать «Историю» в столичной Военной типографии, Карамзин вместе с семьей переехал в Петербург. Летние месяцы этого и последующих годов он жил в Царском Селе.

Ему отвели один из кавалерских домиков на Садовой улице, вблизи Екатерининского дворца (ныне Комсомольская ул., 12).

Постоянным гостем в этом домике был лицеист Пушкин, который проводил здесь все свое свободное время. Его влекла сюда и юношеская влюбленность в жену Карамзина — Екатерину Андреевну, сводную сестру П. А. Вяземского. Через всю жизнь пронес Пушкин чувство благоговейной любви и преклонения перед Е. А. Карамзиной.

Занимаясь с утра в своем кабинете, Николай Михайлович любил по вечерам рассказывать о своих занятиях и читать друзьям отрывки из написанного. Одним из самых внимательных его слушателей был Пушкин. Он жадно слушал чтение предисловия к «Истории государства Российского», запомнил его и, придя домой, записал все «от слова до слова».

«Сам незабвенный Н. М. Карамзин, — писал П. В. Анненков, — прочитывал ему страницы своего труда, беседовал с ним об отечественной истории и выслушивал мнение юноши с снисхождением и свойственным ему добродушием».

В стихотворении «Жуковскому», написанном в 1818 году, в строках, не вошедших в окончательный

текст, Пушкин описал «создателя повести древних лет». На ее страницах, овеянных «дымом столетий»:

...волнуются толпой  
Злодейства, мрачной славы дети,  
С сынами доблести прямой!

Карамзина постоянно навещали «арзамасцы» — В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, А. И. Тургенев. Здесь Пушкин познакомился с П. Я. Чаадаевым. В июне 1816 года в домике историографа побывал и престарелый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, которому Карамзин посоветовал заказать лицейскому поэту стих в честь праздника в Павловске по случаю отъезда принца В. Оранского.

Дружеское общение Пушкина с семьей Карамзиных продолжалось и в Петербурге. Он часто заходил в тихую квартиру историографа, который поселился на Фонтанке, в верхнем этаже дома своей старинной приятельницы Екатерины Федоровны — вдовы Михаила Никитича Муравьева.

Старинный московский житель, Карамзин сначала тяготился столичной жизнью, но постепенно привык к Петербургу. «Этот город, — скажет он, — сделался для меня историческим: Нева, крепость, дворец напоминают мне столько людей и случаев».

Здесь он много работал — заканчивал девятый том «Истории», читал корректуры уже готовящихся к печати томов.

И только вечером Николай Михайлович разрешал себе отдохнуть. Вокруг чайного стола собирались друзья и знакомые. Украшением общества была Екатерина Андреевна. «Если бы только в голове язычника Фидиаса, — писал Ф. Ф. Вигель, — могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, он дал бы ей черты Карамзиной в молодости».

Хозяин оставался с гостями до одиннадцати часов, а затем снова уходил к себе.



В 1818 году на полках книжных лавок Петербурга появились все восемь томов «Истории государства Российского». Их распродали в один месяц — небывалое для того времени явление! «Наша публика почтила меня выше моего достоинства, — писал Николай Михайлович И. И. Дмитриеву в Москву 11 марта 1818 года. — Моя история в 25 дней скончалась: не осталось у меня ни одного экземпляра».

«Все, даже светские женщины бросились читать историю своего Отечества, дотоле им неизвестную, — писал впоследствии Пушкин. — Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили». Сам поэт, оправляясь от тяжелой болезни, «..в постеле, с жадностью и со вниманием» читает «Историю» — книгу за книгой.

«История государства Российского» вышла в свет на заре русского революционного движения — во время самых оживленных, бурных политических споров, когда возникали тайные общества, когда Н. Муравьев создавал первую русскую конституцию, а П. Пестель писал свою «Русскую правду».

Для декабристов начало русской истории отчислялось со времен народного правления, которое древнее единовластного правления Рюрика и Рюриковичей. Их волновало великое прошлое русского народа — «древнее величие» России, которое обосновало и подготовило последующую ее славу.

Будущие декабристы стремились к тому, чтобы историческая наука создала подлинную историю русского народа, творцом которой был народ. Поэтому они протестовали против исторической концепции Карамзина, который считал, что истинное государственное существование России началось с самодержавия, когда славяне, отказавшись от древнего «народного правления», призвали на царство Рюрика.

О критике «молодых якобинцев» Карамзин знал. Екатерина Андреевна в письме П. А. Вяземскому 23 марта 1820 года сообщала о наступившем между ними и историком охлаждении:

«Кто знает, может быть, в один прекрасный день, когда мы соединимся в одном городе, вы не захотите более нас видеть, — ведь что до вашего брата либерала, вы не более терпимы к таким вещам, нужно думать одинаково с вами, без этого не только вы не можете любить человека, но даже его видеть.

Жуковский заходит к нам раз в месяц, у г-на Пушкина что ни день, то дуэль... Г-н Муравьев печатает критику на Историю мужа... нам не слишком хорошо в обществе, которое посещало нас весьма усердно».

Последние слова отражают обостренные отношения, которые сложились в эти годы, в результате споров, вызванных принципиальным различием политических концепций Карамзина и его критиков.

Но Карамзин продолжал работать над девятым томом, посвященным эпохе Ивана Грозного. Здесь, как нигде, сказались глубокая принципиальность и добросовестность исследователя, перо которого смело воскрешало образ тирана и деспота. Беспристрастно проверяя документы и архивные материалы, историк составил примечания, занимающие триста страниц, подтверждающие истину его заключений. «Жизнь тирана есть бедствие для человечества», — восклицает Карамзин.

Отрывки из этой еще не изданной работы он прочел в январе 1820 года в заседании Российской Академии. О том впечатлении, которое произвело чтение, вспоминал много лет спустя присутствовавший на заседании митрополит Филарет: «Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое было страшно».

«Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита!» — таков отзыв К. Ф. Рылеева.

Но в задачу Карамзина входило не только намерение показать царя-деспота. Рядом с Иоанном предстают мужи праведные — Адашев, Сильвестр, советники царя, бесстрашно возвышавшие голос осуждения против тирании и жертвовавшие своей жизнью за праведное дело. Их устами историк произносил приговор, безжалостный и беспощадный, тирану и показывал, каким должен быть самодержец просвещенный.

Работу над следующими, десятым и одиннадцатым, томами Карамзин закончил в 1823 году. А с марта 1824 года началась рассылка книг подписчикам.

«Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! *C'est palpitant, comme la gazette d'hier!* (Это злободневно, как свежая газета! — *Авт.*)», — восклицает Пушкин в письме В. А. Жуковскому 17 августа 1825 года.

Принимая живое участие в судьбе Пушкина, когда в 1820 году над поэтом нависла угроза ссылки, Карамзин не скрывал своего недовольства его поведением. «Талант действительно прекрасный, — писал он позднее И. И. Дмитриеву, — жаль, что нет устройства мира в душе, а в голове ни малейшего благоразумия».

Неизбежным отчуждением окончились близкие душевные отношения Пушкина и Карамзина. Творчество Пушкина, его вольнолюбие отталкивали умеренно настроенного Карамзина, вызывали сдержанные, а порой и отрицательные отзывы о стихах молодого поэта. Стихотворение «Узник» он называл «плохим сочинением», хотя и признавал, что «слог жив, черты резкие». «Как в его душе, так и в стихотворении нет порядка», — заканчивал Карамзин свой отзыв в письме к П. А. Вяземскому в июне 1822 года. «Полюбился ли тебе Фонтан Пушкина? — спрашивал он И. И. Дмитриева 25 сентября того же года. — Слог жив, черты прекрасные, но в целом не довольно силы и связи». «Цыганская поэмка»

(«Цыганы»), по его выражению, «написана живо и остроумно, но не во всем зрелое».

Не мог понять Карамзин и возмущения, которое вызывало у Пушкина высокомерное отношение к нему М. С. Воронцова. Узнав о высылке поэта из Одессы, он с неудовольствием писал П. А. Вяземскому 17 августа 1824 года: «Он не сдержал слова, им мне данного в тот час, когда мысль о крепости ужасала его воображение: не переставал врать словесно и на бумаге, не мог ужиться даже с графом Воронцовым, который совсем не деспот!»

Когда Пушкин через П. А. Плетнева послал Карамзину свой первый поэтический сборник 1826 года, историк был напуган латинским эпиграфом: «*Aetas prima sanat veneres, extrema tumultus*», который в резко изменившейся общественной ситуации (книжка вышла в разгар следствия по делу 14 декабря 1825 г.) мог быть воспринят правительством как призыв к «смятению» и неповиновению властям. Успокаивая Карамзина, Плетнев объяснил, что автор разумел под словом *tumultus* — смятения душевные, а не общественные.

Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин углубленно изучал «Историю» Карамзина. Через Вяземского и Жуковского из Михайловского он сообщал историку о своем замысле и из писем друзей узнал о его советах. Благодарил Вяземского за присланное замечание Карамзина о характере Бориса: «Оно мне очень пригодилось». Восхищаясь тем, как историк «столь живо постигнул трогательное простодушие древних летописей», поэт признается, что оно украсило «простоту его стиха». В предисловии к «Борису Годунову» в 1830 году он подчеркнул, что «Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий».

Время шло... Карамзин делил свое время между семьей, друзьями и любимым трудом. Но здоровье его слабело. Он тяжело пережил смерть детей, был уже не-

молод, изнурен подчас непосильным трудом. Работу над последним, двенадцатым томом ему не удалось завершить, он остановился на 1611 году — Смутном времени.

В начале 1826 года у Карамзина открылась чахотка. Его перевезли в Таврический дворец; здесь в дворцовом обширном саду он, сидя в кресле, кутаясь в теплый шлафрок, мечтал об Италии, но на поездку не было денег. 6 апреля Карамзин получил ответ на письмо, посланное им царю. Николай I обещал фрегат для путешествия и деньги на лечение. Наконец, 13 мая был издан указ о назначении статскому советнику Карамзину, отъезжающему для лечения за границу, пенсии в пятьдесят тысяч рублей в год, сохраняемой за женой и детьми.

Но через неделю после получения этого рескрипта, 22 мая 1826 года, Николай Михайлович Карамзин скончался.

Смерть Карамзина поразила Пушкина. Однако в письме к Вяземскому поэт с горечью вспоминал: «Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить». Упоминал он здесь и о своей эпиграмме на Карамзина, которая, по его мнению, «остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены». Пушкинская эпиграмма была направлена против глубинной концепции историка, неприемлемой для декабристских кругов, к которым принадлежал и Пушкин:

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывает нам без всякого пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Другая эпиграмма, очевидно, была написана, когда появились первые известия о предстоящем выходе в свет «Истории государства Российского»:

«Послушайте: я сказку вам начну  
Про Игоря и про его жену,  
Про Новгород и Царство Золотое,  
А может быть, про Грозного царя...»  
— И, бабушка, затеяла пустое!  
Докончи нам «Илью-богатыря».

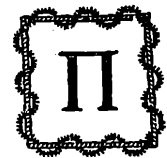
Обращаясь впоследствии к историческим трудам Карамзина, Пушкин высоко оценил непреходящее значение «Истории государства Российского», созданной «великим писателем». Поэт понимал, что отрицание передовой Россией политической концепции Карамзина привело к недооценке великого подвига, им совершенного, — создания многотомного труда, в котором собраны тысячи фактов, введены многие им обнаруженные источники. Весь этот огромный материал не подтверждал основного тезиса автора — идею благодетельности самодержавия для России, для народа. Но, несмотря на это, Карамзин оставался верен исторической истине, хотя она и противоречила его политическому идеалу. Именно эта позиция Карамзина дала Пушкину право называть его труд «подвигом честного человека».

Поэт писал об историке: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам».

«Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина» посвятил Пушкин трагедию «Борис Годунов»: «Сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию...»

---

## „Волшебный край...“



ритягательную силу театра — околотеатральных споров, зрительских пристрастий и даже авторского желания славы — юный Пушкин ощутил задолго до первого посещения им петербургских театров. Известно, что отец поэта Сергей Львович не только писал стихи, но и играл в любительских спектаклях. «В одну из моих с ним встреч, — вспоминает о Сергее Львовиче актриса Александра Михайловна Колосова, — он рассказывал мне о своем участии в любительских спектаклях в Москве. Он отличался во французских пьесах, а Федор Федорович Кокошкин (по его словам) был его несчастным соперником в русских. Он играл в «Дмитрии Донском» и в «Мизантропе» своего перевода». Именно в это время Сергей Львович читал вслух своим детям комедии Мольера, а девятилетний Александр Пушкин начинал сочинять комедии на французском языке в подражание Мольеру. Одну из них он разыграл перед сестрой Ольгой.

Стремление не только сочинить, но и разыграть комедию, скорее всего, отражают живые впечатления юного автора от посещения московского театра — от актерской игры. Впрочем, документальных подтверждений раннего знакомства Пушкина с театральной жизнью не имеется.

Среди посетителей московских гостиных Сергея и Василия Львовичей Пушкиных были И. И. Дмитриев,

Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, который в 1809 году напечатал в журнале «Вестник Европы» блистательный цикл статей о французской актрисе Жорж, приехавшей в Петербург. О театре писал и еще один друг Пушкиных — К. Н. Батюшков. О театре и для театра писали Дмитриев и Карамзин. На сцене шли драма В. М. Федорова на сюжет «Бедной Лизы» и героическая драма С. Н. Глинки «Наталья, боярская дочь» на сюжет повести Карамзина, комедия Коцебу «Ложный стыд» в переводе Жуковского. Зная все это, трудно представить себе, чтобы в гостиных Сергея Львовича и Василия Львовича не шла речь о театре, о нашумевших спектаклях, об актерах. Образованное русское дворянство 1800-х годов живо интересовалось театром. Не составляла в этом плане исключения и семья Пушкиных.

Поездка в Петербург для поступления в Царскосельский лицей позволяет предположить, что именно в середине 1811 года (июль — октябрь) состоялось первое знакомство Пушкина с петербургским театром. И возобновилось оно лишь в конце 1816 года, когда впервые лицеисты получили разрешение покинуть Царское Село и провести рождество с родными. Страстная любовь Пушкина к театру вспыхнула с 1817 года, после выпуска из Лицея.

О том, что еще до Лицея юный Пушкин уже бывал в театрах, свидетельствуют его лицейские стихи, начиная с самого первого известного нам — «К Наталье». Влюбленный в «миловидную жрицу Тальи» — актрису, поэт признается в этом стихотворении, что пролетело для него время счастья, когда он «в театре и на балах, на гуляньях и в воксалах легким зефиром летал». На детские балы Сергей Львович вывозил детей еще в Москве, с 1808 года. Упоминаемые в стихотворении Филимон, Анята, Назора, «седой Опекун» и «легкая миленькая Розина» — театральные персонажи. Комическую оперу



А. О. Аблесимова на музыку М. М. Соколовского «Мельник-колдун, обманщик и сват» Пушкин мог видеть в Москве и в 1808, и в 1809, и в 1810, и в 1811 годах, «Севильского цирюльника» Бомарше — и в драматической форме, и в виде комической оперы Дж. Паизиелло — на профессиональной и любительской сцене.

В первом номере журнала «Российский музей» за 1815 год Пушкин напечатал «Арист нам обещал трагедию такую...» — эпиграмму, явно связанную с театральными впечатлениями. Но ведь, будучи в Лицее, Пушкин не мог видеть ни одной трагедии, если не считать поставленной лицеистами 30 августа 1812 года пьесы их гувернера А. Н. Иконникова «Роза без шипов». Остается предположить, что и эта ранняя эпиграмма отражает долицейские впечатления. Даже «домашнее» знакомство юного Пушкина с трагедиями Озерова, которые заставляли зрителей проливать слезы, делает понятными слова эпиграммы: «все от жалости в театре заревут» и «слезы зрителей рекою потекут». Эти ожидания слез публики, скорее всего, могли быть вызваны воспоминанием о широко известной озеровской трагедии «Эдип в Афинах», на которой с 1804 года в Петербурге и с 1805 года в Москве регулярно проливал слезы сочувствия зрительный зал.

«Несчастный Озеров», страдающий, гонимый, сведенный в могилу «угрюмыми супостатами», и в противоположность ему — злой гонитель талантов Шаховской, — все это театральные легенды долицейской поры, подкрепленные в лицейские годы чтением журнальных полемик, пьес, эпиграмм и пародий, а также беседами с посещающими Пушкина в Лицее его старшими друзьями, будущими «арзамасцами».

Однако во всех ранних рассуждениях Пушкина о театре (с 1817 года вплоть до его ссылки) сквозь принятые мнения друзей-театралов проглядывают собственные наблюдения, сделанные в зрительном зале. В

это время Пушкин посещал театр каждый вечер, писал о театре и актерам, спорил о театре в «побочной управе» «Союза благоденствия» — «Зеленой лампе», посвящал актерам и драматургам стихотворения, а в недалеком будущем посвятит театру замечательные по художественной красоте и точности суждений строфы в «Евгении Онегине».

Круг «театральных откликов» в художественных произведениях Пушкина чрезвычайно обширен. Из пьес он берет эпиграфы, имена героев, отдельные сюжетные ходы и аксессуары места действия. Его герои цитируют пьесы, напевают куплеты из пьес. Именами петербургских актеров называет Пушкин своих героев в черновых набросках, чтобы легче представить себе «типаж» и характер задуманных персонажей.

Существовало мнение, что в поздние годы жизни Пушкин охладил к театру. Это, разумеется, не так. В последние годы жизни поэта они с Натальей Николаевной абонировали ложу во французском Михайловском театре — это было принято в свете. Однако Пушкин бывал на всех замечательных представлениях Александринского театра и на премьерах в Петербургском Большом театре. Он дружил с И. И. Сосницким и М. С. Щепкиным, М. И. Глинкой и семьей Каратыгиных. Причем если в начале 1830-х годов театральные знакомства были в основном продолжением дружеских отношений юности (с Александрой Михайловной Колосовой), то в последние годы жизни внимание поэта привлекали Каратыгин, Сосницкий, Мочалов и другие прежде всего как лучшие актеры Петербургского театра. Пушкин пеняет Наталье Николаевне в письме от 3 августа 1834 года, что она из Полотняного завода поехала в Калугу смотреть спектакль, «когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных...». Он мечтал увидеть на сцене постановку отрывка из «Бориса Годунова» в исполнении Василия Андреевича и Александры

Михайловны Каратыгиных. Наконец, незадолго до смерти поэт подарил Василию Каратыгину рукопись «Скупого рыцаря» для бенефиса 1 февраля 1837 года. Подготовленный спектакль не состоялся из-за трагической кончины Пушкина. Правительство запретило играть пушкинскую пьесу, заменив ее водевилем. «Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма», — писал по этому поводу А. И. Тургенев. Только через пятнадцать лет после смерти поэта Василий Каратыгин все-таки сыграл 23 сентября 1852 года роль Барона в «Скупом рыцаре» Пушкина (в бенефис на александринской сцене московского гастролера М. С. Щепкина), а через три месяца, 9 января 1853 года, уже в Москве эту роль в свой бенефис сыграл сам Щепкин. Так русский театр отметил пятнадцатую годовщину со дня смерти поэта.

В. А. Каратыгин вместе с М. Ю. Виельгорским и П. А. Вяземским находились в квартире Пушкина на Мойке в день его смерти; по личному приглашению Н. Н. Пушкиной В. А. и А. М. Каратыгины присутствовали на отпевании великого поэта. «Мы оплакивали его как родного... Да и могло ли быть иначе!» — вспоминала Александра Михайловна.

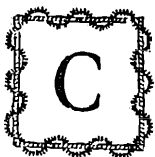
Пушкин знал первые постановки «Горя от ума» и внимательно следил за подготовкой спектакля «Ревизор». Знакомство с постановкой «Горя от ума» в Москве и в Александринском театре ощущается в произведении Пушкина 1834—1835 годов «Путешествие из Москвы в Петербург». В пушкинском описании прежней барской Москвы и той, которую он видел, — промышленной, купеческой, в которой дух предприимчивости вытесняет былой аристократизм, — как бы отражались раздумья о грибоедовских героях, воссозданных на сцене в начале 1830-х годов Щепкиным, Мочаловым — в Москве, Брянским, Василием и Петром Каратыгиными, Сосницким — в Петербурге.

Пушкин знал русский театр, который, в свою очередь, не был безразличен и к его творчеству. С 1825 года на петербургской сцене шла романтическая трилогия А. А. Шаховского на пушкинский сюжет «Керим-Гирей, крымский хан...». Современники вспоминают о том, что Пушкин видел в Москве в этом спектакле Мочалова, с энтузиазмом приветствовал его и благодарил, придя к нему за кулисы.

С 1832 года в Петербурге ставили «Цыган» — драматическое представление Василия Каратыгина, «взятое» из поэмы Пушкина. Каратыгин же неоднократно выступал с чтением пушкинских поэм «Братья разбойники», «Медный всадник». При жизни поэта на александринской сцене, в сентябре 1836 года, шла «Пиковая дама», переложенная А. А. Шаховским, — «драматическое зрелище в 3 сутках с прологом и эпилогом». Там исполнялись в виде песен стихи Пушкина, а главная часть сюжета — «Пиковая дама, или Тайна Сен-Жермена» — превратилась в романтическую комедию, эпилог — «Крестница, или Полюбовная сделка» — в водевиль...

Все остальные произведения Пушкина — и собственно драматические, и многочисленные переложения его произведений («Барышня-крестьянка», «Граф Нулин», «Домик в Коломне», «Евгений Онегин», «Станционный смотритель») — были поставлены на сценах Александринского и Московского Малого театров уже после смерти поэта. В 1838 году в Петербурге была впервые поставлена «Русалка», в 1847-м — «Каменный гость», в 1852 году — «Скупой рыцарь», в 1854-м — «Моцарт и Сальери» и только в 1870-м — «Борис Годунов».

## „Там наш Катенин воскресл...“



реди близких знакомых Пушкина по театру заметное место принадлежит Павлу Александровичу Катенину. Он начал путь портупей-прапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка в 1810 году, участвовал в Отечественной войне 1812 года, сражался при Бородине, затем во время заграничного похода русской армии участвовал в битвах при Люцене, Кульме, Лейпциге, вступал в Париж. В 1820 году его, полковника лейб-гвардии Преображенского полка, за «дерзость», якобы сказанную на смотре великому князю Михаилу Павловичу, уволили в отставку. Истинной же причиной отставки был независимый нрав Катенина, создавший ему непререкаемый авторитет во вверенном ему полку. Один из доносчиков писал о Катенине, что тот был «оракулом Преображенского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров». С первых лет существования тайных обществ в России он стал членом «Союза спасения» и Военного общества, сторонником радикальных мер преобразования России.

Страстный театрал, переводчик и поэт, Катенин был автором русского текста знаменитого гражданского гимна времен Великой французской революции:

Отечество наше страдает  
Под игом твоим, о злодей!  
Коль нас деспотизм угнетает,  
То свергнем мы трон и царей.  
Свобода! Свобода!  
Ты царствуй над нами!  
Ах! лучше смерть, чем жить рабами, —  
Вот клятва каждого из нас...

С 1811 года, когда на сцене петербургского Большого театра была поставлена первая переведенная (точнее, переделанная) Катениным трагедия Тома Корнеля

«Ариана» (или «Ариадна»), он стал постоянным театральным автором и строгим ценителем игры актеров. Авторитет его в театральной среде был чрезвычайно велик. Находясь вместе с гвардией в Париже, Катенин видел там всех знаменитых актеров — Тальма, Дюшенуа, Марс. Уникальная память Катенина хранила много сведений из области литературы и драматургии на шести языках кроме русского. У него сложились четкие литературно-эстетические взгляды убежденного сторонника народности, историзма, естественности передачи сильных чувств героев на сцене и в литературе. Вместе со своими друзьями А. С. Грибоедовым и А. А. Жандром Катенин постоянно консультировал всесильного драматурга А. А. Шаховского при обучении им актеров и постановке спектаклей, спорил с ним и вскоре «увел» от Шаховского двух его лучших учеников — Василия Каратыгина и Александру Колосову. С ними Катенин начал заниматься по своему методу, не только развивая их драматический талант, но и прививая им передовые гражданские чувства и независимый образ мыслей.

Таким был Павел Александрович Катенин, когда произошло его знакомство с Пушкиным. С рассказа об этом Катенин начинает свои «Воспоминания о Пушкине»: «Знакомство мое с А. С. Пушкиным началось летом в 1817 году. Был я в театре, Семенова играла какую-то трагедию...»

В летние месяцы этого года Екатерина Семенова играла в трагедиях «Фингал» Озерова — 24 июля (роль Мойны), «Ифигения в Авлиде» Расина в переводе М. Е. Лобанова — 30 июля (роль Клитемнестры), «Димитрий Донской» Озерова — 21 августа (роль Ксении). Однако Пушкин с 9 июля по 22 августа уезжал с родителями в Михайловское и видеть этих трагедий не мог. Играла Семенова и в драмах: 1 июля — «Карл XII при Бендерах» А. Ф. Коцебу (роль Ситти) и 27 августа — «Сила клятвы», немецкая драма неустановленного ав-

тора в переводе Н. С. Краснопольского (роль Графини). Последняя давалась в первый раз; успеха не имела и больше не повторялась. Знакомство Пушкина и Катенина могло произойти на одном из этих двух спектаклей. Первый по своему историческому содержанию больше подходит под определение «трагедия». О втором совершенно точно известно, что в нем играла Семенова и что Пушкин был на этом спектакле...

Катенина и Пушкина познакомил Н. И. Гнедич. Продолжением их знакомства стал визит Пушкина в казармы Преображенского полка на углу Большой Миллионной и Зимней канавки (ныне ул. Халтурина, 33) в июле — августе 1818 года. По воспоминаниям Катенина, это был своеобразный спектакль-диалог, состоящий из кратких, но отточенных и многозначительных реплик знаменитостей, знающих меру таланта друг друга: «Гость встретил меня в дверях, подавая в руки толстым концом свою палку и говоря: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». — «Ученого учить — портить», — отвечал я, взял его за руку и повел в комнаты; через четверть часа все церемонии кончились, разговор оживился, время неприметно прошло, я пригласил остаться пообедать, пришли еще кой-кто, так что новый знакомец ушел уже поздним вечером».

С лета 1818 года и вплоть до высылки поэта из Петербурга встречи Катенина и Пушкина проходили довольно оживленно. Они читали друг другу свои сочинения, Катенин ввел Пушкина в общество посещавших литературно-театральный салон А. А. Шаховского. Драматург принял молодого поэта чрезвычайно радушно и восхищался только что написанной Пушкиным поэмой «Руслан и Людмила». Постепенно выяснилось, что Пушкин и Катенин по многим принципиальным литературным вопросам расходятся во взглядах и оценках. Но споры только укрепляли взаимное уважение, которое сохранилось у обоих до конца жизни. Пушкин был «уче-

ником» Жуковского, убежденным «арзамасцем», романтиком, отыскивающим дорогу к реалистической правде. Катенин был «неоклассиком» и «славянином», стремился возродить в театре выразительную силу древнерусского языка, воссоздать исторически правдиво героические характеры прошлого различных народов, добиться естественности и простоты сценического звучания трагедий великого Расина. Идеалом актрисы для Пушкина была Екатерина Семенова. Катенин же, несмотря на то, что именно Семенова играла главные роли в его трагедиях, считал ее дарование односторонним и мечтал вырастить более гибкие и приближенные к естественности актерские индивидуальности, занимаясь с В. Каратыгиным и А. Колосовой. («Шиканье» на театральном представлении с Семеновой послужило поводом высылки Катенина из столицы в 1822 году).

Между поэтами случались резкие споры — в стихах, в письмах, по поводу «Бориса Годунова», по поводу выбора жизненной позиции и необходимости участия в политической борьбе («Старая быль» Катенина и пушкинский «Ответ Катенину» 1828 года). В порыве раздражения Пушкин мог сказать о Катенине беспощадно: «Он опоздал родиться — и своим характером, и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии».

И тем не менее лишь от Катенина ждал Пушкин развернутых суждений о «Борисе Годунове», его мнение считал «голосом истинной критики». «Кому же, как не тебе забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление, — писал Пушкин Катенину в 1826 году. — Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли».

Пушкин написал о Катенине развернутую благоже-



лательную статью по поводу выхода собрания его сочинений. В предисловии к последней главе «Евгения Онегина» Пушкин соглашался с замечаниями Катенина о композиции своего романа в стихах и называл его писателем, «коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком». В 1830 году Пушкин предоставил многие страницы «Литературной газеты» для публикации литературно-эстетического трактата Катенина «Размышления и разборы».

Катенин был для Пушкина высоко авторитетным знатоком театра. Когда Семенова временно покинула сцену, Пушкин выражает в стихах надежду, что она вернется и сыграет в специально для нее созданной Катениным трагедии, воскрешающей «Софокла гений величайый». А самого Катенина назвал «любовником славы, наперсником важных аонид». Пушкин видел все трагедии Катенина на сцене и его переложения трагедий Корнеля, Расина, Лонжпьерра («Ариадна», «Эсфирь», «Медея»). О последней Пушкин написал в статье «О народной драме и драме „Марфа Посадница“», что это, «может быть, лучшее произведение нашей Мельпомены по силе истинных чувств, по духу истинно трагическому». В 1830-е годы Катенин послал Пушкину через В. Каратыгина с Кавказа «толстые пакеты разных стихов и прозы» с дружеской просьбой о помощи: «Ты всегда хвалил меня как критика, и мне хочется знать, по мысли ли придется тебе, что там есть и чему продолжение (о комедии в прозе) также готово и при первом удобном случае также пошлется». Катенин жил в это время в Ставрополе, вел бесконечно длинный судебный процесс, бедствовал и только от Пушкина ждал помощи, прежде всего в проведении через цензуру своих стихотворений.

Последняя встреча Катенина и Пушкина произошла в Петербурге в 1834 году. 7 января 1833 года оба они были избраны в члены Российской Академии, регулярно посещали заседания по субботам. Катенин активно и с

горячим интересом принимал участие в обсуждении статей для словаря русского языка, над которым работали академики.

В сентябре Катенин, вынужденный материальными затруднениями, вновь поступил на военную службу и на полгода переселился в Царское Село, прикомандированный к учебному образцовому полку. Через полгода он отправился к месту своего назначения в Тифлис, задержавшись в Петербурге на три дня. Позднее он вспоминал: «...в гостинице, где я покуда жил, навестил меня Пушкин в последний раз; жена его была больна, и он казался грустен, однако, зная, что нам расстаться надолго (увы! навсегда), с лишком три часа побеседовал, обещаясь еще зайти на другой день, но не бывал».

### „Колкий Шаховской“



ичному знакомству с Александром Александровичем Шаховским предшествовало участие юного Пушкина в острых литературных спорах 1810-х годов. Поэт написал против него эпиграммы, пародийные куплеты и еще какое-то неизвестное нам произведение, в котором обвинял Шаховского в травле Озерова.

В первых числах декабря 1818 года по просьбе Пушкина Катенин привез его к Шаховскому, где поэта радушно приняли, восторженно хвалили его произведения, и Пушкин провел у Шаховского, по словам поэта, один из лучших вечеров в жизни. По возвращении из гостей в санях у Пушкина с Катениным произошел любопытный разговор о Шаховском: «П<ушкин> — Знаете ли, что он, в сущности, очень хороший человек? Никогда я не поверю, что он серьезно желал повредить Озерову или кому бы то ни было.— К<атенин>.— Вы это ду-

мали, однако это писали и распространяли — вот что плохо. — П<ушкин>. К счастью, никто не прочел этого школьного бумагомарания...» Живая жизнь и личное обаяние жизнерадостного, общительного толстяка Шаховского, беззаветно влюбленного в театр и полвека жизни отдавшего бескорыстному служению русской сцене, победили вымышленный образ коварного злодея, с которым боролось литературное общество «Арзамас».

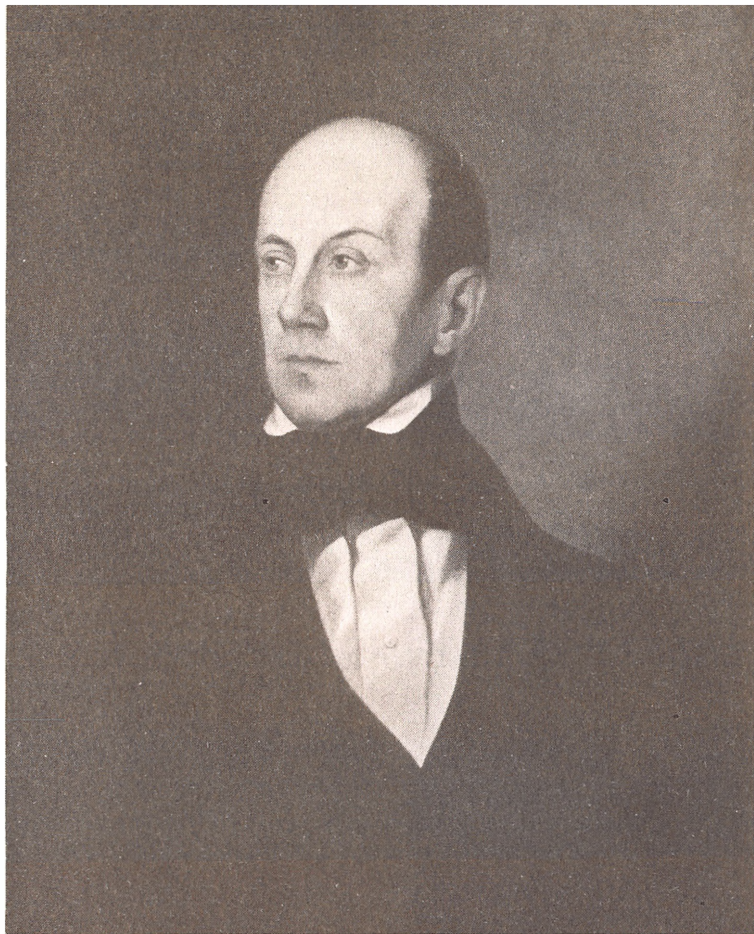
Первая комедия Шаховского «Женская шутка» была поставлена в Петербурге еще в 1795 году. Она прошла незамеченной, не была напечатана, текст ее затерялся. Зато постановка в 1805 году комедии «Новый Стерн», высмеивающей Карамзина и русских сентименталистов как слепых подражателей Стерна, чуждых русской жизни с ее острыми проблемами, принесла автору почти скандальную известность.

Война в литературном мире против Шаховского началась после постановки 23 сентября 1815 года в Петербургском Малом театре его комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды». К этому времени Шаховской был уже влиятельным руководителем петербургской драматической труппы, которую составляли его ученики.

Лучшие из них приняли участие в постановке: Алексей Яковлев, Брянский, Сосницкий, Величин, Рамазанов, Вальберхова, Асенкова-большая, Ежова.

Зрители узнали в одном из комических персонажей пьесы — Фиалкине известнейшего из русских поэтов Жуковского. Фиалкин не только читал баллады, в которых содержались цитаты из произведений Жуковского, но и предстал перед зрителем трусом, антипатриотом, ничтожным и глупым «воздыхателем». Жуковский присутствовал на этом спектакле, и, по словам мемуариста-очевидца Вигеля, на него тут же обратились «несколько нескромных взоров». Пьеса вызвала целый поток эпиграмм и пародий, в которых ее автор именовался Шутовским.

Лицейст Пушкин восхищался сатирой Д. В. Дашкова



**П. Я. Чаадаев.**

Раков. 1864 г. с оригинала Козима 1842—1845 гг.



**Н. И. Кривцов.**

Акварель неизвестного художника.  
1810-е гг.



**Н. М. Муравьев.**

Рисунок О. А. Кипренского. 1813 г.





**Е. И. Голицына.**

Д. Грасси. Первая четверть XIX в.



**Н. И. Тургенев.**

Литография Зенефельдера по оригиналу Антопена. 1827 г.

**М. С. Лунин.**

Рисунок П. Ф. Соколова. 1822 г.

**И. Д. Якушкин.**

Рисунок П. Ф. Соколова (1818 г.) с оригинала Н. И. Уткина (1816 г.).



**М. Ф. Орлов.**

А. Ризер. 1814 г.



**И. А. Катенин.**

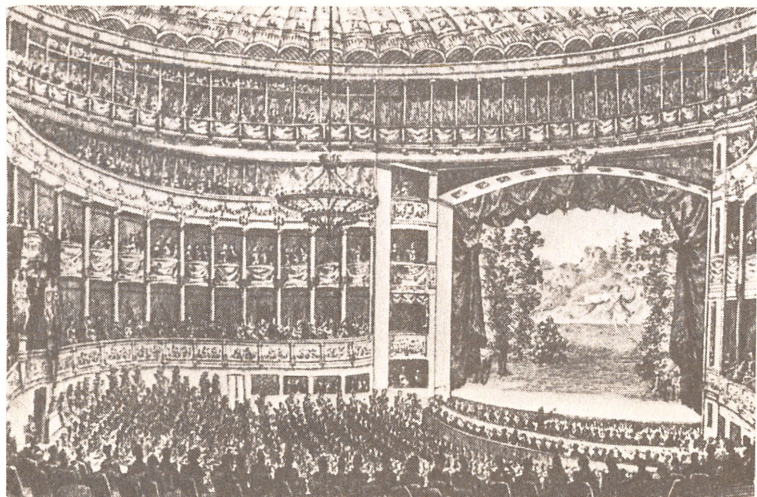
Рисунок А. С. Пушкина. 1819 г.



**А. А. Шаховской.**

Рисунок А. С. Пушкина. 1821 г.





**Е. С. Семенова.**

Рисунок В. А. Тропинина по гравюре Н. И. Уткина с оригинала О. А. Кипренского.

**А. М. Колосова.**

Рисунок А. С. Пушкина. 1818—1820 гг.

**Петербург. Зрительный зал  
Большого каменного театра.**

Гравюра С. Ф. Галактионова по рисунку П. П. Свинына. Вторая половина 1810-х гг.



**Ш. Л. Дидло.**

Рисунок А. О. Орловского.  
1810-е гг.



**Е. И. Истомина.**

Миниатюра А. Виитергальдера.  
1816—1820 гг.



**Я. Н. Толстой.**  
Акварель И. Хайгеля. 1833 г.



**Н. В. Всеволожский.**  
А. О. Дезарно. 1817 г.



**А. Д. Улыбышев.**  
Рисунок с литографии. 1847 г.



**А. Г. Родзянко.**  
Рисунок неизвестного художника.  
1821 г.



**П. А. Вяземский.**  
Рисунок И. Зонга. 1821 г.



**К. Н. Батюшков.**

Рисунок О. А. Кипренского. 1815 г.





**Н. М. Карамзин.**  
А. Г. Венецианов. 1828 г.



**А. И. Тургенев.**

Акварель П. Ф. Соколова. 1816 г.

**Ф. Н. Глинка.**

Литография К. П. Бегрова. 1821 г.

**И. А. Каподистрия.**

Литография А. П. Брюллова.  
1820-е гг.

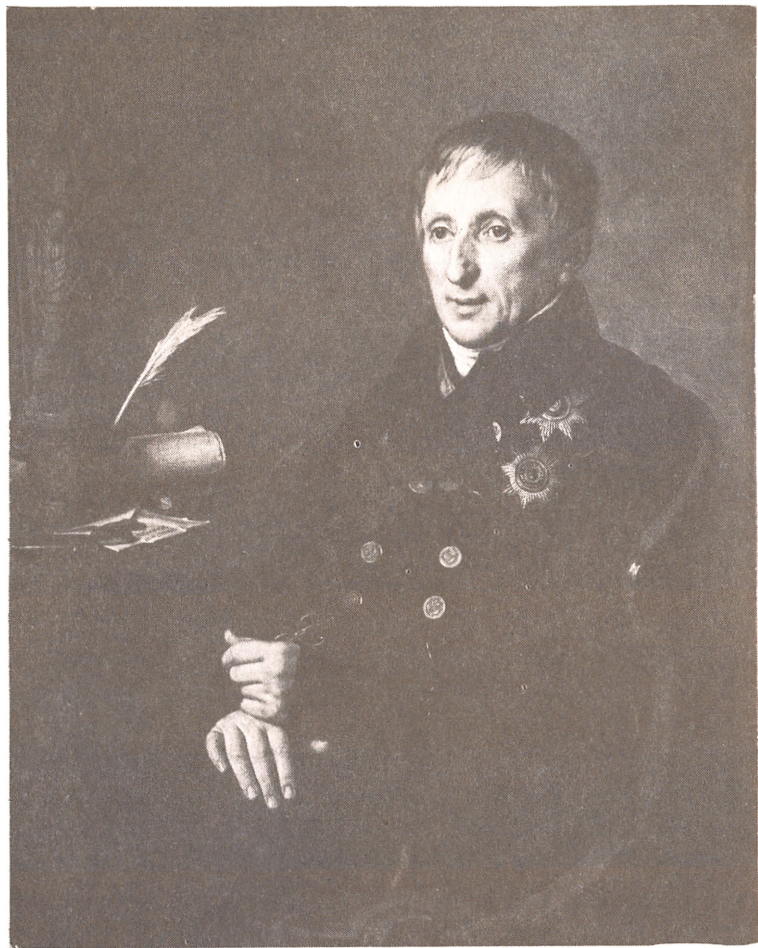






**В. А. Жуковский.**

Акварель К. П. Брюллова. 1835 г. Рим.



**А. Н. Оленин.**

Копия А. К. Лашина с оригинала А. Г. Варнека. 1820-е гг.



**А. А. Оленина.**  
Рисунок О. А. Кипренского. 1828 г.



**О. А. Кипренский.**  
Автопортрет. Рисунок. 1828 г.

«Венчание Шутовского», но, видимо, для того, чтобы определить собственную позицию, записал в дневник: «Мои мысли о Шаховском». Это обзор творчества драматурга, в котором за пристрастием отрицательной оценки проглядывает желание разобраться в причинах популярности его слабых пьес. По мнению Пушкина, причина эта — в наблюдательности неглупого человека, вставляющего в пьесы живые зарисовки и «цитаты» из светских разговоров. А относительно комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» суждение Пушкина и вовсе любопытно: он видит в ней массу ошибок, но тем не менее признает истинной комедией. С этого момента возник интерес Пушкина к сценическим созданиям Шаховского. Пушкин, находясь в Петербурге, постоянно присутствовал на представлениях комедий, романтических драм и трагедий Шаховского, тем более что многие из них будут написаны на пушкинские сюжеты и с использованием его стихов.

После личного знакомства поэт посещал Шаховского почти ежедневно. «Чердак» Шаховского (квартира в верхнем этаже дома на Малой Подьяческой, на месте нынешнего дома 12) привлекал Пушкина веселой непринужденностью общения литераторов, офицеров, светских друзей Пушкина с актерами и молоденькими воспитанницами театральной школы — ученицами драматурга. Здесь завязывались романы, кипели театральные споры. Иногда между делом листали журналы Государственного совета, которые неосторожно привозил с собой генерал Милорадович.

Пушкин вступал с Шаховским в споры. В 1819—1820 годах поэт был страстным поклонником Екатерины Семеновы, Шаховской же, раздраженный переходом актрисы под руководство Гнедича, выдвинул на первый план ее соперниц — М. И. Вальберхову и вскоре А. М. Колосову. В статье «Мои замечания об русском театре» Пушкин весьма строго отозвался об этих актри-

сах, противопоставив им Семенову как лучшую русскую актрису. Вместе с тем Пушкин оставался неизменно благожелателен к Шаховскому, интересовался его делами в письмах из ссылки, возобновил с ним дружеские отношения по возвращении в Петербург.

В 1830-е годы Шаховской стал союзником поэта в борьбе против реакционного лагеря литераторов (Н. И. Греч, Ф. В. Булгарин и Н. А. Полевой). В 1830 году в «Литературной газете» Пушкин поместил отрывок из пьесы Шаховского «Смольяне в 1611 году».

Театральные интересы завсегдатаев «чердака» Шаховского нашли отражение в описании светской жизни молодого петербургского повесы Евгения Онегина. Не исключено, что имя Онегин восходит к имени одного из персонажей комедии Шаховского 1818 года «Не любо не слушай, а лгать не мешай»: «Ба, это кажется Онегина рука...», «Онегин, друг ее и родственник по мужу...» и т. д.

Всего Шаховской написал для русского театра более ста пьес, в которых играли Сосницкий и Шепкин, Колосова-Каратыгина и Вальберхова, Л. О. Дюрова и А. Е. Асенкова. Долгие годы не сходили с репертуара и пьесы Шаховского на пушкинские сюжеты: волшебная комедия в стихах «Финн» в трех частях: «Пастух», «Герой» и «Колдун» (впервые поставлена в 1824 году в Петербурге и в 1825 году в Москве), «Керим-Гирей, крымский хан...» (впервые поставлена в Петербурге 28 сентября 1825 года), «Хризомания», драматическое зрелище «в трех сутках» (впервые поставлена в сентябре 1836 года).

1 февраля 1837 года по специальному приглашению вдовы поэта Шаховской присутствовал на отпевании Пушкина в Конюшенной церкви.

## „Семенова — Трагедия“



Известно, кто именно из современников Пушкина назвал Семенову Трагедией, выразив тем самым восторг любителей театра перед гением актрисы.

В статье «Мои замечания об русском театре» Пушкин лаконично и точно сформулировал всеобщее мнение о замечательной артистке: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, м.<ожет> б.<ыть>, только об ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная фр.<анцузская> актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души».

Екатерина Семеновна Семенова родилась в 1786 году. До нас не дошли точные сведения о ее происхождении. Известно лишь, что она была дочерью крепостной крестьянки Дарьи. По одной из версий, мать актрисы, согласно воле своего господина, смоленского помещика Путяты, отправилась в Петербург, где ее хозяином стал учитель кадетского корпуса П. И. Жданов. Дальнейшую судьбу Дарьи также определили господа: ее выдали замуж за дворового человека Семена.

В 1796 году, когда девочке исполнилось десять лет, ее отдали в театральную школу. А через семь лет юная актриса дебютировала на сцене в комедии Вольтера «Нанина, или Побезжденный предрассудок». Возможно, что учитель Семеновой И. А. Дмитревский намеренно выбрал пьесу, героиня которой, подобно самой дебютантке, была низкого и неизвестного происхождения: лишь в 1805 году она получила вольную.

В 1817 году Семенова была уже в зените славы. Будучи завсегдаем театра, поэт, вероятно, видел актри-



су во всех ее главных ролях: античных героинь Ариадны, Клитемнестры, Медеи и др., а также русских — Ксении и Ольги в пьесах В. А. Озерова и М. В. Крюковского, в комедиях и водевилях И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, А. А. Шаховского.

Известный театрал С. П. Жихарев высказывал свое особое восхищение тем, как играла Семенова в русских пьесах: «В роли Ксении («Димитрий Донской» Озерова) ее голос, осанка, поступь... боярское одеяние... все было истинно русское».

Подобно многим поклонникам Семеновой, Пушкин, несомненно, бывал за кулисами театра. Они могли встречаться в салоне Олениных, у Шаховского и Гнедича — учителей Екатерины Семеновны, в гостиной ее младшей сестры — певицы Нимфодоры Семеновой, в квартире самой Екатерины Семеновны, в доме князя И. А. Гагарина на Большой Миллионной (ныне ул. Халтурина, 32).

В воспоминаниях современников запечатлен портрет актрисы. «...Природа наделила ее редкими сценическими средствами: строгий, благородный профиль ее красивого лица напоминал древние камен; прямой пропорциональный нос с небольшим горбом, каштановые волосы, темно-голубые, даже синеватые, глаза, окаймленные длинными ресницами... все это вместе обаятельно действовало на каждого при первом взгляде на нее. Контральтовый, гармоничный тембр ее голоса был необыкновенно симпатичен и в сильных патетических сценах глубоко проникал в душу зрителя», — писал о Семеновой актер П. А. Каратыгин.

Секрет необыкновенного воздействия Семеновой на публику заключался в ее замечательном даре передавать чувства своих героинь с неподражаемой искренностью и силой чувства, которая вызывала потрясение всего зрительного зала. Подобного накала трагических чувств порой и не было в пьесах, которые она играла. Эту особенность таланта Семеновой отметил Пушкин: «Она

украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины...» Позднее, в «Евгении Онегине», описывая Петербургский театр, поэт повторит эту мысль:

Там Озеров невольны дани  
Народных слез, рукоплесканий  
С молодой Семеновой делил...

Пушкин назвал Семенову «единодержавною царицею траг.<ической> сцены» и в той же статье «Мои замечания об русском театре» противопоставил Семенову Александре Колосовой — начинающей артистке, претендовавшей на роли своей знаменитой предшественницы. Эти претензии вынудили Семенову уйти из театра. В январе 1820 года театральная дирекция удовлетворила просьбу Семеновой об отставке.

Поэт не раз вспоминал Семенову в годы ссылки. Его волновал уход замечательной актрисы со сцены. Обращаясь к друзьям по «Зеленой лампе», он писал:

Ужель умолк волшебный глас  
Семеновой, сей чудной Музы?  
Ужель, навек оставя нас,  
Она расторгла с Фебом узы,  
И славы русской луч угас!  
Не верю! вновь она восстанет,  
Ей вновь готова дань сердец,  
Пред нами долго не <увянет>  
Ее торжественный венец.

Сохранились черновые варианты этого стихотворения. В одном из них читаем:

Нет, нет, трагедия восстанет  
Воспламеняя жар сердец.

Примечательно, что здесь фамилия актрисы заменена словом «трагедия».

Предвидение Пушкина оказалось верным: в 1822 году Семенова вернулась на сцену.



После разгрома восстания 1825 года творчество Екатерины Семеновой, во многом созвучное свободолобивым и героическим настроениям декабристов, не встречало поддержки нового театрального начальства.

В начале 1826 года Екатерина Семеновна с помощью Н. И. Гнедича написала большое письмо в управление театров, в котором высказала свое беспокойство о судьбе классической трагедии на русской сцене: «Мнение актрисы Катерины Семеновой об улучшении драматических представлений». Подобно пушкинской записке «О народном воспитании», это письмо не нашло понимания и одобрения. Оно не способствовало упрочению положения актрисы в театре. Напротив, театральная дирекция по-прежнему отдавала предпочтение Колосовой.

Гордая и самолюбивая, Екатерина Семенова решила окончательно уйти из театра. Среди последних спектаклей, сыгранных ею на петербургской сцене, был «Керим-Гирей, крымский хан... Сюжет, заимствованный из поэмы А. С. Пушкина с сохранением его стихов...», поставленный А. А. Шаховским по «Бахчисарайскому фонтану». В этой чрезвычайно слабой пьесе Семенова сумела создать яркий образ пушкинской Заремы. Исповедь ее героини звучала с такой драматической силой, что это привело в восторг весь театр.

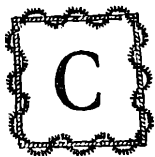
29 ноября 1826 года Семенова сыграла в Большом Каменном театре свою последнюю роль — Федру в трагедии Расина. Затем она покинула Петербург и уехала в Москву. Там она обвенчалась с князем И. А. Гагариным, с которым ее связывали долгая совместная жизнь и трое дочерей.

Своего рода заключительным аккордом в отношениях Пушкина и Семеновой была его надпись на обертке книги «Борис Годунов», изданной в 1831 году: «Княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина. Семеновой — от сочинителя».

Семенова пережила Пушкина на двенадцать лет. Не-

задолго до смерти она несколько раз приезжала в Петербург, где ее уже почти не помнили. Семенова — Трагедия пережила свою славу. В Петербурге прошли последние месяцы ее жизни, отмеченные бедностью и неизвестностью. Однако ее не забыли старые актеры. Особое участие к ней проявляла А. М. Колосова, бывшая ее соперница. Екатерина Семеновна умерла 1 марта 1849 года. За гробом «великой Семеновой» шли несколько человек, среди которых была и Александра Колосова.

### „Кто мне пришлет со портрет...“



сохранилось немало сведений о знакомстве Пушкина с петербургской актрисой Александрой Михайловной Колосовой, в замужестве Каратыгиной. Она происходила из артистической семьи. Ее мать Евгения Ивановна (Колосова-старшая) была известной балериной.

Колосовы жили в доме Голидея на Екатерининском канале, где находились квартиры артистов (ныне канал Грибоедова, 97). В воспоминаниях А. М. Колосовой запечатлен живой образ молодого поэта:

«Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, «Саша Пушкин», бывая у нас, смешил своею резвостью и ребяческою шаловливостью. Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте; вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матушки, спутает глубки гаруса в моем вышиванье, разбрасает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкою...»

— Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна, — перестань, наконец!

Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозилась наказать неугомонного Сашу: «остричь ему когти», — так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти.

— Держи его за руку, — сказала она мне, взяв ножницы, — а я остригу!

Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас...»

Короткие дружеские отношения между «Сашей Пушкиным» и молоденькой актрисой не помешали поэту отозваться в статье «Мои замечания об русском театре» резко критически и беспощадно иронически об игре Колосовой. Восхищаясь глубоким искусством Екатерины Семеновой, Пушкин осуждает несамостоятельность ее молодой соперницы, описывая первые триумфы Колосовой, сменившиеся вскоре разочарованием публики: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. 17 лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно частая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей траг.<ических> талантов... По окончании трагедии она была вызвана криками иступления, и когда г-жа Колосова большая... в русской одежде, блистая материнскою гордостью, вышла в последующем балете, всё загремело, всё закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу. Пример единственный в истории нашего театра... Чем же всё кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел... рукоплескания утихли, перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться пред опустелым театром».

И далее Пушкин в своей статье дает советы молодой актрисе «... подражать не только одному выражению лица Семеновой», но постараться «присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях». Тогда, «мы можем надеяться, — заключает Пушкин, — иметь со временем истинно хорошую актрису — не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием».

Протестом против претензий Колосовой на роли Семеновой была пронизана и эпиграмма Пушкина на Колосову, сыгравшую Эсфирь (в трагедии Расина):

Всё пленяет нас в Эсфири:  
Упоительная речь,  
Поступь важная в порфире,  
Кудри черные до плеч,  
Голос нежный, взор любви,  
Набеленная рука,  
Размалеванные брови  
И огромная нога!

Испытавшая неуспех в трагических ролях, Колосова впоследствии нашла себя в высокой комедии, хотя и не отказывалась полностью от трагических ролей.

Эпиграмма Пушкина, написанная в 1820 году, стала причиной его размолвки с актрисой. Но вскоре они помирились. В 1821 году, находясь вдали от Петербурга, в Кишиневе, Пушкин напишет в послании, обращенном к П. А. Катенину:

Кто мне пришлет ее портрет,  
Черты волшебницы прекрасной?  
Талантов обожатель страстный,  
Я прежде был ее поэт.  
С досады, может быть, неправой,  
Когда одна в дыму кадил  
Красавица блистала славой,  
Я свистом гимны заглушил.  
Погибни злобы миг единый,  
Погибни лиры ложный звук:  
Она виновна, милый друг,  
Пред Селименой и Моиной.

Строки о портрете актрисы не только поэтический прием-зачин мадригала. По всей вероятности, здесь говорит Пушкин о реально существовавшем гравированном портрете Колосовой — Гермियोны (в трагедии Расина «Андромаха», поставленной на русской сцене в переводе Д. И. Хвостова).

Встречи артистки с поэтом возобновились в начале 1830-х годов. В доме Каратыгиных Пушкин читал «Бориса Годунова». Александре Михайловне и ее мужу, трагикому Василию Андреевичу Каратыгину, предназначал Пушкин роли Марины и Самозванца. Неоднократно обращались супруги Каратыгины к А. Х. Бенкендорфу за разрешением поставить сцену у фонтана из трагедии Пушкина. На их просьбы следовал любезный, но отрицательный ответ.

Колосова не осталась безучастной к гибели Пушкина. Она была среди тех петербуржцев, которые с тревогой ожидали исхода его ранения. «...Я дожидалась в саях у подъезда квартиры Александра Сергеевича... муж мой... сообщил мне тогда роковую весть, что Пушкина не стало!» — писала Александра Михайловна в своих воспоминаниях.

### „Дидло венчался славой...“



алеты, поставленные балетмейстером Шарлем Луи Дидло, с восторгом смотрел весь Петербург начиная с 1802 года. Пушкин стал постоянным посетителем его балетов с 1817 года.

Составитель «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловский указывает: «Пушкин очень часто посещает театр. Вероятно, он присутствует на всех первых представлениях более или менее интересных пьес, ...знакомится со многими актерами и актрисами». Специально выделена в «Летописи» лишь одна дата — 1 июня 1817 года, когда на сцене Петербургского театра шел балет «Молодая молочница, или Нисета и Лука». Возможно, именно этот балет видел А. С. Пушкин впервые после выпуска из Лицея.

Балеты Шарля Дидло в этот период — безусловно,

одно из самых интересных для Пушкина театральных зрелищ. Поэт писал о них: «Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более поэзии, нежели во всей французской литературе». Под «одним из романтических писателей» Пушкин подразумевает себя.

Поэт видел на сцене балеты Дидло «Ацис и Галатя», «Тезей и Арианна, или Поражение Минотавра», балетные сцены в операх в постановке Дидло (например, 20 августа 1819 года — в опере «Красная шапочка» Буальдьё, перевод с французского Р. М. Зотова), балет «Хензи и Тао» («Красавица и чудовище») и, очевидно, многие другие, поставленные знаменитым хореографом. Всего за период работы в России Дидло поставил свыше шестидесяти балетов. Мемуарист П. А. Каратыгин говорит о Дидло как об эпохе в жизни русского театра конца 1810-х годов: «Знаменитый балетмейстер Дидло был тогда в полном развитии своего гениального таланта, и монополия его деспотически распоряжалась».

Именно таким — гениальным балетмейстером и не терпящим возражений деспотом, который получил в театре неограниченную власть — запомнили Шарля Дидло актеры и посетители кулис конца 1810-х — начала 1820-х годов. Прохожий, увидевший Дидло на улице, не мог не заметить его, — столь характерной была его внешность. «Я живо помню его личность, — рассказывает П. А. Каратыгин. — Он был среднего роста, худощавый, рябой, с небольшой лысиной, длинный горбатый нос, серые, быстрые глаза, острый подбородок, вся вообще его наружность была некрасива. Высокие воротнички его манишки закрывали вполовину его костлявые щеки. Он был в непрерывном движении, точно в его жилах была ртуть вместо крови. Голова его была непрерывно занята сочинением или какого-нибудь *pas*, или сюжетом нового балета, и потому его непрерывно как-то подергивало;

ноги его были необыкновенно выворотны, одну из них он каждую минуту то поднимал, то отбрасывал в сторону. Это он делал, даже ходя по улице, точно он страдал пляскою святого Витта. Кто видел его в первый раз, мог принять его за помешанного, до того все его движения были странны и угловаты. Вообще этот замечательный человек был фанатик своего искусства и все свое время посвящал на бесперывные занятия».

В зените славы Дидло был истинным властителем и сцены, и зрительного зала. Он был и либреттистом, и постановщиком, и исполнителем главных ролей в своих балетах, сам готовил новых исполнителей, обучая балетному искусству всех без исключения воспитанников театрального училища, в том числе и будущих драматических актеров, вокалистов и музыкантов.

«Истина страстей и правдоподобие чувствований», по выражению А. С. Пушкина, раскрывались и в балетах Дидло. В мифологических сюжетах, в балетах-пантомимах на исторические и литературные темы, волшебного-героических и сказочных балетах-феериях и даже в балетах-комедиях Дидло умел раскрыть поэзию и сложность человеческих помыслов и переживаний. Необыкновенной выразительности достиг танец в разработке Дидло, раскрывая сложные черты характера героя, его намерения, страсти, оттенки переживаний. Дидло не затруднялся в передаче средствами танца самых сложных сюжетных коллизий. Ему не нужно было посреди действия вывешивать надписи, рассказывающие о ходе сюжета, как это делал А. П. Глушковский, одновременно с ним работавший на московской сцене. Так, в балете 1821 года «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора» специальные надписи на транспарантах возвещали: «Страшись, Черномор! Руслан приближается!»

Драматическое мастерство балетов Дидло высоко оценил Белинский: «При Пушкине балет уже победил классическую комедию и трагедию».

Действительно, Дидло не затруднялся превратить в балет «Федру» Расина или «период войны между Гускарсом и Аталибою». Он готов был передать средствами балета войны — его останавливала только «невозможность представить на театре нашем кавалерийские маневры». В его сценах использовались исторически достоверные детали и всевозможные чудеса: демоны, крылатые амуры, гении и сиффы то вылетали из самой глубины сцены — от двенадцатой кулисы и, пролетев всю сцену, потрясали над зрителями факелами, то спускались на зрителей с неба и как бы по волшебству останавливались у самой рампы.

Дидло изобрел трико (это одеяние получило свое название от имени парижского чулочного мастера Трико, выполнившего заказ Дидло), газовую тунику и ввел в балет исторические костюмы, уже установленные для трагических постановок Лекеном и Тальма.

Скорее всего, Пушкин не был лично знаком со знаменитым балетмейстером. Однако творчество поэта стало источником вдохновения хореографа.

В 1823 году Дидло поставил балет «Кавказский пленник, или Тень невесты» на пушкинский сюжет с музыкой Кавоса. В 1824 году он перенес на петербургскую сцену поставленный в Москве Глушковским балет «Руслан и Людмила, или Низвержение Черномора». О постановке «Кавказского пленника» стало известно Пушкину, находившемуся в ссылке, — он просил друга написать ему о Дидло и о Черкешенке — Истоминой. Балетмейстер А. П. Глушковский очень высоко оценивал достижения Дидло в разработке им пушкинской темы: «...верно, никогда еще поэт не перелагал поэта в новые формы так полно, близко, так красноречиво, как это сделал Дидло, переложив чудные стихи народного поэта в поэтическую немую прозу пантомимы. Местность, нравы, дикость и воинственность народа, все схвачено в этом балете... Игры, борьба, стрельба — все верно и ес-



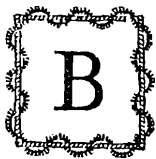
тественно, но все прикрито колоритом грации и поэзии. Балет сделан в руках Дидло великолепной иллюстрацией поэмы».

Обращение балетного театра к сюжету «Руслана и Людмилы» — не менее органично и естественно. Эту поэму многие рассматривают и сейчас как написанную под воздействием современного Пушкину театра, в особенности волшебных опер и балетов Дидло.

Фанатизм Дидло не знал границ и, разумеется, был темой различных рассказов и анекдотов, сохранных памятью мемуаристов. Одна из «героических» легенд театрального мира рассказывала об отставке балетмейстера Дидло. В 1829 году после ссоры с директором императорских театров князем С. С. Гагариным Дидло был посажен под арест. «Такого человека, как Дидло, не сажают», — сказал старый балетмейстер и, отбыв арест, вышел в отставку. Позже лишь при нечастом возобновлении его балетов публика единодушно вызвала отставленного балетмейстера...

В 1836 году Дидло отправился в южные губернии России для поправки здоровья, но было уже поздно, и 7 ноября 1837 года он умер в Киеве.

### „Блистательна, полувоздушна...“



первый раз Авдотья Истомина появилась на сцене Большого театра в 1808 году ученицей на премьере ставшего знаменитым балета Шарля Дидло «Зефир и Флора». Свиту Венеры, которая прибывает на свадебный пир Зефира, составляли младшие воспитанницы Театрального училища. Одеты в легкие белые хитоны, они выезжали на огромном белом лебедь. Среди них была и девятилетняя Дуня Истомина. Девочка училась в классе Ш. Дидло, а после его отъезда

в Париж в 1812 году перешла в класс танцовщицы Е. И. Колосовой. Ш. Дидло почитал дарование Колосовой и ставил ее выше лучших актрис Парижа и Лондона. Первая русская женщина — театральная педагог, влюбленная в свое искусство, она заменила в училище Дидло на время его отсутствия.

Вернувшись из Парижа летом 1816 года, балетмейстер принял у Колосовой группу учениц и смело выпустил их на сцену в спектакле «Ацис и Галатей». Здесь дебютировала Авдотья Истомина, танцевавшая Галатею. Затем, в 1818 году, она появилась в образе Флоры в балете «Зефир и Флора», сыгравшем особенную роль в ее творческой судьбе.

Слава пришла к Истоминой на сцене Большого театра. Балетная труппа театра считалась лучшей в Европе. Замечательный балетмейстер и педагог, Ш. Дидло не признавал танцевального искусства без движения души — оно составляло для него основу художественного образа. Это понимали его ученики. Одной из лучших учениц была Истомина. «Изображение страстей и душевных движений одними жестами и игрою физиономии, без сомнения, требует великого дарования: г-жа Истомина имеет его и особенно восхищает зрителей в ролях мифологических», — отмечал журнал «Русская Талия». Естественность сценического поведения, правдивая игра артистки увлекали зрителей. Истомина творила самозабвенно и искренне. Ее стихией был танец, который нес всегда большие чувства, пламенные страсти. В своем творчестве она воплотила лучшие черты русской балетной школы, сформировавшейся в годы, когда «Дидло венчался славой». Пушкин увидел в ее танце «душой исполненный полет».

В первой главе «Евгения Онегина», воссоздавая поэтический образ Истоминой, поэт дал удивительное по точности описание классического танца. Поражает глубина, выразительность и богатство впечатлений Пушки-

на как зрителя, замечающего и записывающего каждую деталь и жест, каждое движение балерины. Лирика танца здесь, по словам композитора Б. В. Асафьева, как бы перекликается с лирикой поэзии:

Блистательна, полувоздушна,  
Смычку волшебному послушна,  
Толпою нимф окружена,  
Стоит Истомина. Она,  
Одной ногой касаясь пола,  
Другую медленно кружит,  
И вдруг прыжок, и вдруг летит,  
Летит, как пух от уст Эола,  
То стан совет, то разовьет,  
И быстрой ножкой ножку бьет.

Имя и творчество Истоминой, во многом благодаря этим строкам Пушкина, вошли в сознание литературно-художественных кругов России как воплощение русского балета. Но не только сцена формировала и воспитывала молодую Истому. Она часто посещала знаменитый «чердак» Шаховского, где бывали актеры, драматурги, поэты. Истомина была в дружеских отношениях с Грибоедовым, общалась с Катениным, Пушкиным. Поэт пережил увлечение Истоминой, в чем признавался брату в письме из Кишинева. Он бывал ее соседом за столом у страстного театрала и гостеприимного хозяина Н. В. Всеволожского. Здесь собиралась компания актеров и любителей театра. Особенно многолюдны были собрания по субботам, когда не давались спектакли. Истомина интересовалась спорами об искусстве, участвовала в обсуждении спектаклей, слушала стихи, читанные авторами. Все это развивало ум и воображение артистки: образование в Театральном училище давалось менее чем недостаточное.

Сама Истомина, как говорили тогда, «держала открытый дом». Ее посещали многие любители искусства, художники и артисты, поклонники ее таланта. Имя Истоминой встречается в многочисленных литературных

мемуарах, письмах и дневниках людей самых различных положений и возрастов.

Ни один из ее портретов, по словам современников, не передает очарование и красоту балерины. Первый летописец русского балета П. Н. Арапов оставил словесный портрет Истоминой, в какой-то мере воссоздающий ее образ: она «была среднего роста, брюнетка, красивой наружности, очень стройна, имела черные огненные глаза, прикрываемые длинными ресницами, которые придавали особый характер ее физиономии, она имела большую силу в ногах, апломб на сцене и вместе с тем грацию, легкость, быстроту в движениях, пируэт ее и элевации (полеты. — Авт.) были изумительны».

Большая любовь Истоминой кончилась трагически. «Кавалергард В. В. Шереметев, — рассказывают современники, — жил с известной танцовщицей А. И. Истоминой, за которой безуспешно ухаживал Завадовский. Грибоедов... привез Истомину в квартиру Завадовского. Это возмутило Шереметева, и он вызвал на дуэль Завадовского, а его приятель... А. И. Якубович... вызвал Грибоедова, как участника интриги». Шереметев был смертельно ранен. Дуэль между Грибоедовым и Якубовичем была отложена.

Пушкин преклонялся перед талантом Истоминой. «Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику», — просил он брата 30 января 1823 года. Поэту было известно, что на сцене Большого театра идет балет «Кавказский пленник». В нем объединились три имени — Истоминой, Дидло и Пушкина.

Этот балет почитался одним из лучших созданий Дидло. Несмотря на изменения, сделанные в либретто, балет считали «пушкинским». Самый привлекательный, самый «пушкинский» образ создала Истомина. П. А. Вяземский писал: «Лицо Черкешенки совершенно поэтическое. В ней есть какая-то неопределенность и очарова-

тельность». Успеху спектакля способствовала популярность поэмы и имени опального поэта.

В 1824 году в балете, поставленном по поэме «Руслан и Людмила», Истомина выступила в роли героини. Быть может, создавая этот образ, она воплощала впечатления, рожденные при чтении поэмы автором, которое ей довелось когда-то слышать.

Пройдут годы... Имя Истоминой появится в плане задуманной Пушкиным повести или романа с условным названием «Две танцовщицы». План создавался одновременно с замыслом романа «Русский Пелам» — в 1834 — 1835 годах. В обоих произведениях Пушкин предполагал отразить события своей юношеской поры. Встречаются в них общие факты и ситуации, называются имена Истоминой и влюбленного в нее Завадовского, Грибоедова и Дидло... Поэт задумывался над судьбами своих современников — талантливой артистки, светского молодого человека, гениального писателя...

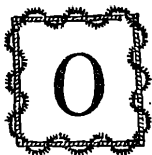
Нелегка была в то время жизнь на казенной императорской сцене даже такой замечательной балерины, как Истомина.

В 1836 году заканчивалась театральная жизнь Авдотьи Истоминой. Репертуар, в котором она когда-то блистала, потерял прелесть новизны, некоторые спектакли сошли со сцены. Дидло покинул театр. Дирекция, не считаясь с тем, что Истомина была накануне выхода на пенсию, без всяких оснований понизила ей жалованье. Прошения актрисы оставались без ответа, и, наконец, согласно резолюции Николая I, ее уволили.

Последний раз Истомина выступила на сцене 30 января 1836 года. Прощалась с публикой она на сцене нового Александринского театра, а не в Большом, где прошла вся ее артистическая жизнь.



## „Горишь ли ты, лампада наша?..“



бращаясь к друзьям по обществу «Зеленая лампа», Пушкин писал:

Здорово, рыцари лихие  
Любви, Свободы и вина!  
Для нас, союзники молодые,  
Надежды лампа зажжена.

Собирались члены общества у Никиты Всеволодовича Всеволожского. Долгое время мемориальная доска, посвященная обществу «Зеленая лампа» и участию в нем Пушкина, была укреплена на доме 39 на проспекте Римского-Корсакова (быв. Екатерингофский пр.); его владельцами считались Всеволожские. В 1962 году было установлено, что отцу Никиты Всеволожского принадлежал дом 35 на том же проспекте.

Всеволод Александрович Всеволожский был несметно богат, владел землями, крестьянами, домами, имел крепостной театр. В его имении Рябово (ныне г. Всеволожск Ленинградской обл.) гостили композиторы А. А. Алябьев и А. Н. Верстовский. Его петербургский дом на Екатерингофском проспекте всегда был полон гостей, но числился этот дом за княгиней Е. М. Хованской, сыгравшей роковую роль в жизни этого семейства. По выражению Н. В. Всеволожского, связь его отца с этой женщиной наложила «печать позора» на всю семью. Княгиня Екатерина Матвеевна Хованская славила в Петербурге красотой. Отец Никиты еще при жизни жены вступил с нею в связь, которая продолжалась четверть века до его кончины в 1836 году. Хованская пыта-

лась добиться развода с мужем, не дававшим на это согласия. Он писал жалобы самому царю, называя Всеволожского «обольстителем». Не получив развода, пожертвовав честью и бросив шестерых детей, она после смерти жены Всеволожского поселилась в купленном специально для нее доме на Екатерингофском проспекте, приняв на себя дела всего семейства Всеволожских. В 1825 году Никита Всеволодович вознамерился смыть пятно, нанесенное чести семейства, женитьбой на дочери Хованской — Варваре Петровне.

Пушкину была хорошо известна семейная история Всеволожских. В отрывках и планах его неосуществленного романа «Русский Пелам» нашла отражение драматическая семейная хроника Всеволожских. С нею связаны такие, например, записи: «Характеры. Отец и его любовница <...> Дом Всеволожских <...> Мать его (княг. Хованская) расточает деньги Всевол<ожск>ого».

И хотя памятной доской и поныне отмечен именно этот дом Всеволожских, по последним данным литературного краеведения местом собраний членов «Зеленой лампы» был дом статского советника на углу Екатерининского канала и Театральной площади (№ 213 во второй Адмиралтейской части, ныне канал Грибоедова, 109, и Театральная пл., 8). Здесь «против Большого театра», как свидетельствуют современники, в 1818—1820 годах жил Никита Всеволожский. И только в 1824 году он переехал в дом отца.

Приходившие к Никите друзья рассаживались за столом, освещенным лампой с зеленым абажуром.

Открытым сердцем говоря  
Насчет глупца, вельможи злого,  
Насчет холопа записного,  
Насчет небесного царя,  
А иногда насчет земного.

Зеленый цвет — символ гражданской надежды — был одновременно связан и с символом масонских лож, но

лишь те из «лампистов», которые входили в «Союз благоденствия» (Ф. Н. Глинка, С. П. Трубецкой, Я. Н. Толстой), знали о существовании «Зеленой книги» (по цвету переплета рукописи), содержащей устав этого тайного общества.

Объединившая любителей театра и словесности «Зеленая лампа» была теснейшим образом связана с формирующимся декабризмом. Недаром ее членами были многие деятели культуры, в той или иной степени причастные к декабристскому движению.

В «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ», составленный для Николая I, следственная комиссия внесла имена входивших в «Зеленую лампу» А. А. Дельвига, А. Д. Улыбышева, Д. Н. Баркова, А. Г. Родзянко.

По организационной структуре общество «Зеленая лампа» представляло собой «побочную управу» «Союза благоденствия». Оно возникло почти одновременно с ним — в апреле 1819 года — и просуществовало около полутора лет. Заседания общества прекратились после восстания в Семеновском полку, когда петербургская полиция усилила розыск политических обществ.

Побочные управы не имели особых блюстителей, ответственность за каждую из них нес тот или иной член основной управы «Союза». На него возлагалась обязанность познакомиться с возможными членами «Союза», собрать сведения о них, а при случае и испытать кандидата в члены общества. Таким образом, «Союз благоденствия» определял направление деятельности «Зеленой лампы». Позднее об этом шла речь на следствии при допросах В. К. Кюхельбекера, И. Г. Бурцова, П. И. Пестеля. Но в годы процветания общества трудно было заподозрить бурно резвящуюся в доме Никиты Всеволожского молодежь в тайных политических «умыслах».



## „Балованный дитя свободы“



Петербурге знали, что Никита Всеволодович Всеволожский принимает гостей по субботам, так как в этот день обычно не было спектаклей в театрах. Но участники кружка «Зеленая лампа» ни разу не собирались в субботний вечер. Время для дружеских встреч в узком кругу не было точно определено. Сходились в разные дни, раз в две недели, и всего таких встреч состоялось двадцать две. Собирались обычно поздно вечером, после спектаклей. При этом строго соблюдалась конспирация, выдерживался определенный ритуал: каждый из «лампистов» носил перстень с опознавательным знаком — изображением лампы. Садясь за круглый стол, участники заседания облакались в красные фригийские шапки-колпаки. У Пушкина об этом сказано так:

Вот он, приют гостеприимный,  
Приют любви и вольных муз,  
Где с ними клятвою взаимной  
Скрепили вечный мы союз,  
Где дружбы знали мы блаженство,  
Где в колпаке за круглый стол  
Садилось милое равенство...

Репутация молодых повес содействовала конспирации. Интересно, что на следствии В. К. Кюхельбекер признался, что был приглашен вступить в общество «Зеленая лампа», но не захотел по причине «господствующей будто бы там неумеренности в употреблении напитков».

Общество «Зеленая лампа» насчитывало около двадцати членов: Н. В. Всеволожский, Я. Н. Толстой, Ф. Н. Глинка, С. П. Трубецкой, А. Д. Улыбышев, А. А. Токарев, Д. Н. Барков, Д. И. Долгоруков, И. Е. Жадовский, Н. И. Гнедич, П. Б. Мансуров, Ф. Ф. Юрьев, В. В. Эн-

гельгардт, А. Г. Родзянко, М. А. Щербинин. И Пушкин... Бывали здесь А. А. Дельвиг, П. П. Каверин, А. В. Всеволожский, Л. С. Пушкин.

Пушкин до конца не знал истинного характера общества. Друзья опасались вовлекать его в политические предприятия. «Овцы стадаются, а лев ходит один», — сказал о нем Ф. Глинка. Но характер собраний в «Зеленой лампе» не мог не отразиться на мировосприятии поэта. Настроениями, царившими среди «лампистов», полны его вольнолюбивые стихи этих лет. 15 и 16 апреля 1820 года Пушкин прочел на заседании «Зеленой лампы» стихотворение, навеянное известием о революции в Испании:

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;  
От первых лет поклонник бранной Славы,  
Люблю войны кровавые забавы,  
И смерти мысль мила душе моей.  
Во цвете лет свободы верный воин,  
Перед собой кто смерти не видал,  
Тот полного веселья не вкушал  
И милых жен лобзаний не достоин.

Присутствующие на собраниях «Зеленой лампы» имели счастливую возможность наблюдать «искры ума Пушкина, который в эти минуты не только расточал острооты, но даже импровизировал прекрасные стихи».

«Зеленая лампа» воспринималась современниками как сугубо литературное общество. Не потому ли впоследствии следственная комиссия по делу декабристов оставила общество без должного внимания? В ее заключении по поводу этого общества говорилось: «В 1820 году камер-юнкер Всеволожский завел сие общество, получившее свое название от лампы зеленого цвета, которая освещала комнату в доме Всеволожского, где собирались члены. Оно политической цели никакой не имело; члены съезжались для того, чтобы читать друг другу новые литературные произведения, свои и чужие, и обязывались сохранить в тайне все, что на их собрани-

ях происходило, ибо нередко случалось, что там слушали и разбирали стихи и прозу, написанную в сатирическом или вольном духе».

А между тем литературные занятия общества «Зеленая лампа» имели и политическую окраску. Параграф девятый книги первой устава «Союза благоденствия» гласил: «Союз всеми силами попирает невежество и, обращая умы к полезным занятиям, особенно к познанию отечества, старается водворить истинное просвещение». В 1819—1820 годах «Зеленая лампа» стала одной из самых главных литературных ячеек «Союза», где средствами литературы пропагандировались декабристские идеи.

На заседаниях «Зеленой лампы» было прочитано более ста произведений. Из сорока известных сочинений большинство принадлежат Я. Толстому. Читались в обществе вольнолюбивые стихи, обсуждались отчеты о репертуаре петербургских театров и сочинения исторического характера. «Союз благоденствия» рассматривал занятия историей как средство, укрепляющее патриотизм. Я. Толстой составил «Список знаменитых деятелей древнего периода русской истории», С. Трубецкой подготовил библиографию литературы по русской истории. За время существования общества Я. Толстым были написаны очерки о К. Минине, Святославе, Н. Всеволожском — об Олеге, Аскольде и Дире, Владимире, богатыре Ушлювице, Рогнеде, Ярополке. Историческим замыслам «лампистов» не суждено было полностью осуществиться: «лампа погасла».

Против имени Никиты Всеволодовича Всеволожского в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ» стояла запись: «...по показанию кн. Трубецкого, Бурцова и Пестеля был учредителем общества Зеленой лампы...»

Своим лучшим из «минутных друзей» «минутной младости» назвал Всеволожского Пушкин. Они познакоми-

лись в Коллегии иностранных дел, где оба служили (Всеволожский с ноября 1816 года актуариусом), но близко сошлись в 1819 году, когда Пушкин стал постоянным посетителем дома Всеволожских.

Никита Всеволодович был личностью разносторонней. В полном соответствии с духом времени в нем сочетались черты серьезного философа, моралиста и поклонника Эпикура. Он был не только хозяином дома, обеспечивавшим дружеские вечера шампанским, но и одним из ведущих участников литературно-политических споров. Н. Всеволожский переводил с французского водевили («Каролина», «Две годовщины картины» и др.). Совместно с Н. И. Хмельницким в 1820 году он сочинил водевиль «Актеры между собой, или Первый дебют актрисы Троепольской». Его театральные увлечения перемежались с занятиями историей. Он составлял списки-программы для изучения русской истории «лампистами», читал на заседаниях «Зеленой лампы» составленные им жизнеописания деятелей русской истории.

На одном из заседаний общества Пушкин прочел посвященное Н. Всеволожскому стихотворение, где называл его «счастливый сын пиров», «балованный дитя свободы», «знаток в неведомой науке счастья». А в послании к Я. Н. Толстому Пушкин сказал о Всеволожском:

Амфитрион веселый,  
Счастливец добрый, умный враль.

Называл Пушкин его и Аристипом Всеволодовичем, сравнивая с древнегреческим философом, в основе учения которого был культ чувственных наслаждений.

Никита Всеволожский пользовался в своем кругу популярностью и симпатией. Не только Пушкин воспевал его в стихах. О нем писал и Ф. Глинка:

Он весел, любит жизнь простую,  
И страх, как всеми он любим!  
И под кафтаном золотым  
Он носит душу золотую...

Находясь в ссылке, Пушкин помнил Всеволожского. Сохранился черновик не отправленного из Михайловского письма к нему от конца октября 1824 года, где поэт писал: «Не могу поверить, чтобы ты забыл меня, милый Всеволожский — ты помнишь Пушкина, проведенного с тобою столько веселых часов. <...> Сей самый Пушкин честь имеет напомнить тебе ныне о своем существовании и приступает к некоторому делу...»

«Дело» заключалось в следующем: перед ссылкой на юг Пушкин проиграл Всеволожскому большую сумму денег и, не имея наличных, отдал в его распоряжение рукопись своих стихотворений, приготовленных к печати. Всеволожскому было все недосуг заняться изданием, и, когда до Пушкина дошли слухи, что друг его намерен продать его стихи князю А. Я. Лобанову-Ростовскому для публикации их в Париже, поэт поспешил уплатить долг и вернуть свою рукопись.

В доме у Н. Всеволожского Пушкин встречался и с его братом Александром, который упоминается в черновых строках стихотворения «Горишь ли ты, лампада наша?».

Но где же он, твой милый брат),  
Недавний рекрут Гименей!

До Пушкина, следовательно, дошло известие о женитьбе А. В. Всеволожского в ноябре 1820 года на княжне С. И. Трубецкой.

Поэт дружелюбно вспоминает о своих встречах с братьями:

Вы оба в прежни времена  
В ночных беседах пировали,  
И сладкой лестью баловали  
Певца свободы и вина,

Именно в доме А. В. Всеволожского в декабре 1836 года во время дружеского обеда после премьеры оперы

М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, В. Ф. Одоевский и Мих. Ю. Виельгорский сочинили в честь композитора «шуточный канон».

### „Философ ранний“



Первым председателем общества «Зеленая лампа» был Яков Николаевич Толстой, старший адъютант А. А. Закревского, дежурного генерала Главного штаба. Я. Толстого связывали со Всеволожским сначала дружба, а впоследствии родственные отношения: Никита Всеволодович вторым браком был женат на родной племяннице Толстого — Е. А. Жеребцовой.

Толстой оставил подробные описания собраний «Зеленой лампы». По его свидетельству, серьезная часть заседания завершалась обычно веселым дружеским ужином, во время которого прислуживал слуга-калмык. «Само собой разумеется, — рассказывал Толстой, — что во время ужина начиналась свободная веселость; всякий болтал, что в голову приходило, остроты, каламбуры лились рекой, и как скоро кто-нибудь отпускал пошлое красное словцо, калмык наш улыбался насмешливо, и, наконец, мы решили, что этот мальчик, всякий раз, как услышит пошлое словцо, должен подойти к тому, кто его отпустит, и сказать: «здравия желаю!» С удивительной сметливостью калмык исполнял свою обязанность. Впрочем, Пушкин ни разу не подвергался калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: „Калмык меня балует: Азия протезирует Африку“».

Среди «лампистов» Толстой слыл «философом». В «Зеленой лампе» его ценили прежде всего как поэта: в бумагах общества более всего сохранилось именно его стихотворений.

17 апреля 1819 года он читал друзьям стихотворение «Завещание». В бумагах общества сохранилась также рукопись стихотворения «Задача».

Люблю копить я миллионы,  
Люблю я в карты поиграть,  
Люблю в мечтах носить короны,  
Люблю величье презирать.

Сохранился вариант последней строки: «Люблю их игом называть».

В 1821 году в Петербурге вышел сборник его стихов «Мое праздное время» с изображением лампы на обложке. Эту только что вышедшую из печати книгу в конце 1822 года Толстой послал в Михайловское, в подарок Пушкину. Первая глава «Евгения Онегина», над которой Пушкин работал в начале 1823 года, содержит строфы, перекликающиеся со стихами Я. Толстого, вероятно, напомнившими Пушкину петербургскую жизнь периода «Зеленой лампы».

Толстой был страстным театралом, восторгался Екатериной Семеновой; к его мнению прислушивался Пушкин. Толстой выступал на собраниях «Зеленой лампы» то с театральными рецензиями, то с чтением своих переделок для театра и переводов французских одноактных комедий и водевилей.

Неоднократно просил Я. Н. Толстой Пушкина написать ему стихотворное послание, тем более что некоторые из «лампистов» уже удостоились внимания поэта. Об обещании поэта Толстой напомнил длинным стихотворным посланием:

Склонись, о Пушкин, Феба ради,  
На просьбу слабого певца  
И вспомни, как к своей отраде  
Ты мне посланье обещал;  
Припомни также вечер ясный,  
Когда до дому провожал  
Тебя, пилит мой сладкогласный...

Стихотворение содержит описание ночного Петербурга, той его части, где жил тогда Пушкин с родителями в доме А. Ф. Клокачева — «в пустых Коломенских краях»:

Зыбясь в Фонтанке отражалась  
Столбом серебряным луна,  
И от строений разстилалась  
Густая тень, как пелена.  
И слышен был, подобно грому,  
Повозок шум издалека;  
По своду темно-голубому  
Прозрачны плыли облака.

Ответом Пушкина на это послание были «Стансы Толстому»:

Философ ранний, ты бежишь  
Пиров и наслаждений жизни,  
На игры младости глядишь  
С молчаньем хладным укоризны.

Ты милые забавы света  
На грусть и скуку променял  
И на лампаду Эпиктета  
Златой Горациев фиал.

Я. Н. Толстой считался в «Зеленой лампе» едва ли не первым лицом. Когда Н. Всеволожского не бывало в Петербурге, «ламписты» собирались у Толстого. Прозвучание «Зеленой лампы» Пушкин связывал с личностью Толстого. В письме к уехавшему осенью 1819 года из столицы П. Б. Мансурову поэт писал: «Tolstoy болен. <...> Зеленая Лампа нагорела—кажется гаснет...» 26 сентября 1822 года из Кишинева поэт с благодарностью писал Толстому: «...ты один из всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне. К стати или не к стати».

«Никто ни строчки, ни слова...» Без денег, без книг, без театра, в кишиневской глуши, Пушкин с грустью



вспоминал петербургскую жизнь и летал «за милою мечтой» к берегам Невы. К письму, адресованному Толстому, приложено большое стихотворное послание ко всем «лампистам», содержащее ряд поэтических портретных зарисовок. Я. Толстому стихотворение адресуется как председателю «Зеленой лампы». Это не экспромт. Пушкин трудился над посланием. Известен черновик стихотворения, значительно превышающий по объему окончательный вариант. А через год Пушкин выделил из него отрывок «Из письма к Я. Н. Толстому»:

Горишь ли ты, лампада наша,  
Подруга бдений и пиров?  
Кипишь ли ты, золотая чаша,  
В руках веселых остряков?

В изгнанье скучном, каждый час  
Горя завистливым желаньем,  
Я к вам лечу воспоминаньем,  
Воображаю, вижу вас...

В письме к Толстому, еще не зная о закрытии «Зеленой лампы», Пушкин писал: «обними наших» и жадно спрашивал: «Что Всеволожские? Что Мансуров? Что Барков? <...> Что весь Театр?»

В ответ на пушкинское послание из Кишинева Я. Толстой отвечал:

Ах! Лампа погасла,  
Не стало в ней масла.

Пушкин переписывался с Толстым по поводу издания своих стихотворений, но, не получая ответа, запрашивал о нем других петербуржцев. «Об нем нет ни слуху, ни духу», — писал поэт 12 января 1824 года в письме к А. Бестужеву.

Уехав для лечения за границу, Толстой избежал участи декабристов. Товарищи его на следствии упорно молчали о нем, но следственная комиссия знала о при-

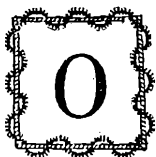
частности Я. Толстого к движению. И тем не менее его, старейшего и видного члена «Союза благоденствия», не потребовали к ответу. Царь приказал находящегося за границей Я. Толстого «поручить под секретный надзор начальства и ежемесячно доносить о поведении». 26 июля 1826 года Толстой прислал письмо-объяснение Николаю I, в котором старался подчеркнуть литературный — не политический — характер общества «Зеленая лампа». В нем было сказано:

«Я был одним из первых установителей сего общества и избран первым председателем. Оно получило название «Зеленой лампы» по причине лампы сего цвета, висевшей в зале, где собирались члены. Под сим названием крылось, однако, двусмысленное подразумевание, и девиз общества состоял из слов: *свет* и *надежда*; причем составлены такие кольца, на коих вырезаны были лампы; члены обязаны были иметь у себя по кольцу. Общество Зеленой лампы не имело никакой политической цели. Одно обстоятельство отличало его от прочих ученых обществ: статус приглашал на заседаниях объясняться и писать свободно, и каждый член давал слово хранить тайну. За всем тем в продолжение года общество Зеленой лампы не изменилось и, кроме некоторых вольнодумных стихов и других отрывков, там читанных, никаких вольнодумческих планов не происходило. Число членов доходило до двадцати или немного более. Заседания происходили у Всеволожского, а в отсутствие его — у меня».

Однако о политическом характере общества «Зеленая лампа» убедительнее всего говорит деятельность его участников и характер заседаний, на которых звучали подчас антимонархические стихотворения. В одном из наиболее политически острых стихотворений, прочитанных на заседании «Зеленой лампы», — «Шараде» Ф. Н. Глинки — очевидна перекличка с одой «Вольность» Пушкина, с такими ее строками:

Лишь там над царскою главой  
Народов не легло страданье,  
Где крепко с вольностью святой  
Законов мощных сочетанье.

## Другие „младости минутные друзья“



Основным публицистом в обществе «Зеленая лампа» был Александр Дмитриевич УЛЫБЫШЕВ, позже — драматург и музыкальный критик. Пушкин знал Улыбышева по Коллегии иностранных дел, где тот служил переводчиком. Потом они встретились в доме Никиты Всеволожского на заседаниях общества «Зеленая лампа». Улыбышев редактировал газету «Le Conservateur impartial» («Беспристрастный наблюдатель»), с 1825 года — «Journal de St-Petersbourg» («Санкт-Петербургская газета»), выходявшие на французском языке.

Известны три статьи Улыбышева, специально написанные для общества «Зеленая лампа» и прочитанные на его заседаниях: «Разговор Бонапарта и английского путешественника», «Письмо к другу в Германию о петербургских обществах» и «Сон». В них выражены идеи и настроения, присущие обществу «Зеленая лампа». Первая из них — своеобразный политический обзор положения в мире и в России, наблюдения за нарастающей реакцией. Вторая посвящена проблемам русской национальной самобытности, актуальной для «лампистов»: «Не подбирая жалким образом колосья с чужого поля, а разрабатывая собственные богатства, которыми иностранцы воспользовались раньше нас самих, мы сможем <...> соперничать с французами и после того, как мы отняли у них лавры Марса, мы будем оспаривать и лавры Аполлона».

На одном из заседаний «Зеленой лампы» зимой 1818 года Улыбышев прочел свою социально-политиче-

скую утопию, произведение самое острое среди его статей — «Сон». Во введении автор адресуется к тем, для кого он пишет, — к членам общества «Зеленая лампа»: «Патриот, друг разума, а особенно друг человечества также иногда находят во сне свои химеры, которые доставляют им минуты воображаемого счастья, какое в тысячу раз предпочтительнее всему, что дает им грустная действительность».

Сон Улыбышева — о будущем Петербурга. Все изменилось в этом городе: на Михайловском замке — надпись: «Дворец собрания представителей»; в бывших казармах разместились школы, академии, библиотеки. В Аничковом дворце спящий видит величественную картину русского Пантеона — собрание статуй заслуженных людей России, — среди них нет статуи Николая Павловича, который, еще будучи наследником, снискал ненависть людей передового образа мыслей. На месте Александро-Невской лавры высится Триумфальная арка. Повсюду в городе грандиозные здания, звучит музыка, нет монахов и священников, нет постоянного войска. Но главный образ «Сна» — преображенный царский дворец. Над ним развеивается знамя. Изменен герб: «...обе головы орла, знаменовавшие деспотизм и суеверие, обрублены, и из брызнувшей крови возник феникс свободы и истинной веры».

Но сон прерван звуками свистулек, барабана и криками пьяного мужика, которого волокут в полицию. Такова действительность, против которой направлены статьи А. Д. Улыбышева, оказавшие воздействие на формирование декабристской публицистики.

Среди участников «Зеленой лампы» был и Сергей Петрович ТРУБЕЦКОЙ, впоследствии видный деятель Северного общества. Именно ему «Союз благоденствия» поручал «собрать сведения о лицах, которые предполагались к принятию в «Союз». Он должен был стараться познакомиться с ними лично, чтобы короче их узнать

и испытать». Пушкин был знаком с Трубецким в послелицейский период жизни. Он посещал дом его тестя И. С. Лавалы на Английской набережной (ныне наб. Красного флота, 4). В 1819 году поэт читал там свою оду «Вольность». О личном знакомстве и частом общении говорят и сохранившиеся среди рисунков Пушкина изображения Трубецкого, и упоминание его имени в отрывках и планах «Русского Пелама».

Следственной комиссии по делу декабристов Трубецкой дал показания о «Зеленой лампе» и ее членах как об обществе сугубо литературном, преуменьшив и свое участие в нем: «Я был недолго членом этого общества, не более двух месяцев перед отъездом моим в чужие края в 1819 году».

В «Алфавите декабристов» среди деятелей «Союза благоденствия», причастных к обществу «Зеленая лампа», был назван Аркадий Гаврилович РОДЗЯНКО. Он пользовался репутацией поэта эротического, за что Пушкин называл его «Пироном Украины», сравнивая с французским поэтом, автором нескромных произведений. Но Пушкину, очевидно, была известна и его сатира: «У этого малороссиянина злое перо; я не любил бы с ним ссориться». Но без ссоры не обошлось. В 1821 году, когда Пушкина не было уже в Петербурге, Родзянко оставил столицу и военную службу и уехал в свое имение в Полтавской губернии. Там, в уединении, он написал сатиру «Два века», направленную против «либералистов», и в том числе против Пушкина. Он знал поэта еще до встреч в обществе «Зеленая лампа», бывал с ним в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» (август 1818 года).

Родзянко в своей сатире извещал читателя, что на собраниях «Зеленой лампы» постоянно звучали стихи против государя и против правительства. Пушкин расценил сатиру Родзянко как «последнюю степень бешенства и подлости». Впоследствии Пушкин и Родзянко

встречались в обществе, но поэт уже не называл его иначе, как «Родзянко-предатель».

Со всеми другими «лампистами» Пушкин был дружен до конца своих дней. П. П. Вяземский рассказывал, что осенью 1836 года на Троицком мосту Пушкин «дружески раскланялся» с неким господином. Это был приятель молодости поэта Дмитрий Николаевич БАРКОВ. О нем, страстном театрале, строгом критике актеров, постоянно знакомившем членов «Зеленой лампы» с репертуаром петербургских театров, в послании к Я. Н. Толстому Пушкин писал:

...гражда<нии> кулис,  
Театра злой летописца<тель>,  
Очаровательниц актрис  
Непостоянный обожатель.,,

Две последние строки Пушкин использовал позже для характеристики Онегина, «театра злого законодателя» и «почетного гражданина кулис».

В 1828 году Барков вписал в альбом А. П. Керн не совсем правильно звучавшие по-французски стихи; Анна Петровна обратилась к Пушкину с просьбой о переводе их, на что поэт, намекая на совпадение фамилий автора этих стихов и поэта XVIII века, сочинявшего непристойные стихи, вместо перевода написал:

Не смею вам стихи Баркова  
Благопристойно перевести,  
И даже имени такого  
Не смею громко произнести!

Между тем Д. Н. Барков был человеком серьезным. Имя его не миновало «Алфавита декабристов». В обществе «Зеленая лампа» он был более всего известен как знаток театра, способствовавший расцвету русского театрального искусства. Он поддерживал на петербургской сцене линию П. А. Катенина в его борьбе с декламационной манерой «важного» Н. И. Гнедича, учившего

великую Семенову. Сторонник высокого классицизма, Катенин, однако, Расину и Корнелию предпочитал Вольтера. Эту животрепещущую театральную полемику Барков выносил на заседания «Зеленой лампы». Споры более всего разгорались вокруг Е. С. Семеновой и А. М. Колосовой, представлявших две системы декламации и, таким образом, два принципиально разных отношения к трагедии. Барков, как и Катенин, был поклонником искусства Колосовой. Но Екатерина Семенова с ее эмоционально-патетической манерой пользовалась большей популярностью в петербургских кругах, у большинства «лампистов», и в том числе у Пушкина.

Состав общества «Зеленая лампа» не был однороден. Среди его членов были и такие, о причастности которых к политике потомки нередко узнают лишь по стихам Пушкина. Один из них — Павел Борисович МАНСУРОВ. В годы тесного общения его с Пушкиным в кругу «Зеленой лампы» он служил прапорщиком конно-егерского полка. В 1819 году Пушкин посвятил ему стихотворение «Мансуров, закадышный друг...», в котором он представлен беззаботным повесой, откровенно стремящимся к земным радостям.

Осенью 1819 года Мансуров уехал ненадолго в Новгород, и Пушкин писал ему в письме от 27 октября: «Насилу упробил я Всеволожского, чтоб он позволил мне написать <тебе> несколько строк, любезный Мансуров, чудо-Черкес! Здоров ли ты, моя прелесть — помнишь ли нас, друзей твоих (мужеского полу)... Мы не забыли тебя и в 7 часов с  $\frac{1}{2}$  (время начала спектаклей.— Авт.) каждый день поминаем <тебя> в театре рукоплесканиями, вздохами — и говорим: свет-то наш Павел! что-то делает он теперь в великом Новгороде? <...> Поговори мне о себе — о военных поселениях. Это все мне нужно — потому, что я люблю тебя — и ненавижу деспотизм». Военные поселения крестьян близ Новгорода, введенные Аракчеевым, были предметом острого осуждения в декаб-

ристских кругах. Письмо Пушкина отражает разговоры о них среди «лампистов». О Мансурове поэт продолжал справляться и покинув Петербург.

Подобным же образом складывались отношения у Пушкина с Федором Филипповичем ЮРЬЕВЫМ — офицером лейб-гвардии уланского полка, участником войны 1812 года. И ему, как и Мансурову, Пушкин посвятил стихотворное послание, написанное по случаю именин приятеля в сентябре 1819 года: «Здорово, Юрьев, именинник!..» Сквозь традиционные, эпикурейские мотивы беззаботной юности с ее дружескими пирушками и любовными утехами в стихотворении проступает блеск инного союзничества.

К 1821 году относится второе стихотворное послание Пушкина к Юрьеву, продолжающее тему беспечной молодости его героя, с яркими лирическими признаниями автора:

А я, повеса, вечно праздный,  
Потомок негров безобразный,  
Взращенный в дикой простоте,  
Любви не ведая страданий,  
Я нравлюсь юной красоте  
Бесстыдным бешенством желаний...

Юрьев напечатал эти стихи отдельным изданием (без цензурного разрешения) в ограниченном количестве экземпляров, на одном из которых имеется уточняющая помета: «А. Пушкин. 1821».

Общение возобновилось после возвращения Пушкина из ссылки в Петербург. О полной откровенности их дружеских бесед свидетельствует рисунок Пушкина, сделанный у Юрьева и воспроизводящий К. Ф. Рылеева и В. К. Кюхельбекера на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Дружеским расположением Пушкина пользовался известный всему Петербургу Василий Васильевич ЭНГЕЛЬГАРДТ, также член общества «Зеленая лампа».



Богач, карточный игрок, впрочем, по свидетельству П. А. Вяземского, «на веку своем более проигравший, нежели выигравший», Энгельгардт был симпатичен Пушкину за широту натуры, за бурную приверженность к театральной жизни. Но ценил в нем Пушкин и его несомненные литературные способности, и то, что тот не только играл в карты, но и «очень удачно играл словами». В столице знали его как остроуслова, по городу ходили его остроумные экспромты.

Летом 1819 года Пушкин перенес «жестокую горячку» и, обритый после болезни наголо, по преимуществу отсиживался дома, находя, однако ж, временами способ выбраться к друзьям. Комический актер П. А. Каратыгин (брат известного трагика) в своих записках рассказывает:

«Однажды мы в длинном фургоне <...> возвращались с репетиции. Тогда против Большого театра жил камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволожский, которого Дембровский учил танцевать. <...> Когда поравнялся наш фургон с окном, на котором тогда сидел Всеволожский и еще кто-то с плоским приплюснутым носом, большими губами и смуглым лицом мулата, Дембровский высунулся из окна <...> и начал им усердно кланяться. Мулат снял с себя парик, стал им махать над своей головой и кричал что-то Дембровскому. Эта фарса нас всех рассмешила. Я спросил Дембровского: «Кто этот господин?» — и он ответил мне, что это сочинитель Пушкин, который только тогда начинал входить в известность... Тут же Дембровский добавил, что после жестокой горячки Пушкину выбрили голову, и что де на днях он написал на этот случай стихи...»

Это были стихи к Энгельгардту, в которых образ адресата воссоздается в ореоле беззаботной веселости.

...счастливый беззаконник,  
Ленивый Пинда гражданин,  
Свободы, Вахха верный сын,

Венеры набожный поклонник  
И наслаждений властелин!

Венера и Вакх выступают в поэзии Пушкина ранних петербургских лет в неразрывном единстве с образом Свободы, символизирующим раскрепощенность личности от связывающих ее официально-сословных пут. Другьям по «Зеленой лампе» он доверяет свои мечты покинуть на лето столицу, уйти

От хладных прелестей Невы,  
От вредной сплётницы молвы,  
От скуки, столь разнообразной..

Дружеские отношения с Энгельгардтом сохранились и после возвращения Пушкина из ссылки. У них был общий литературный круг; поэт посещал дом Энгельгардта, по словам П. А. Вяземского, «сбивающийся немножко на парижский Пале-Рояль, со своими публичными увеселениями, кофейными, ресторанами», дом, постройку которого считали «событием в общественной жизни столицы» (ныне Невский пр., 30).

«Ламписту» Михаилу Андреевичу ЩЕРБИНИНУ Пушкин посвятил стихи, которые 9 июля 1819 года вписал в его альбом:

Житье тому, любезный друг,  
Кто страстью глупою не болен,  
Кому влюбиться недосуг,  
Кто занят всем и всем доволен,

• • • • •  
И мы не так ли дни ведем,  
Щербинин, резвый друг забавы?  
С Амуром, Шалостью, вином,  
Покамест молоды и здравы?

Щербинин был офицером Главного штаба, много путешествовал. Знакомство с ним Пушкина было кратковременным — длилось всего несколько месяцев. Сошлись они благодаря П. П. Каверину, и в восприятии Пуш-

кина Щербинин и Каверин стояли рядом. П. П. Каверин также был причастен к «Зеленой лампе» и к «Союзу благоденствия».

Имя Щербинина Пушкин упомянул в стихотворениях «Здорово, Юрьев, именинник!» и «Веселый вечер в жизни нашей». Позже, в 1828 году, Щербинин вместе с Кавериним оказался причастным к делу распространения антиправительственных стихотворений Пушкина.

Круг друзей Пушкина, группировавшихся вокруг общества «Зеленая лампа», трудно очертить с абсолютной точностью. Никак в творчестве Пушкина, например, не отмечен «лампи́ст» Иван Евстафьевич ЖАДОВСКИЙ, хотя поэт не мог с ним не встречаться у Всеволожского.

И. Е. Жадовский был с мая 1817 года полковником Санкт-Петербургского гренадерского полка, по большей части квартировавшего в Петербурге. 25 марта 1819 года Жадовский уволен «за ранами, с мундиром и пансионом полного жалования». На заседаниях «Зеленой лампы» читались его басни, имеющие политическое звучание («Орел и улитка», «Таракан-ритор» и др.).

Посещал собрания общества «Зеленая лампа» и один из ближайших друзей Пушкина — Антон Антонович ДЕЛЬВИГ. 17 апреля 1819 года в обществе читались его стихотворения «Фани» и «К мальчику».

Страстный театрал Николай Иванович ГНЕДИЧ был настоящим «законодателем» Петербургского драматического театра. Участвуя в деятельности «Зеленой лампы», он занимал в вопросах театральной полемики самостоятельную позицию, не во всем соглашался с крайними суждениями молодых «лампи́стов» (Пушкина, Я. Толстого). Однако его близость общей эстетической платформе «Зеленой лампы» сказалась в его статье «Символ веры в беседе славянофилов». На собрании общества Гнедич читал свой перевод «Илиады» Гомера. О том, как это происходило, рассказал в письме к М. Н. Лонгинову Я. Толстой: «В некоторых стихах замечали

мы шероховатость. Пушкин морщился и зевал. Гнедич, подошедши к нему, сказал: „Укажите мне, Александр Сергеевич, стихи, которые вам не нравятся”».

Пушкин не все принимал в поэзии Гнедича, особенно в раннюю пору своих отношений с этим поэтом. Однако впоследствии он дал высокую оценку его переводам из Гомера.

Состоял в обществе и Дмитрий Иванович ДОЛГОРУКОВ.

Следов общения Пушкина с некоторыми из «лампи-стов» не сохранилось. Но для большинства из них дружба с Пушкиным в пору их молодости осталась едва ли не самым ценным их достоянием и сохранила для потомков имена их самих. Оставила она заметный след и в биографии поэта. И если Пушкин и назвал своих друзей по «Зеленой лампе» «минутной младости минутные друзья», то мы слышим в этих словах не укор их дружбе, а грустную мысль о бренности всего сущего. Общение же с «лампистами» на пороге жизни стало важной вехой в духовном возмужании Пушкина.

---

## „Гоненья грозные...“



ад здешним поэтом Пушкиным, — писал в Москву 19 апреля 1820 года Н. М. Карамзин, — если не туча, то по крайней мере облако, и громоносное (это между нами): служба под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей <...> Это узнала полиция <...> Опасаются следствий».

Опасения были не напрасными: юному вольнодумцу грозила ссылка в Сибирь, в лучшем случае — на Соловки. Встревоженный этим известием, заволновался петербургский литературный мир. Друзья поэта поспешили вступить за него, используя свои связи в высших правительственных сферах. П. А. Чаадаев, А. И. Тургенев, Н. И. Гнедич хлопотали за смягчение грозившей поэту кары. По обыкновению, в хлопоты такого рода включался и В. А. Жуковский. Обратились и к Карамзину, который «из жалости к таланту» «замолвил слово» перед царем, взяв с Пушкина обещание «уняться».

Но туча все же до конца не рассеялась, и в начале мая Пушкин отправился на юг, в Екатеринослав, а затем и в Кишинев, прикомандированный к канцелярии генерала Инзова.

С первой ссылкой Пушкина связано не только его общение с поэтом-декабристом Ф. Н. Глинкой, но и знакомство с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем, под началом которого служил Глинка. В делах

опального поэта принял живое и деятельное участие его «начальник» по Коллегии иностранных дел И. А. Каподистрия.

### „Великодушный Гражданин“



едор Николаевич Глинка, воин-литератор, участник сражений при Аустерлице и Бородине, видный деятель декабристского движения, одним из первых вошел в «Союз благоденствия», а с 1819 года стал председателем «Вольного общества любителей россинской словесности». Его разнообразная деятельность оставила заметный след в литературно-общественной жизни Петербурга. Как публицист он прославился «Письмами русского офицера», в которых рассказал о своем участии в военных кампаниях 1805—1806 и 1812—1815 годов.

Дружбой с Глинкой гордились. Служил он адъютантом у генерал-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича в чине полковника гвардии, был в курсе правительственной политики и нередко использовал свое положение для борьбы со злоупотреблениями и произволом. Военный историк А. И. Михайловский-Данилевский вспоминает о нем: «Соединяя редкое благородство чувств с пламенным воображением и убедительным красноречием, он не знал людей, особенно двора, потому, не соображаясь с духом времени, он иногда в ложах (масонских.— *Авт.*) был неосторожен». По роду службы имея доступ к донесениям тайной полиции, Глинка, случалось, обнаруживал среди них выписки из своих речей.

Пушкин познакомился с Глинкой вскоре после окончания Лицея, очевиднее всего — через В. К. Кюхельбекера, которого Глинка знал еще лицеистом. Они сошлись. В одном из писем Глинка признавался: «Я очень

его любил как Пушкина и уважал как в высшей степени талантливого поэта». Пушкин испытал на себе влияние политической лирики Глинки, отзвук этого можно обнаружить в его стихотворении «Ответ на вызов написать стихи в честь е. и. в. государыни императрицы Елисаветы Алексеевны», которое не без помощи Глинки появилось в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Пушкин общался с Глинкой на собраниях «Зеленой лампы» в доме Н. В. Всеволожского, у В. К. Кюхельбекера, в его казенной квартире в мезонине дома Отто на набережной Фонтанки, где помещался Благородный пансион (ныне участок дома 164) и на «субботах» П. А. Плетнева в его доме, который называли «гнездом поэтов» (ныне Московский пр., участок дома 17).

Глинку знали в Петербурге как человека нравственного, и его влияние на Пушкина находили благотворным. Случилось ему предотвратить какую-то дуэль молодого Пушкина... Может быть, лучше других Глинка понял внутреннюю суть внешне безалаберного в те годы Пушкина. Он увидел преувеличение в склонности Пушкина порою выказывать себя эпикурейцем, — подобные черты Глинка замечал среди неординарной петербургской молодежи. Он вспоминал: «Рылеев... как и многие тогда, сам на себя наклепывал. <...> Эта, тогдашняя черта, водилась и за Пушкиным: придет, бывало, в собрание в общество и расшатывается. «Что вы, Александр Сергеевич?» — «Да вот выпил 12 стаканов пуншу!» А все вздор, и одного не допил! А это все для того, чтобы выдвинуться из томящей монотонности и глухой обыденности и хоть чем-нибудь да проявить свое существование. Хотели воли, поля и деятельности!»

Глинка жил в ту пору невдалеке от Большого театра, в доме Кропоткина (ныне Театральная пл., 18; дом перестроен). К Глинке Пушкин направился в опасный для него момент, когда о его вольнолюбивых стихотворени-

ях стало известно царю. В отсутствие Пушкина агент полиции пытался подкупить его дядьку, с тем чтобы тот дал ему познакомиться с бумагами хозяина.

Эта встреча могла произойти в первой половине апреля (до 18-го) 1820 года. О ее обстоятельствах писал Глинка:

«Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встрече со мной) улыбка не играла на его лице, и легкий оттенок бледности замечался на его щеках.

— Я к вам.

— А я от себя!

И мы пошли вдоль площади».

Глинке не составило труда по рассказу Пушкина определить, кто из агентов был у него. Обсудив положение, он посоветовал поэту идти к генерал-губернатору Милорадовичу «не смущаясь и без всякого опасения». Он считал, что такой поступок, в котором «много романтизма и поэзии», будет оценен как смягчающий вину.

В тот же день Пушкина вызвали к М. А. Милорадовичу... Это заступничество за Пушкина по просьбе и под сильным «давлением» со стороны Глинки вместе с хлопотами В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина, П. Я. Чаадаева возымело действие: грозившую поэту ссылку в Сибирь заменили служебным переводом на юг.

Едва ли не первым Глинка поддержал опального поэта. В связи с выходом в свет поэмы «Руслан и Людмила» он написал послание «К Пушкину», опубликовав его в сентябрьском номере журнала «Сын отечества» за 1820 год. До поэта скоро дошли строки, содержащие намек на его ссылку и признание его гения:

О Пушкин! Пушкин! Кто тебя  
Учил пленять в стихах чудесных?  
Какой из жителей небесных



Тебя младенцем полюбил?..  
Судьбы и времени седого  
Не бойся, молодой певец,  
Следы исчезнут поколений,  
Но жив талант, бессмертен гений.

На стихотворение Глинки Пушкин ответил стихотворным посланием. В нем поэт, в полную меру испытавший на себе положение ссыльного, откликнулся на гражданский подвиг Глинки, который приветствовал его и утешал:

Когда средь оргий жизни шумной  
Меня постигнул остракизм,  
Увидел я толпы безумной  
Презренный, робкий эгоизм.  
Без слез оставил я с досадой  
Венки пиров и блеск Афин.  
Но голос твой мне был отрадой,  
Великодушный Гражданин!

Стихотворение не было напечатано. Посылая стихи брату, поэт просил: «...покажи их Глинке, обними его за меня и скажи ему, что он все-таки почтеннейший человек здешнего мира». Глинку стихи восхитили. «Мы с ним приятели», — писал он о Пушкине Льву Сергеевичу. Когда Пушкин был в ссылке, Глинка вместе с другими петербургскими друзьями поэта постоянно вспоминал его. Они много говорили о нем, слушали у П. А. Плетнева его «любезного братца Льва Сергеевича» — «стереоскопическое издание» его творений (тот знал наизусть почти все произведения Пушкина). Глинка бережно хранил у себя портрет Пушкина (известную гравюру Н. И. Уткина с портрета О. А. Кипренского) и, не находя в его образе былой веселости, так хорошо известной ему прежде в поэте, тревожился: «Ужели это следствие печалей жизни?»

После разгрома декабристов Глинка был сослан в Петрозаводск. В суровых условиях ссылки он следил за литературной жизнью, сам не оставлял творчества. «Из глубины карельских пустынь» он вместе с «усердными

поклонами» послал Пушкину свою поэму «Карелия». В «Литературной газете» от 15 февраля 1830 года появилась анонимная рецензия на поэму Глинки. Автором рецензии был Пушкин. В ней он писал: «Изю всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный. <...> Небрежность рифм и слога, обороты то смелые, то прозаические, простота, соединенная с изысканностию, какая-то вялость и в то же время энергическая пылкость, поэтическое добродушие, теплота чувств, однообразие мыслей и свежесть живописи, иногда мелочной — все дает особенную печать его произведениям».

Летом 1830 года Пушкин проездом навещал Глинку в Твери, куда тот был переведен из Петрозаводска, хлопотал об улучшении его судьбы. Благодарный Глинка писал Пушкину: «Вы приняли во мне участие, как человек, в котором совсем *не отразился* настоящий век». В письмах они обменивались изъявлениями самых добрых чувств; Пушкин — Глинке: «...моим искренним, глубоким уважением к Вам и Вашему прекрасному таланту я перед Вами совершенно чист»; Глинка — Пушкину: «Я Вас любил, люблю и (сколько за будущее ручаться можно) любить не перестану! — Многие любят ваш талант; я любил и люблю в Вас — всего Вас».

Их отношения строились на взаимном уважении, на общности гражданских и эстетических позиций.

**„У меня сейчас был Пушкин!“**



олоритной фигурой своего времени был генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович, с именем которого связана история первой ссылки Пушкина. Вот что пишет о разговоре Пушкина с Милорадовичем в своих воспоминаниях Ф. Н. Глинка: «Лишь только ступил я на порог кабинета, Милорадович... закричал мне навстречу: «Знаешь, душа

моя! (это его поговорка) у меня сейчас был Пушкин!»» По словам Милорадовича, Пушкин пленил его «своим благородным тоном и манерой». По его совету, поэт написал целую тетрадь своими вольнолюбивыми стихами.

Представив эту тетрадь Александру I, Милорадович добавил, что объявил Пушкину от имени монарха прощение. Царь нахмурился, давая понять, что Милорадович поторопился, но позиция генерал-губернатора все же сыграла свою положительную роль в судьбе Пушкина, за которого заступились Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, И. А. Каподистрия, П. Я. Чаадаев и др. Не случайно восторженный Сергей Львович Пушкин в письме к Жуковскому, благодаря всех, кто оказал его сыну помощь, писал: «Что касается графа Милорадовича, то я не знаю, увидя его, брошусь ли я к ногам или в его объятия».

Свою боевую службу Милорадович начал в 1788 году в войне со Швецией и почти непрерывно продолжал ее до взятия Парижа в 1814 году. Презрение к смерти, быстрота действий Милорадовича в свое время вызвали одобрение А. В. Суворова. Также отличился он и под командованием М. И. Кутузова. Успешно действовал в 1813 году под Бауценом и Кульмом. Начиная с Лейпцигского сражения, он командовал гвардейским корпусом.

Хорошо знавший его Денис Давыдов писал: «Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя... Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик, он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов, подчиненных ему генералов... отыскивать его по целым ночам. Милорадович отличался расточительностью, большой влюбчивостью, страстью изъясняться на незна-

комом ему французском языке и танцевать мазурку». О нем ходили многочисленные анекдоты. Один из них, вероятно, имеет в виду Пушкин в письме П. А. Вяземскому 27 мая 1826 года, вспоминая, как «пред М-е de Staël заставляли Милорадовича отличиться в мазурке».

Такие, как Милорадович, по словам Герцена, «любили солдат и били их палками не на живот, а на смерть оттого, что им ни разу не пришло в голову, что солдата можно выучить не бивши его палкой. Они тратили страшные деньги и, не имея своих, тратили казенные... Но они не были ни доносчиками, ни шпионами, а за подчиненных стояли головой».

Волокита и мот, в течение нескольких лет управлявший Петербургом не зная ни одного закона, Милорадович любил разыгрывать роль покровителя и тонкого знатока искусств. Он постоянно бывал в Театральном училище и в театрах, больше всего интересуясь хорошенькими актрисами, которым усердно покровительствовал. Вместе с тем он сурово, по-военному расправлялся с теми из актеров, которые имели несчастье ему не угодить, отправляя их под арест в театральную контору и даже в Петропавловскую крепость. Раздраженный тем, что П. А. Катенин выражал в театре недовольство игрой Семеновой, которая нравилась Милорадовичу, он выслал Катенина из столицы.

Но в дни страшного петербургского наводнения 1824 года генерал-губернатор проявил незаурядную смелость и решительность, спасая «страхом обуялый и дома тонувший народ».

Милорадович полагал, что он популярен в народе, хвастал, что у него «60 тысяч штыков в кармане» и что он «хозяин столицы». Узнав о выходе на Сенатскую площадь восставших полков, он прискакал туда, совершенно уверенный, что ему легко будет уговорить солдат вернуться в казармы. Но на площади он был смертельно ранен декабристом П. К. Каховским.

## „Лета и время образуют его...“



ачальником Пушкина в Коллегии иностранных дел был граф Иоанн Антонович Каподистрия, управлявший Коллегией совместно с К. В. Нессельроде.

Современники, знавшие Каподистрию, вспоминали о его обширном и глубоком образовании, удивительном трудолюбии, простоте и отсутствии всякого высокомерия, отмечали его необыкновенное бескорыстие, строгость к себе и благожелательность к другим.

Каподистрия бывал в салоне А. Н. Оленина, в доме у Н. М. Карамзина, был избран почетным членом «Арзамаса». Его письмо о Вольтере, как сообщал 18 июня 1819 года П. А. Вяземскому всеведущий А. И. Тургенев, «...точно было напечатано в английских газетах».

В образованных кругах петербургского общества Каподистрия, несомненно, слышал о Пушкине и оценил в нем поэта, а не чиновника Коллегии иностранных дел. В его стихах Каподистрия увидел «великие красоты замысла и слога».

Когда над поэтом нависло «облако, и громоносное», Каподистрия вместе с Н. М. Карамзиным, по свидетельству Ф. Ф. Вигеля, «дерзнули доказать Александру I всю жестокость» его желания сослать Пушкина в Соловецкий монастырь или в Сибирь и умоляли смягчить его участь. Каподистрия пользовался тогда большим влиянием при дворе. Заступникам удалось добиться решения о переводе Пушкина в Екатеринослав под начальство генерала И. Н. Инзова.

В письме его будущему начальнику И. А. Каподистрия весьма благожелательно рекомендовал Пушкина как талантливого молодого человека. Объясняя причины его перевода из Петербурга, он писал, что «некоторые поэтические произведения, а особенно ода на свободу, привле-

кли внимание к г. Пушкину. ...Это последнее стихотворение свидетельствует об опасных началах, почерпнутых в современной школе». Вместе с пакетом, содержащим сведения о нем самом, высылаемый из столицы поэт вез новому своему начальнику документы, имевшие большое административное значение, — предложение И. Н. Инзову занять пост полномочного наместника Бессарабии вместо навлекшего на себя «высочайшее неудовольствие и увольняемого в бессрочный отпуск» генерал-лейтенанта Бахметьева. Приняв новое назначение, Инзов должен был переехать из Екатеринослава в Кишинев.

Отвечая графу на его письмо о молодом Пушкине, Инзов писал: «С Пушкиным я не успел еще короче познакомиться; но замечаю однако ж, что не испорченность сердца, но по молодости, необузданная нравственностью пылкость ума причиною его погрешностей; я стараюсь, чтобы советы мои не были бесплодны, и буду держать его более на глазах. Мая 21 дня 1820 года».

Отпустив Пушкина в Крым с семьей генерала Н. Н. Раевского, Инзов просил в письме к петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову «при оказии... сказать об оном графу И. А. Каподистрии. Я надеюсь, что он меня за сие не побранит и не назовет баловством».

Каподистрия не остался равнодушным к дальнейшей судьбе своего «курьера». В апреле 1821 года он снова осведомляется у Инзова: «Несколько времени тому назад отправлен был к вашему превосходительству молодой Пушкин. Не имея никаких известий о его службе и поведении, желательно, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение ваше, милостивый государь мой, о сем юноше. Повинуется ли он теперь внушению от природы доброго сердца или порывам необузданного и вредного воображения». Инзов отвечал графу подробным письмом 14 апреля:

«Пушкин, живя в одном со мной доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах не

оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных по-французски молдавских законов и тем... отнимаю способы к праздности.

...Я уверен, что лета и время образуют его в сем случае и опытом заставят признать неосновательность умозаключений, посеянных чтением вредных сочинений и принятыми правилами нынешнего столетия».

Упомянув о «нынешних смутных обстоятельствах», и Каподистрия, и Инзов имели в виду доносившиеся из Южной Европы отзвуки революционных событий, и прежде всего — событий в Греции, где ширилась освободительная борьба против Оттоманской империи.

Каподистрия был страстным поборником освобождения Греции от турецкого ига. Он родился в 1776 году в семье видного греческого деятеля на острове Корфу. Окончив курс философии и медицины в Падуанском университете, Каподистрия вскоре занял место статс-секретаря Ионической республики<sup>1</sup> по иностранным делам. В 1806 году он получил назначение поверенным в делах при российском дворе.

По Тильзитскому миру, Александр I передал Наполеону протекторат над Ионическими островами, которые и были оккупированы французскими войсками. Это событие стало горестным ударом для Каподистрии, считавшего покровительство России необходимым для Греции. По приглашению графа Румянцева он покинул родину и в январе 1807 года прибыл в Россию, в Петербург. С этого времени Каподистрия был причислен к ведомству Коллегии иностранных дел и с успехом выполнял ответственные дипломатические поручения. В 1811 году его определили в венскую миссию. Находясь в Ве-

---

<sup>1</sup> В Ионическую республику, или республику Соединенных островов, образованную в 1799 году, входила группа островов Ионического моря. Теперь принадлежат Греции.

не, Каподистрия был избран председателем общества «филомузов» (друзей муз), прикрывавшего свои политические устремления литературными занятиями. «Филомузы» собрали весьма значительные суммы, предназначенные для освобождения Греции, которые хранились в Мюнхене.

Участвуя в работе Венского конгресса, Каподистрия добивался внесения в акты конгресса формального признания независимости Ионических островов.

Наконец, в 1816 году он вместе с К. В. Нессельроде возглавил Коллегию иностранных дел.

После присоединения Бессарабской области к России в 1812 году Каподистрия ведал ее делами и лично докладывал о них царю. Центром области стал город Кишинев. Для Каподистрии, поборника греческой независимости, этот город имел особое значение. Здесь находилось тогда греческое тайное общество «Дружественная Гетерия». Оно образовалось в 1814 году в Одессе при благосклонном отношении к нему Александра I, а затем перенесло свою деятельность в Кишинев. С ним слилось и общество «филомузов».

В Кишиневе Пушкин непосредственно соприкоснулся с греческими инсургентами (повстанцами), познакомился и с одним из руководителей — Александром Ипсиланти. В начале марта 1821 года он писал: «Греция восстала и провозгласила свою свободу».

События в Греции вызвали огромный интерес в России. Будущие декабристы, как и вообще широкие круги русской общественности, надеялись, что Россия, выполняя интернациональные обещания Александра I, вступится за единоверных греков и примет участие в освободительной войне народов против тирании, и это положительно скажется на ее внутренней политике. Но надежды не оправдались. Каподистрия, разочаровавшись в политике Александра I, взял в 1822 году бессрочный отпуск и, покинув Россию, поселился в Женеве.



В освободительной борьбе греческого народа приняли участие добровольцы из Америки, Англии, Франции, Португалии, Германии. Среди них был и поэт Байрон.

В 1826 году в городе Трезене декретом Трезенского собрания Каподистрию провозгласили президентом Греции. В декрете указан его официальный титул: он был облечен званием кивернитеса, что значит «кормчий». Это звание по своему значению выше и значимее, чем президент.

Иоанн Антонович Каподистрия, кормчий Греции, пал жертвой заговора, инспирированного Англией и Францией. Он был убит в Эгине 26 сентября 1831 года.







ушкин вернулся из ссылки знаменитым поэтом. С того момента, как он юношей покинул Петербург, минуло семь лет, и имя его теперь было у всех на устах.

Петербург заметно переменялся. Он стал взрослее, строже — и отчужденнее. Повзрослели и «минутной младости минутные друзья» — те, что остались... Не тревожила уже ночной покой бесшабашная молодость — некогда «гроза дозоров караульных»: серьезность младших не по летам отметил Пушкин еще в московских кабинетных «архивных юношах». Не стало шумных собраний, громких, безоглядных дружеских сходок с дерзкими спорами. Настала пора вспоминать «знакомых мертвецов живые разговоры...»

Заметно переменялся и городской пейзаж. На Невском выкорчевали липы — на смену бульвару пришла надменная стройность проспекта. Почти разрушился идиллический мир близкой сердцу Коломны — ее застраивали по-новому. Теперь туда чинно ездили на унылые екатерингофские гулянья. За бронзовым Петром громоздились леса, и петербуржцы каждое утро привычно провожали глазами невысокую фигуру пожилого щеголеватого господина, направлявшегося из собственного дома на Мойке, близ Прачечного переулка, к Исаакиевской площади, — это знаменитый Монферран шел к строящемуся собору. Напротив, на углу Почтамтской, кажется, совсем еще недавно квартировали Александр Одоевский и милый, нелепый Кюхля, — теперь в сосед-

нем пышном особняке царствовала дерзкая, неистовая вакханка Аграфена Закревская.

Чуть подальше, у Сенатской площади, на набережной, — известный всему Петербургу дом Лавалей, где в роковой день пытались скрыться от картечи восставшие и где жандармы искали несостоявшегося диктатора Сергея Трубецкого. Трубецкой был уже в сибирских рудниках, жена — дочь Лавалей Екатерина Ивановна — последовала за ним, но хозяева, презрев несчастья, продолжали принимать. В стенах, где собирались некогда члены тайного общества, читал Пушкин привезенного из ссылки «Бориса Годунова».

Исполнен долг, завещанный от бога  
Мне грешному...

В майский вечер 1828 года здесь слушали его два других поэта — Грибоедов, почти державший уже в руках свой смертный приговор — назначение в Персию, и высланный из Вильны Адам Мицкевич.

...Время не сулило покоя. Революционный Париж... Восставшая Польша... В Москве и Петербурге — холера. Недобрым знаком отметила азиатская гостья окончательное возвращение поэта в столицу. Теперь на ее улицах, подстегиваемая страхом и отчаянием, бунтовала беднота. Вяземский отметил потом, что «даже и наказания божии почитает она наказаниями власти». Город был страшен. По ночам длинной чередой тянулись злоеющие факельные шествия, в мерцающем свете плыли и плыли холерные возки, нагруженные сырыми, безымянными, неотпетыми гробами — на «опальные» кладбища.

Пушкин в это время в Царском. Он твердо решил искать себе счастья на проторенных дорогах — и женат. Царскосельские парки греют воспоминаниями, будущее рисуется с надеждой и без боязни.

«Мне бой знаком...» — написал он еще в ранней молодости. В эти дни в ответ на подавленное письмо Плет-

нева поэт пишет: «Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу... не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».

Пушкин вернулся в Петербург зрелым человеком.

Еще в первые послесыльные наезды в столицу самым близким из «старых» оставался «брат» Дельвиг. Здесь, на Владимирской площади, были сосредоточены привязанности и литературные интересы Пушкина. «Северные цветы», «Литературная газета»... Но не стало и Дельвига... «Новые созреют нам друзья...»

«Литературные аристократы», еще недавно владевшие умами, выходили из моды. Философски настроенная молодежь не понимала их свободного вольтерьянства, новым «демократам» повсюду мерещилась надменность. Те и другие — чуждались. Невзыскательная публика кидалась на болгаринские романы, новоиспеченные литературные предприниматели потрафляли ее вкусам, исподволь приучая общественное мнение к мысли об «элитарности» первого русского поэта и ближайшего его окружения. Им и принадлежала эта предательская формула «литературные аристократы». Начиналась затяжная «война» с продажными журналистами, служившими сыску, и продавшимися бывшими единомышленниками, с Бенкендорфом, с цензурой, с тягостной «копейкой» двора. Исчезли с авансцены и бывшие герои общества, «герои праздников, балов», носители вольности — независимые гвардейские офицеры. «Освободившиеся места,— писал об этом времени А. И. Герцен,— поспешно заполнялись усердными служаками или столпами казармы и манежа. Офицеры упали в глазах общества».

На блестящее, отважное поколение надвигалась суетливая, корыстная посредственность.

Пушкин, однако, не думал сдаваться. Бой ему был хорошо знаком — он знал уже науку схватки. Рядом еще верные друзья — Жуковский, Александр Тургенев, Вя-

земский, Плетнев. Поэт пока в зените славы, он по-прежнему любит «и тесноту, и блеск, и радость», в свете он всюду желанен — и много выезжает, несмотря на новые навалившиеся на него заботы — литературные, семейные, денежные. Однако пищу и жизнь уму дают теперь нешумные, часто в узком кругу, дружеские вечера — у Жуковского в Шепелевском дворце, в осиротевшем, но по-прежнему близком доме Карамзиных, у Плетнева. Политические и европейские новости узнает Пушкин в салоне старой своей приятельницы Е. Хитрово и ее дочери, жены австрийского посланника Дарьи Фикельмон, — сюда он охотно ездит; часто появляется поэт и в «львиной пещере» чудаковатого, добрейшего князя В. Одоевского, — по субботам здесь обычно весь интеллектуальный цвет столицы. «Свой» литературный, духовный мир сужается теперь до избранных гостиных.

Пушкин полон энергии и замыслов, но новый Петербург настораживает.

Город пышный, город бедный,  
Дух неволи, стройный вид,  
Свод небес зелено-бледный,  
Скука, холод и гранит...

Это первые на свежий взгляд впечатления после долгого отсутствия. «Дух неволи...» «Младшая столица» насквозь проросла казармами. «Экзерциции» на Царицыном лугу, Семеновском плацу, Смоленском поле — привычная деталь городского быта. Холодная геометрия города все органичнее сливается с холодной геометрией военных смотров и парадов — по каждому хоть скольнибудь приличествующему поводу. «Однообразная» их «красивость» стоила, однако, дорого: невыносимой муштре, заменившей военную науку, солдаты нередко предпочитали каторгу или самоубийство. Но Николай любит фронт — даже во время богослужения в церкви выравнивает он в ряд, как на параде, великих князей и кня-

жон, одевает в «мундиры» фрейлин. «Осуждают очень дамские мундиры — бархатные, шитые золотом — особенно в настоящее время, бедное и бедственное», — записал Пушкин в своем дневнике. «Военная столица»...

Вяземский назвал Петербург «прихожей» России — и Пушкин все унижительнее привязан к ней неусыпным высоким «покровительством», сильно смахивающим на грубый полицейский надзор, положением жены в свете, долгами казне, наконец, оскорбительным камер-юнкерством. Все чаще демонстративно уклоняется он от обязательных официальных церемоний: нет его на торжественном открытии Александровской колонны; за несколько месяцев до того не поехал он поздравлять с совершеннолетием и будущего царя Александра II. «К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен, — пишет он жене, — царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать». В дневнике же — запись: «Много говорят о бале, который должно дать дворянство по случаю совершеннолетия государя наследника... Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» Этой предшествует другая, сделанная годом ранее: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян, — эти четверста тысяч останутся в их карманах... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубея будут балы».

Трудны, изнурительны и литературные отношения — с журнальными баталиями, злыми нападками, разрозненностью... Между тем в обстановке вынужденной светской суеты, постоянного напряжения, безденежья зреют и осуществляются грандиозные творческие замыслы. «Анжело», «Медный всадник», «Дубровский», «Пиковая дама», «История Пугачева»... Однако именно сейчас, в пору зрелости и расцвета, вдруг очевиден разлад с читателем: интерес к Пушкину падает, недавние восторженные поклонники его, негодую на поэта за собственную непонятливость, пожимают плечами.



*Все вместе гонит Пушкина вон из «душного», «гранитного», полуиностранного Петербурга. Манят дорога, тихие российские просторы, свой клочок земли. На смену мечтам о счастье приходят мечты о «покое и воле». Любимое Михайловское, оренбургские степи, Болдино, Москва... Поэт все больше углубляется в историю Пугачева... Тревожащий, загадочный Петр... История России... Недаром Пушкин так любит в это время живо отдающие стариной разговоры Н. К. Загряжской, увлекательные, прекрасные в своем косноязычии «семейные» рассказы Нащокина. Нужны свобода, уединение, «чистый воздух» — поэт просится в отставку. Царь недоволен и грозит закрыть для него архивы. Пушкин не скрывает раздражения. Насильственная жизнь в «нужнике», в «свинском Петербурге», «между пасквилями и доносами» — гадка и невыносима. «Петербургская повесть» его — не пропущенный монаршей цензурой «Медный всадник» — была именно об этом — о пагубности насильственной воли, даже самой благой. Исторические слова Александра, попавшие в поэму — «С божией стихией царям не совладеть» — звучали отнюдь не метафорой. Мстила поработенная природа, бунтовал против венценосного разрушителя естественного жизненного уклада Евгений. На грани бунта был сам Пушкин.*

*Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —  
Летят за днями дни, и каждый час уносит  
Частичку бытия...*

*Поэт предпринимает еще последнюю попытку сплотить вокруг себя литературный круг, выступить с собственным журналом. После нескольких неудач за год до смерти он начинает издавать «Современник». Однако если Пушкин в совершенстве постиг тайну высокой литературы, высокой публицистики, то противники его — и «Мефистофель николаевской эпохи» О. Сенковский, и непримиримые теперь Булгарин и Греч — виртуозно ов-*

*ладели тонкой тайной злой интриги и коммерческого успеха. Души доверчивой, простодушной публики и на этот раз оказались в их прочных руках...*

*...Шла последняя осень. 19 октября лицеисты праздновали свою двадцать пятую годовщину. Собрались на Екатерининском канале в «лицейском подворье» старосты М. Яковлева. Праздник, однако, не веселил — тягостно вспоминали отсутствующих. Пушкин был мрачен. Сквозь застилавшие глаза слезы читал он последнюю лицейскую элегию:*

*Была пора: наш праздник молодой...*

*...Жизнь завершала свой круг. Гранитный петербургский свод сомкнулся над головой.*

*Дальше дорога шла на Черную речку.*

---

## „Снова тучи падо мною...“



Весна 1827 года застала Пушкина в Москве. За долгие месяцы, проведенные здесь, он привык к непогоде и даже томительному ночному одиночеству. Казалось, зиме не будет конца. Когда же в обрывках свинцовых туч неожиданно блеснуло солнце и повеяло теплом, он не обрадовался приходу весны, такому внезапному и даже как будто ненужному...

В один из таких дней в рабочей тетради поэта (той, что хранила, может быть, самые сокровенные, самые опасные «тайны письма» и среди них — заветный рисунок виселиц с пятью повешенными и с загадочной строкой «И я бы мог, как шут...») появился черновой набросок, скорее даже лирический фрагмент:

Весна, весна, пора любви,  
Как тяжко мне твое явленье.

Позднее в переработанном виде он войдет в VII главу «Евгения Онегина». Никогда прежде поэт, не любивший этого времени года, не писал о весне с такой обнаженной откровенностью. Ликующая красота обновленной природы лишь усиливала тяжкий мрак души, ей более гармонировали бы ночной холод и непогода:

Отдайте мне метель и вьюгу  
И зимний долгий мрак ночей.

На лирических признаниях автора — налет тягостных дум о «буре», только что пронесшейся над Россией, смяв-

шей многие человеческие судьбы и породившей трагическое ощущение своего одиночества после безвозвратной потери «друзей, братьев, товарищей»: недаром, едва набросав стихи о весне, поэт тут же начинает новое стихотворение «Как бурею пловец» — первый подступ к будущему «Ариону». Мысль поэта настойчиво возвращается к светлым и далеким воспоминаниям юности, но воображение безжалостно рисует картины недавних «мятежей и казней».

Начало весны разомкнуло этот трагический круг и заставило Пушкина прервать, наконец, затянувшееся затворничество. Поэта давно ждали в Петербурге: ждали друзья и близкие, знакомые и незнакомые, читатели и почитатели, поклонники и поклонницы его музыки.

Заждались его и родные. Еще в январе няня Арина Родионовна, побывав в Петербурге, спешила известить своего любимца: «И об вас ни кто — не может знать где вы находитесь йтвоние родители, овас соболезнуют что вы к ним неприедете». Она не догадывалась (может быть, по душевной доброте радея за всех сразу), что Пушкин, видимо, и откладывал свой приезд в Петербург из-за давней михайловской ссоры с родителями, точнее с отцом, почти полностью прервавшим отношения с опальным сыном. В Москве до Пушкина доходили (не могли не доходить!) разговоры общительного Сергея Львовича о непочтительности и «неблагодарности» сына, не слишком спешившего в его объятия и не ценившего родительских забот.

Осенью 1826 года в самый разгар московских триумфов поэта тайная полиция перлюстрировала письмо С. Л. Пушкина, адресованное московскому родственнику (мужу сестры) М. М. Солнцеву с жалобами на сына: «Он совершенно убежден, что просить прощения у него должен я, но он прибавляет, что если бы я и решился это сделать, то он скорее выпрыгнул бы через

окошко, чем дал мне прощение». В сетованиях Сергея Львовича III отделение усматривало лишнее доказательство «дурной нравственности» Пушкина и необходимости контроля за его поведением.

Как бы то ни было, но именно весной 1827 года наметились пути к примирению. Кто знает, может быть, бесхитростные, по-житейски мудрые нянины слова о «соболезнующих» матери и отце смягчили ожесточение Пушкина, решившегося, наконец, на встречу с «дражайшими родителями» (как шутливо именует он их в письме к брату). Сыграли свою роль «заступники» поэта Александр Тургенев и Жуковский, уговаривавшие Сергея Львовича «стать выше» своих родительских претензий, и тригорские друзья, которые действовали через Дельвига и А. П. Керн, друживших в Петербурге с родными поэта. Появления Пушкина в столице настоятельно требовали и издатели его сочинений, и в первую очередь — П. А. Плетнев.

24 апреля Пушкин обратился к Бенкендорфу с официальным прошением: «Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге: приемлю смелость просить на сие разрешения у Вашего превосходительства» — и почти без промедления получил положительный ответ. Позволяя Пушкину въезд в столицу, Николай I через Бенкендорфа, в свойственной последнему утонченно-учтивой, а потому особенно унижительной форме, напоминал поэту о его прежней «неблагонадежности» и выражал надежду, что данное им, «русским дворянином», «государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано». Пушкин уже не в первый раз получал подобные наставления и «отеческие» увещевания от шефа жандармов. Еще не были забыты строгие запросы Бенкендорфа о публичных чтениях «Бориса Годунова» в некоторых московских домах и неодобрительные отзывы царя о порученной поэту записке «О народном воспитании».

Однако последнее письмо Бенкендорфа затрагивало достоинство Пушкина как дворянина и честного человека и потому больно уязвило поэта.

Пребывание Пушкина в Москве завершилось при явном спаде внимания и интереса к нему со стороны публики: превратно истолкованные как панегирик царю «Стансы» («В надежде славы и добра...») породили в обществе кривотолки, обвинения в открытой лести и даже упреки в измене прежним вольнолюбивым идеалам. Это было, может быть, самым обидным, самым несправедливым из всего того, с чем столкнулся поэт в первые последекабрьские годы. Наиболее пронизательные современники поэта не верили этому, друзья старались, как могли, поддержать и успокоить его, между тем как московское светское общество, еще недавно рукоплескавшее прославленному поэту в театре и на публичных гуляниях, начинало сторониться и избегать его. «Москва неблагородно поступила с Пушкиным, — писал С. П. Шевырев, — после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве, наущничестве и шпионстве перед государем. Это и было причиной, что он оставил Москву». И не просто оставил, а уехал в мрачном, подавленном состоянии, о чем, смакуя подробности, писал недоброжелательно настроенный к Пушкину Ксенофонт Полевой, участник прощального вечера, организованного московскими почитателями поэта. «Местом общего сборища для проводин была назначена дача С. А. Соболевского, близ Петровского дворца, — сообщает мемуарист. — Уже поданы были свечи, когда он [Пушкин] явился, рассеянный, невеселый, говорил не улыбаясь (что всегда показывало у него дурное расположение) и тотчас после ужина заторопился ехать. Коляска его была подана, и он, почти не сказавши никому ласкового слова, укатил в темноте ночи».

Накануне своего отъезда, 16 мая 1827 года, Пушкин обратился с шутивными стихами («В отдалении от вас...») к живой и умной Екатерине Ушаковой (увлечение ею постепенно перерастало в спокойную и прочную дружескую привязанность):

Вы ж вздохнете ль обо мне,  
Если буду я повешен?

Этот неожиданный и далеко не смешной конец невольно обнаруживал то, что тревожило и мучило поэта вот уже несколько месяцев: затаенные мысли о своей близости к декабристам, известной правительству, и о том, что лишь случайное стечение обстоятельств позволило ему избежать общей с ними участи, а может быть, и казни.

События последних месяцев убедили Пушкина в том, что дарованное ему императором Николаем «прощение» оказалось фикцией, лишь эффектной позой нового российского самодержца. Поэту ничего не простили, ничего не забыли: прошлое настигало его, напоминало о себе полицейскими выговорами Бенкендорфа, недоверием царя, мелочной и оскорбительной опекой официальных властей. Только самые близкие друзья (те, с кем Пушкин мог быть вполне откровенен и кто был способен понимать его душевное состояние) знали или догадывались об этом, но ничем не могли ему помочь.

Окончательно развеяло всякие иллюзии Пушкина «дело об „Андрее Шенье“», возбужденное III отделением еще летом 1826 года, но вступившее в январе 1827 года в фазу своего практического осуществления. Несмотря на очевидную непричастность автора к распространению в списках отрывка из этой исторической элегии, не пропущенного цензурой и озаглавленного «На 14 декабря», московский обер-полицеймейстер А. С. Шульгин потребовал у Пушкина письменного объяснения, «им ли сочинены известные стихи, когда, с какой целью они сочинены...

и кому от него сии стихи переданы». Убедительные и недвусмысленные ответы поэта (позднее, при повторных допросах, найденные «дерзкими») не удовлетворили тех, кому было поручено допросить его. «Делу» был дан дальнейший ход, и Пушкин понял, что он все еще «не ушел от жандарма»...

С этими мыслями Пушкин покинул Москву вечером 19 мая, с ними же на рассвете 24 мая он прибыл в Петербург, где ему предстояла встреча не только с родными и близкими, не только с городом его юности и вольнолюбивых надежд, но и с теми местами, где разыгралась великая историческая трагедия 14 декабря 1825 года.

Остановился Пушкин в Демутовом трактире, но первые дни почти целиком провел в доме родителей. Здесь же отпраздновали его именины. Встреча с близкими настолько обрадовала поэта, что как-то сразу были преданы забвению и прощены старые обиды. «Он явился таким примерным сыном, что я и не ожидал», — писал в Тригорское Дельвиг, первым из друзей обнявший Пушкина после семилетней разлуки.

Молоденькой и привлекательной жене Дельвига Софье Михайловне не терпелось поделиться с подругами своими впечатлениями от этой встречи, а главное — от общения со «знаменитым Пушкиным». «Я познакомилась с Александром, — он приехал вчера, и мы провели с ним день у его родителей, — пишет она А. Н. Семеновой 25 мая 1827 года. — Надобно было видеть радость матери Пушкина: она плакала, как ребенок, и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе, — я думала, что их объятиям не будет конца». «Его приезд, — вторит ей Дельвиг в письме к П. А. Осиповой, — обрадовал меня и Сониньку. Она до слез была обрадована, я — до головной боли».

Дельвиг был не просто товарищем детства, а единомышленником, собратом по перу, человеком высочайших



правственных достоинств, тонким ценителем и знатоком всяческих искусств и удивительным, несравненным поэтом. До своего отъезда из Петербурга в Ревель на летний отдых 2 июня (куда он направлялся вместе с родными поэта), Дельвиг почти ни одного дня не провел без Пушкина. Друзья не могли наговориться, и темы их дружеских бесед были разнообразны, обширны и значительны, а разговоры искренни и откровенны. Дошли ли до нас сведения о содержании этих бесед? Ответить на этот вопрос непросто, потому что собеседники не оставили прямых свидетельств, в особенности «ленивец» Дельвиг, не слишком утруждавший себя письмами и не писавший дневников. Да и Пушкин, часто вспоминавший впоследствии о своем общении с Дельвигом, почему-то совсем не коснулся обстоятельств своей первой декабрьской встречи с ним — пожалуй, самой важной в их дружеском общении. А может быть, не захотел коснуться?

Встречи с Дельвигом были для Пушкина особенно важными еще и потому, что он был одним из немногих очевидцев казни декабристов (из числа знакомых поэта на ней присутствовали также близкий к декабристам Н. В. Путята и, конечно же, вездесущий журналист и сочинитель Н. И. Греч). Вне всякого сомнения потрясенный, как и другие очевидцы, кровавым деянием властей, Дельвиг дополнил уже известное новыми деталями, выразительными штрихами. (Не с его ли слов написал Пушкину о «лютых подробностях» казни в конце июля 1826 года Вяземский?) Неподражаемому дару Дельвига-рассказчика Пушкин не переставал удивляться всю жизнь. Скорее всего, именно в этих беседах неясные и неустоявшиеся поэтические замыслы поэта обрели вдруг «плоть и кровь». Задуманное год тому назад осуществилось летом 1827 года, и почти все написанное в это время имеет отчетливо выраженную декабристскую окраску. Это в первую очередь относится к «Ари-

ону», приуроченному к первой годовщине со дня казни (авторская дата — 16 июля 1827 года). Текст этого произведения в рукописях поэта соседствует со стихами, прямо обращенными к Дельвигу, с посланием к нему — «Череп» — о его предке, прибалтийском бароне. Продолжая работу над этим посланием, Пушкин записывает новые строфы непосредственно за стихами, посвященными Кипренскому.

Успевший незадолго до своего отъезда из Петербурга свести художника и его «модель», Дельвиг ввел Пушкина в самую гущу культурной жизни Петербурга. На выставке произведений русских художников в доме Таля на Невском видел их вместе в самом начале июня А. С. Андреев, до мельчайших подробностей запомнивший разговор друзей об «Итальянском полдне» Брюллова, их глубокие суждения о характере современной живописи. Изысканный вкус и тонкое понимание произведений искусства в сочетании с высокой требовательностью позволили Дельвигу стать, что называется, «своим» в среде художников и артистов. Для Пушкина он неизменно оставался «художников друг и советник».

Едва приехав в Петербург, поэт сразу договорился с Дельвигом о чтении у него на квартире «Бориса Годунова». В свою очередь, Дельвиг, издатель лучшего русского альманаха «Северные цветы», советовался с Пушкиным о составе своего издания. Есть основания полагать, что в самом отборе материалов сказались и эти советы, и общие для друзей декабристские симпатии. В «Северных цветах на 1828 год» Дельвиг анонимно напечатал отрывок из «Партизан» казенного Рылеева и ряд произведений сосланного в Петрозаводск Ф. Глики. (Позднее подобным материалам он широко предоставлял и страницы «Литературной газеты».) Открылся альманах «Северные цветы» портретом Пушкина, выполненным с оригинала О. Кипренского гравером Н. Уткиным.

С. М. Дельвиг, продолжая свою переписку с А. Н. Семеновой, послала ей альманах, добавляя при этом: «Вот тебе наш милый, добрый Пушкин, полюби его. Рекомендую тебе его. Его портрет положительно похож, как будто бы видишь его самого». Возвышенно-благородным, одухотворенным увидела Россия своего первого поэта и поразилась той перемене, которая за годы выпавших на его долю испытаний произошла даже в его внешнем облике: если на гравюре Гейтмана, открывающей отдельное издание «Кавказского пленника», поэт выглядит беззаботным, доверчивым и по-юношески открытым, то теперь в его глазах затаенная грусть, взгляд задумчив и сосредоточен. Это новое выражение его лица уловили наиболее проницательные современники поэта, например Ф. Глинка, не видевший Пушкина со времени далеких петербургских лет. «Нет той веселости,— писал он Пушкину по поводу гравюры Уткина,— которую я помню в лице Вашем. Ужели это следствие печалей жизни?»

Чета Дельвигов дружна не только с родителями Пушкина. В тесной квартирке друзей поэта на углу Загородного проспекта и Владимирской площади почти ежедневно бывала Анна Петровна Керн.

Пушкин увидел ее впервые в 1819 году. По-девически застенчивая, она была смущена дерзкими взглядами и смелыми репликами незнакомого ей юноши. Пройдет еще немного времени, и молоденькая «генеральша» сама будет смущать многих своей красотой и удивлять смелыми поступками. Только вдали от Петербурга, в затхлой обстановке тяготившей ее провинциальной армейской жизни она познакомится с произведениями Пушкина и окажется в состоянии оценить истинное значение своей встречи с ним.

Летом 1825 года Анна Петровна приехала погостить в Тригорское к своей тетушке, Прасковье Александровне Осиповой, и снова встретила здесь с Пушкиным.

Бурное увлечение А. П. Керн отразилось в обращенных к ней лирических стихах «К \*\*\* (Я помню чудное мгновенье...)». То снова вспыхивая, то постепенно угасая, оно сменилось доверительной дружбой.

Анна Петровна, разъехавшись с мужем (генералом Е. Ф. Керном), жила в столице. В мае 1827 года она одной из первых приветствовала вернувшегося в Петербург поэта. Встречались они также в доме старших Пушкиных. Пушкин бывал запросто и у нее. Пережив немало увлечений и разочарований, Керн заботливо и внимательно относилась к поэту, хотя, по-видимому, не испытывала к нему страстных чувств. У Пушкина, пережившего «свой желанья» и «мечты», нет-нет да и вспыхнет прежняя нежность, напоминающая о его пылком любовном порыве, но постепенно угаснет, не вызвав былого отзвука. Новые, петербургские стихи, обращенные к Керн, слегка ироничны и грациозно шутливы:

Я ехал к Вам: живые сны  
За мной вились толпой игривой...

О своем общении с Пушкиным, оставившим незабываемый след в ее жизни, Керн живо и ярко рассказала в своих мемуарах. Подробно, с тонкой наблюдательностью и юмором описала она в них и свою первую встречу с поэтом в доме Олениных...

Более двух месяцев провел Пушкин в столице: в конце июля 1827 года он уехал в Михайловское и только осенью вернулся в Петербург.

Едва Пушкин в 1827 году снова появился в столице, как в канцелярию III отделения стали поступать донесения тайных агентов: правительство продолжало контролировать каждый его шаг. «Поэт Пушкин здесь,— общается в сводке агентурных сведений за октябрь 1827 года.— Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактирам, кормит и поит за свой счет.

Соболевского прозвали брюхом Пушкина. Впрочем, сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом».

Тайные агенты по роду своей службы внимательно наблюдали за поэтом, обстоятельно описывали его поступки, доносили о сказанных им словах, передавали его реплики, а педантичный и старательный М. Я. Фон-Фок (начальник канцелярии III отделения) тщательно изучал и систематизировал собранные ими сведения, составлял доклады и отчеты, на основании которых складывалось мнение о Пушкине у Бенкендорфа и Николая I. Отражая оттенки «высочайших» настроений в отношении Пушкина, великосветское общество (осенью 1827 года поэт найдет для него емкую и точную характеристику — «светская чернь») будет то приближать к себе, то сторониться поэта, внутренне оставаясь ему чуждым. В равнодушной и враждебной разногласии личность и повседневная жизнь поэта, искажаясь как в кривом зеркале, получала неверное освещение. По ним никак нельзя судить о Пушкине, но они выразительно характеризуют ту обстановку, в которой оказался поэт по приезде в Петербург.

Многим из знавших его в молодые годы бросилась в глаза перемена в характере и поведении Пушкина: прежняя пылкость в изъявлении настроений и чувств, импульсивность мгновенных эмоциональных реакций сменились сдержанностью, строгим самоконтролем. В официальном Петербурге склонны были одобрить подобную метаморфозу, увидев в ней «исправление» прежнего вольнодумца. На этом настаивал Фон-Фок: «Поэт Пушкин ведет себя отлично хорошо в политическом отношении, Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан жизнью». Доволен, наконец, и Бенкендорф: на записке Фон-Фока — карандашная помета его руки: «Приказать ему явиться ко мне завтра в 3 часа» (словно за наградой за примерное поведение!).

Осенью 1827 года у Пушкина не случилось почти ни одного «недоразумения» с правительством. Даже Фаддею Булгарину, вступившему в тесное сотрудничество с III отделением, особенно не к чему было придрататься: «Другой человек, как мне его описывали и каковым он прежде был на самом деле,— передает он свои впечатления от личного знакомства с Пушкиным.— Скромнен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе». Поэт тоже подчеркнуто любезно обращался с издателем «Северной пчелы». Принимая приглашение на обед, спешил заверить его: «Дельвиг и я непременно явимся к Вам с повинным желудком сегодня в 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часа. Голова и сердце мое давно Ваши».

На публике за поэтом следили сотни внимательных глаз, и это обязывало к осторожности и осмотрительности. Пушкин избегал резких суждений и острых споров на щекотливые темы, демонстративно подчеркивал свою приверженность к устоявшемуся порядку вещей, с похвалой отзывался о новом императоре. Но это не перемена образа мыслей, а лишь смена тактики. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости», — пообещал он Жуковскому из Михайловского еще в марте 1826 года. На первых порах это ему почти удавалось: срывы, подобные случаю с Кюхельбекером, не столь уж часты, но они-то и мешают поверить вполне в искренность «верноподданнических чувств» поэта, тем более что поступали и новые, тревожные сигналы. «Пушкин! известный уже, сочинитель! который, невзирая на благосклонность государя! Много уж выпустил своих сочинений! как стихами, так и прозой!! колких для правительствующих даже, к государю! Имеет знакомство с Жулковским!! у которого бывает почти ежедневно!!!» Это не служебное донесение, это крик раболепствующей души, но ничего особенно крамольного этот малограмот-

ный осведомитель сообщить о Пушкине не мог, разве только поставить в известность о тесных контактах Пушкина с Жуковским, возвратившимся из-за границы осенью 1827 года. Об официальной должности «Жуковского» — наставника наследника — агенту ничего не известно, о «колких» сочинениях Пушкина он знает понаслышке и может назвать только одно сочинение «Таня» (имеется в виду «Евгений Онегин»). Позднее правительству покажутся предосудительными и связи Жуковского.

Опасения начинают внушать и участвовавшие визиты Пушкина к Е. И. Голицыной, которая, как сообщает подосланная к ней Е. Хотьинцева, «весь день спит, целую ночь пишет бумаги и прячет их в сундук, стоящий в ее спальне». Доносчице хотелось бы заглянуть в этот сундук, но она вынуждена довольствоваться подобранным где-то листком с записанными Голицыной фамилиями ее знакомых (очевидно, это список гостей, которых княгиня собиралась пригласить к себе, в их числе — Вяземский и Пушкин). Полиция следила за любителями карточной игры: их сборища казались подозрительными, и знакомства Пушкина в этой среде тщательно проверялись.

Петербургские дома, принадлежавшие высшей столичной знати, оставались за пределами тайного надзора за поэтом, и здесь на первый план выступили совсем иные свидетели: светские дамы, не чуждые интереса к литературе, молодые приятели Пушкина из числа тех, кто «в напрасной скуке тратит судьбой отсчитанные дни», завсегдатаи аристократических салонов и гостиных. Человека, удостоенного «милостей» государя, приглашали к себе даже видные сановники, и Пушкин не мог пожаловаться на равнодушие к нему петербургской знати. Общаясь с нею, поэт наблюдал, вспоминал высший свет времен своей ранней юности, сравнивал его с нынешним, любовался ослепительной красотой знаменитых петербургских «львиц» Е. М. Завадовской, М. А. Мусиной-

Пушкиной, А. Ф. Закревской, всматривался в их прекрасные лица и старался понять их души. Когда это ему удавалось, появлялись стихи, исполненные глубокого и тонкого психологизма, такие, как знаменитый цикл, посвященный А. Ф. Закревской («Портрет», «Наперсник» и др.). Идет глубокая, скрытая от посторонних глаз внутренняя работа, результаты которой скажутся и в многочисленных прозаических замыслах («Роман в письмах», «Мы проводили вечер на даче...» и др.), и в особенности в тех картинах великосветского Петербурга, которые войдут в последнюю, VIII главу «Онегина».

Зимний сезон 1827/28 года выдался особенно блестящим. Балы, рауты, приемы следовали один за другим, «в угодность двору,— как писал Вяземский,— который дал знак к веселиям». После пережитого всей Россией оцепенения 1826 года общество словно торопилось наверстать упущенное; в Петербурге развлекались, стараясь не вспоминать о недавних трагических событиях. «Веселились даже семьи тех, кто отбывал каторгу и ссылку в Сибири»,— с печалью отметит Вяземский.

Общие беды еще теснее сплотили друзей-литераторов. К весне 1828 года в столице собрались многие из тех, кто «уцелел от общей бури», но кого она, однако, не обошла стороной: постоянно внушавший правительству опасения и подозрения Вяземский, польский поэт Адам Мицкевич (тоже из гонимых) и привлеченный к следствию, но выпущенный по недостатку улик Грибоедов. Он, правда, прибыл в Петербург с почетной миссией — привез выгоднейший для России Туркманчайский договор, заключением которого завершилась война Персии с Россией. В ожидании «высочайшего» решения своей дальнейшей судьбы (вынося которое дипломату не забудут его декабристского прошлого) Грибоедов поселился «у Демута», а значит, по соседству с Пушкиным. Здесь состоялась еще одна встреча поэта со своей прежней петербургской молодостью, напомнившая об ожесточенных лите-



ратурных схватках тех лет, спорах на «чердаке» Шаховского, о театральных увлечениях, о пылких юношеских заблуждениях. Позднее Пушкин вспомнит об этом славном времени: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества,— все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан, даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении».

Теперь все переменялось. Пришло признание: комедия «Горе от ума», не увидевшая при жизни автора света рампы, недозволенная в полном виде к печати, в сотнях рукописных списков разошлась по России и снискала его творцу громкую известность. «О стихах я не говорю,— пророчил Пушкин еще в январе 1825 года, восхищаясь языком комедии,— половина — должны войти в поговорку».

Блестящие способности дипломата развернулись в полной мере при заключении Туркманчайского мира, открывая Грибоедову большие служебные перспективы. Чего еще оставалось желать «государственному человеку»? Покровительство любимца Николая I — командовавшего отдельным кавказским корпусом И. Ф. Паскевича — обеспечивало защиту от новых притеснений, неизбежных при его независимом нраве. Но что-то угнетало и беспокоило окруженного всеобщим вниманием Грибоедова. Для него тоже не прошли бесследно потрясения последних лет: тревожные ожидания, арест, обыск, петербургские допросы, освобождение, возвращение на Кавказ, падение Ермолова, Паскевич... Почести его не привлекали, суета светской жизни оставляла равнодушным. Его радуют дружеские встречи, общение с близки-

ми по духу людьми — с ними он по-прежнему открыт и пылок, при малейшем раздражении «вскидывается», спорит умно, горячо, дельно. «Есть в нем что-то дикое, — заметил Вяземский. — Пушкин тоже полудикий в самомлюбии своем, и в разговоре, в спорах были у него шибки забавные». Только теперь эти споры все чаще обрачиваются согласием: знаменитым тезкам есть о чем откровенно поговорить, есть, что вспомнить! Прежняя настороженность в отношениях сменяется взаимопониманием, нарастающей близостью. Объединяет их и общество друзей-собеседников — Крылова, Жуковского, Вяземского.

Весной 1828 года в Петербурге собралось целое созвездие прославленных писателей-современников. В тесном, почти каждодневном общении их между собой рождается какое-то новое по своим формам литературное содружество — без уставов и регулярных заседаний, протоколов и манифестов (у Николая I, которому все чаще мерещатся заговоры и тайные союзы, все это не встретило бы поддержки и сочувствия). Основой сближения становятся общность в понимании характера и целей литературы в резко пережившейся политической ситуации, поиски новых путей воздействия на общественное мнение. Декабрьская катастрофа выявила истинный масштаб прежних разногласий и споров. Былые противники, участники враждовавших группировок оказываются теперь под одними знаменами. Трагические события недавних лет наложили свой отпечаток на запальчивые суждения молодости, сгладили взаимные «неудовольствия» и групповые пристрастия. «Неодобрение» младших старшими уступило место большей терпимости, да и сами «младшие» повзрослели и созрели.

Еще в 1824 году Жуковский по праву старшинства предлагал Пушкину первенство на русском Парнасе. Теперь оно очевидно для всех: к Пушкину потянулись все жизнеспособные, набирающие мощь силы русской лите-

ратуры — Е. Баратынский, А. Погорельский, В. Одоевский, Н. Гоголь. Пушкинисты до сих пор ищут для этого объединения точную формулу, называя его и «пушкинской плеядой» и «пушкинским лагерем» в литературе, но чаще всего определяют как «пушкинский круг писателей». Круг этот замыкался Дельвигом, который привлек к сотрудничеству в «Северных цветах» «перебежчика» из лагеря «противников» О. Сомова.

Домосед по натуре, не любивший рассеянности большого света и предпочитавший ему свои уютные домашние вечера или же пестрые «сборища» литературной братии, Дельвиг был настоящим профессионалом, острым полемистом, следившим за всеми критическими баталиями, редактором, издателем и даже покровителем молодых талантов. Именно он связывал пушкинский круг с массовой «петербургской словесностью», периферией большой литературы, и уже это одно позволяет полностью отвести упреки в кастовой замкнутости пушкинского круга, которые уже проскальзывали в печати. Впрочем, настоящие литературные бои были еще впереди, они разразятся в 1830 году, когда при содействии Жуковского Дельвигу удастся добиться разрешения на издание «Литературной газеты» — печатного органа пушкинского круга писателей.

В начале 1828 года Россия была накануне новой войны: предстояло решить давний, еще с петровских времен, спор с Оттоманской портой. Эпоха Петра I все чаще стала тревожить творческое воображение Пушкина. Нынешняя российская жизнь развивается как будто по программе, начертанной в пушкинских «Стансах» и «Друзьям». Начало петровского царствования тоже «мрачили мятежи и казни». Новый монарх беспощаден и жесток к своим противникам, по-петровски крут в своих поступках, но деятелен и энергичен:

Россию вдруг он оживил  
Войной, надеждами, трудами.

Поостывшие было за последний год надежды снова оживились, порождая новые иллюзии. Отвечая на упреки в лести монарху, поэт восклицает:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:  
Он горе на царя назовет,  
Он из его державных прав  
Одну лишь милость ограничит.

Обращение к «друзьям», «братьям» (добавим — «товарищам») позволяет думать, что стихотворение адресовано не только близким друзьям, но и далеким сибирским узникам. Именно в этом состоит смысл центрального в стихотворении мотива милосердия. Надежды на милосердие монарха к осужденным декабристам — самая стойкая и самая большая из иллюзий Пушкина, и не только его одного, но и всего русского общества. В Петербурге из уст в уста передавали за верное о поведении Николая I после свершения казни: «...Сказывают, что он прослезился, когда донесли ему о свершении казни над пятерыми злоумышленниками, поставленными вне разрядов. На другой день, т. е. 13 ч<исла>, четыре раза присылал он к несчастной вдове Рылеева чиновника, которому сам дал нужные по сему случаю наставления. Когда взяли мужа ее, давно уже приговоренного родною матерью и бабушкою к виселице, то государыня Александра Федоровна прислала ей 3 т<ис.> р. и приказала сказать, чтобы в случае какой нужды обращалась она прямо к ней. На другой день казни государь послал к Рылеевой еще 3 т<ис.> р. и сказал чиновнику: «Ты, братец, отдай деньги не ей самой, а кому-нибудь из ближних». Платят за нее казенные и партикулярные долги, всего 8 т<ис.> р., отправляют ее на казенный счет к матери, и малютку дочь ее возьмут для воспитания в казенное заведение, когда решится она расстаться с нею...» Получается почти совсем по-пушкински:

Тому, кого карает явно,  
Он втайне милости творит.

Впрочем, «милости» монарха на себе поэт уже испытал, но ему хотелось верить, что виной тому те, кто окружает императорский трон, и он предостерегает Николая:

Бедя стране, где раб и льстец  
Одни приближены к престолу,  
А небом избранный певец  
Молчит, потупя очи долу.

Прочитав и одоблив стихи, Николай I все же не разрешил их напечатать: поэту не следует публично поучать монарха.

1828 год стал для Пушкина годом больших ожиданий. И хотя праздность петербургской жизни начинала все более тяготить его («Жизнь эта, признаться, довольно пустая»,— напишет он Осиповой 24 января), но общее оживление захватывает и его, побуждает к переменам и действиям.

Весной этого года Пушкин был озабочен тем, что на его настойчивые просьбы о разрешении определиться в действующую армию все еще не пришло окончательного ответа. В марте 1828 года он напомнил Бенкендорфу о «своем будущем назначении» как о деле, почти решенном. Беседы с приехавшим с Кавказа Грибоедовым укрепили намерение поэта покинуть столицу. «Шум и суетолака Петербурга мне стали совершенно чужды — я с трудом переносу их»,— жаловался он П. А. Осиповой. Поэт явно тяготился пустотой и никчемностью столичной жизни и горел желанием «так или иначе изменить ее». В этом с ним полностью соглашался Вяземский, также решивший податься поближе к театру военных действий. По совету приятеля своего П. Д. Киселева он обратился к Бенкендорфу с просьбой прикомандировать его к Главной императорской квартире на Дунае.

Пушкина и Вяземского манит слава Отечества, которая решается сейчас на полях сражений. 15 апреля Жуковский сообщил за границу А. А. Воейковой: «Вчера вышел манифест о войне. Пушкин взят и едет в армию „Тиртеем начинающейся войны”». По городу ходили настойчивые слухи, что Бенкендорф обещал Пушкину разрешение поехать в действующую армию при том условии, что поэт определится на «службу в III отделении».

Правительство по-прежнему опасалось влияния поэтов-«либералистов» на молодое офицерство. Великий князь Михаил Павлович глубоко сомневался в том, что «Пушкин и князь Вяземский действительно руководствовались желанием служить его величеству, как верные подданные... Они так заявили себя и так нравственно испорчены, что не могли питать столь благородного чувства». Он заверял Бенкендорфа, «...что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим удобством своих безнравственных принципов». Репутация Пушкина и недоверие властей предопределили судьбу его прошения. Но поэт еще надеялся. 18 апреля у Бенкендорфа Пушкина не приняли и не позволили дожидаться приема. На письмо Пушкина Бенкендорф дал немедленный ответ: «...его императорское величество, приняв весьма благосклонно готовность Вашу быть полезным в службе его, высочайше повелеть мне изволил уведомить Вас, что он не может Вас определить в армии, поелику все места в оной заняты и ежедневно случаются отказы на просьбы желающих определиться в оной».

Почти в тех же выражениях и в тот же день Бенкендорф отказал и Вяземскому. Возмущение последнего не знало границ. Оно выливается в строки горячего, взволнованного письма к жене. «Можно подумать,— горько иронизирует он,— что я просил командования каким-нибудь отрядом, корпусом или по крайней мере дивизией в действующей армии». Достается от него и Бенкендор-

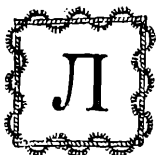
фу: «Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах и в биографических словарях все-таки имечко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича будет забыто, ибо, вероятно, Россия не воздвигнет никогда Пантеона жандармов».

Получив отказ, друзья не сдали своих позиций: если нельзя в армию, где «все места» заняты, то, вероятно, можно за границу — в Лондон, Париж и другие европейские столицы. Мгновенно созрел новый план. 21 апреля (почти сразу после получения письма от шефа жандармов) Вяземский и Пушкин посетили Жуковского и вместе с Грибоедовым и Крыловым «сговорились пуститься на этот европейский набег». В связи с этим Пушкин снова обратился к Бенкендорфу: «Так как следующие 6 или 7 месяцев (поэт имеет в виду весенние и летние месяцы, когда ему не слишком писалось.— *Авт.*) остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже». О впечатлении, которое произвела эта просьба на Бенкендорфа, сообщает чиновник III отделения (с симпатией относившийся к Пушкину) А. Ивановский. Отправляясь 23 апреля в Зимний дворец, шеф жандармов отдал Ивановскому письмо Пушкина, добавив при этом следующее: «Ведь ты, топ chege, хорошо знаком с Пушкиным? Он заболел от отказа в определении его в армию и вот теперь чего захотел... Пожалуйста, повидайся с ним; постарайся успокоить его и скажи, что он сам, размыслив получше, не одобрит своего желания, о котором я не хочу доводить до сведения государя».

Побывав у Пушкина в гостинице Демута, А. Ивановский застал поэта нездоровым, впавшим в раздражение. На вопрос, действительно ли его болезнь вызвана отказом «в определении в Турецкую армию», поэт прямо ответил: «Да, этот отказ имеет для меня обширный и тяжкий смысл». Для Пушкина — это проявление недоверия, подозрительности, новая попытка регламентировать его

жизнь, навязать ему удобный для высочайшего контроля образ жизни. Душевное беспокойство отодвигает на неопределенный срок осуществление творческих замыслов. К работе над ними поэт вернется лишь осенью.

„Бог помочь вам, друзья мои...“



лицейскую годовщину 1825 года Пушкин праздновал один, в Михайловской ссылке.

Друзья мои, прекрасен наш союз!  
Он как душа неразделим и вечен, —

писал он в своем первом стихотворении, посвященном 19 октября, дню, когда был открыт Лицей и когда под сводами дворцового флигеля прзвучала надолго запомнившаяся речь профессора А. П. Куницына. «Настанет время, когда отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо», — говорил Куницын. Идея служения на благо общества жила в сознании многих сокурсников Пушкина и после окончания Лицея. Старик Малиновский в письме к Горчакову по поводу 50-летия Лицея предлагает всем оставшимся в живых дать отчет о своей жизни. Как свое *credo* он цитирует строки из «Прощальной песни» Дельвига, написанной перед выпуском. Слова лицейского гимна переплетаются в его письме со стихами пушкинских лицейских «годовщин».

Дельвиг призывал товарищей:

Храните, о друзья, храните  
Ту ж дружбу с тою же душой,  
То ж к славе сильное стремленье,  
То ж правде — да, неправде — нет,  
В несчастьи — гордое терпенье,  
И в счастье — всем равно привет!

«Гордое терпенье» из лицейского гимна перейдет потом в послание Пушкина декабристам.



Призыв хранить дружбу звучит в стихах Дельвига как клятва на верность лицейским идеалам. Эта клятва выдержала проверку временем.

В 1820 году (после доноса) начался усиленный надзор за Лицеем, а затем и полный разгром системы лицейского воспитания и образования. В 1823 году был уволен в отставку директор Е. А. Энгельгардт. Годовщины Лицея стали теперь фактором общественной жизни. Правительство стремилось к искоренению «лицейского духа»; годовщины были демонстрацией его живучести.

Обычай вспоминать день открытия Лицея общей дружеской встречей, по-видимому, установился у первых выпускников сразу после его окончания — в 1817 году. На этих первых встречах, несомненно, бывал и Пушкин, до того как в мае 1820 года его выслали из Петербурга. С первых лет выработался и ритуал празднования, почти обязательный для всех последующих годовщин. Это были вечера воспоминаний и дружеской переключки. Детали этих вечеров отражены в письмах Энгельгардта и первых выпускников, в «протоколах» годовщин, которые собирал хранитель лицейских преданий и устроитель сходок М. Л. Яковлев.

День 14 декабря 1825 года расколол общество на два лагеря — сочувствующих и осуждающих. Из бывших лицейцев двое — И. И. Пущин и В. К. Кюхельбекер — были объявлены «государственными преступниками», третий — В. Д. Вольховский — как «прикосновенный» к восстанию отправлен в действующую армию на Кавказ. Отсутствие трех ревностных участников годовщин не прервало традиции.

1826 год был особенно тягостен для жителей столицы. Правительство расправлялось с «бунтовщиками» — со всеми, кого сочли причастным к делу 14 декабря. Город жил страхами и слухами, надеждами, которым не суждено было сбыться. На Сенатской площади 14 де-

кабря находился и Дельвиг. Он мог видеть Кюхельбекера, который размахивал пистолетом и целился в великого князя. Мог видеть он и Пушина. Не исключено, что там же, на площади, вместе с Дельвигом был еще кто-нибудь из лицейстов первого выпуска. А свидетелем казни пятерых пришлось стать еще и Вольховскому, который получил приказ стоять на карауле во время исполнения приговора.

В традиционном строе лицейского праздника 19 октября 1826 года впервые прозвучали грустные ноты. О том, как проходил этот праздник, известно из письма Энгельгардта Вольховскому от 21 октября 1826 года. Бывший директор Лицея писал: «19 октября мы собрались у Тыркова, имеющего довольно просторную квартиру. Нас было только 11 человек (Так.— Авт.): Корф, Малиновский, Комовский, Стевен, Дельвиг, Яковлев, Илличевский, Мартынов, Тырков и я. Мы были собраны в честь 19-го октября, поминали старину, пели в *лицейской зале тишина*, пели: *они немножко гнили, позвольте доложить* и пр. Малиновский шумел, Илличевский острился и спрашивал невпопад, Яковлев паясил — но нельзя сказать, чтобы мы праздновали 19-го октября, что-то не праздновалось и веселость на все позывы не являлась». Настроение собравшихся передают и стихи Дельвига, написанные на эту годовщину:

На время омрачим  
Мы веселье, братья,  
Что мы двух друзей не зрим  
И не жмем в свои объятья.  
Нет их с нами, но в сей час  
В их сердцах пылает пламень,  
Верьте. Вятен им наш глас.  
Он проникнет твердый камень.

Дельвиг не ошибся. «Далекие» и «родные» всегда помнили лицейский день. 20 октября 1829 года Кюхельбекер писал Пушкину из Динабургской крепости: «Вчера был лицейский праздник, мы его праздновали не

вместе, но одними воспоминаниями, одними чувствами». В 1832 году Энгельгардт получил письмо от жены декабриста Розена (она была сестрой И. В. Малиновского), которое содержало просьбу Пушкина: «Передайте дружеский привет Ивана Ивановича всем верным союзу дружбы; охладевшим попеняйте. Для него собственно этот день связан с незабвенными воспоминаниями, он его чтит ежегодно памятью о всех старых товарищах, старается возможно живее представить себе быт и круг действий каждого из них. Вы согласитесь, что это довольно трудно после столь продолжительной и вероятно вечной разлуки. Воображение дополняет недостаток существенности». А 17 октября 1833 года служивший на Кавказе Вольховский в письме к Яковлеву, вспоминая товарищей, прибавлял: «Надеюсь, что получу от кого-нибудь реляцию о 19-м октября».

Мы не знаем точно, где происходило собрание 19 октября 1827 года — скорее всего, у Тыркова. Впервые после ссылки среди друзей появился Пушкин. За четыре дня до праздника, возвращаясь из Михайловского в Петербург, на станции Залазы Пушкин встретил Кюхельбекера, которого перевозили из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. На следующий день, 16 октября, в Луге он описал эту встречу: «...Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции я узнал, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?»

Под впечатлением этой встречи было написано и стихотворение на лицейскую годовщину 1827 года. Связано оно с трагическими размышлениями о судьбах декабристов.

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,

И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море  
И в мрачных пропастях земли!

В стихотворении 1827 года впервые и единственный раз прозвучала мысль о том, что лицейское братство распадается. Жизненные пути лицейстов Корфа и Пущина разошлись и дошли до крайних точек социальной шкалы: преуспевающий чиновник и политический заключенный. Эти две социальные позиции — «царская служба» и «мрачные пропасти земли» — царская каторга, отразились в строфах стихотворения. Дважды повторенное обращение «Бог помочь вам, друзья мои» — создает параллелизм в композиции. Одна и та же тема благословения развивается в обеих строфах, но в первой смысловая доминанта — «царская служба», которая не исключает и «забот жизни», и «пиров разгульной дружбы», и «сладких таинств любви». Вторая строфа соединяет образы бытия, оторванного от привычной среды и повседневных связей. «В краю чужом, в пустынном море...». Эмоциональный настрой полностью раскрывается в заключительном аккорде стихотворения — в последней строке: «И в мрачных пропастях земли!»

Каждая строчка этого удивительного стихотворения подтверждается реальными событиями жизни лицейстов первого выпуска. «В краю чужом» в это время были дипломаты Ломоносов и Горчаков, в «пустынном море» — Матюшкин, который осенью 1827 года завершал кругосветное плавание на шлюпе «Кроткий», в «мрачных пропастях земли» — Пущин и Кюхельбекер. Однако жизненные судьбы предстают здесь в обобщенном виде, как разные аспекты социально-исторического бытия.

Стихотворение потрясло присутствующих. Оно быст-

ро разошлось в копиях, и его сумели прочесть все, кому оно было адресовано. Тем, кто находился вдали от Петербурга,— Пушкину, Вольховскому и Горчакову — рассылал текст стихотворения Энгельгардт. И. Пушкин впоследствии рассказывал: «...в эту годовщину в кругу товарищей-друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они недосчитывали на лицейской сходке». От кого-то из лицейских узнал и переписал в свою тетрадь стихотворение Малиновский. Автограф до 1829 года был в руках у А. А. Корнилова. И это не случайно. Из всех присутствовавших на сходке Корнилов ближе всего стоял к «мрачным пропастьям земли». Он был заподозрен в принадлежности к делу 14 декабря и арестован, но затем выпущен за недостаточностью улик.

В 1828 году годовщина Лицея праздновалась опять у Тыркова...

Годовщины 1829 и 1830 годов проходили снова без Пушкина. Конец октября 1829 года он проводил в Михайловском, а в 1830 году холерные карантинные задержали его в Болдине (так же, в Болдине, провел он и годовщину 1833 года).

19 октября 1831 года товарищи собрались вновь, на этот раз у Яковлева. Пушкин за несколько дней до этого вернулся с женой из Царского Села в Петербург. К этому дню он написал стихотворение «Чем чаще празднует лицей...». Однако в протоколе годовщины (его вел Яковлев) записано: «Праздновали на квартире Яковлева (в казенном доме, на Литейной). Собрались: Илличевский, Корнилов, Стевен, Комовский, Данзас, Корф. Пушкин не был потому только, что не нашел квартиры». Последние два слова написаны вместо зачеркнутой фразы: «...не хотел до 19 октября увидеться с кем-либо из Лицейских товарищей 1-го выпуска». И дальше: «При заздравном кубке или заздравной чаше вспоминали певца 19 октября»:

И первую полней, друзья, полней,  
И всю до дна в честь нашего союза!  
Благослови, ликующая муза.  
Благослови! да здравствует лицей!

Подписались: Корф (дьячок Мордан), Комовский (лиса-смола), Илличевский (Олосенька), Данзас (осада Данцига). Скрепил Яковлев (паяс 200 №№)».

Объяснение Пушкина не просто отговорка. Об этом свидетельствует автограф приготовленного для годовщины стихотворения. Оно переписано набело на отдельный листок бумаги; листок сложен пополам — такой согнутый листок вполне мог уместиться в кармане сюртука, — поэт явно готовился к встрече и действительно, не найдя новой квартиры Яковлева, вернулся домой, а при встрече не только поинтересовался протоколом годовщины, но настоял, чтобы там была правильно обозначена причина его отсутствия. В глазах потомства отступником от лицейской традиции он не хотел выглядеть.

В январе 1831 года умер Дельвиг. Пушкин тяжело пережил его смерть. Дельвиг воплощал творческое начало «лицейского союза».

Готовя годовщину 1831 года, Пушкин вернулся мысленно к пережитому горю, и все стихотворение звучит как реквием по ушедшим из жизни товарищам.

Шесть мест упраздненных стоят,  
Шести друзей не узрим боле,  
Они разбросанные спят —  
Кто здесь, кто там на ратном поле,  
Кто дома, кто в земле чужой,  
Кого недуг, кого печали  
Свели во мрак земли сырой,  
И надо всеми мы рыдали.

«На ратном поле» погиб полковник С. С. Есаков, застрелившийся во время кампании 1830—1831 годов из-за потери оружия — нескольких пушек. «В земле чужой»

погребены умершие от чахотки за границей Н. А. Корсаков и П. Ф. Саврасов. «От недуга» скончались также Н. Г. Ржевский и К. Д. Костенский. «От печали» умер Дельвиг — после потрясения, вызванного грубостью и угрозами Бенкендорфа. И за всеми этими частными, единичными судьбами ушедших из жизни товарищей вторым планом стоят судьбы поколения, вступившего в жизнь в канун Отечественной войны, во время «дней Александровых прекрасного начала».

Плач о Дельвиге переходит у Пушкина в предчувствие своей скорой смерти:

И мнится, очередь за мной,  
Зовет меня мой Дельвиг милый,  
Товарищ юности живой,  
Товарищ юности унылой,  
Товарищ песен молодых,  
Пиров и чистых помышлений,  
Туда, в толпу теней родных  
Навек от нас утекший гений.

Предчувствие не обмануло поэта. Следующим из лицейств «в толпу теней родных» ушел именно он.

Последняя лицейская сходка, на которой присутствовал Пушкин, состоялась в 1836 году.

1836 год был для Лицея юбилейным. Предполагалось (это была идея Энгельгардта, поддержанная Корфом) торжественно отметить 19 октября, собрав вместе три первых выпуска. Мнение Корфа, высказанное в письме к Яковлеву, содержит подтекст, который еще раз подчеркивает политический характер лицейских сходок: «Лицейские воспоминания между всеми нами (тремя курсами.— Авт.) могут быть точно так же живы и громки, а о другом, постороннем, едва ли кто тут что и затеет, да и лета наши уже не те, чтобы опасаться иметь при нашем разговоре свидетелей». Яковлев возражал: «Пусть Егор Антонович... соединяет под свои знамена 2-й, 3-й

и прочие выпуски, и воздаст честь и хвалу существованию лицея, но пусть нас, стариков, оставит в покое».

К этому мнению решительно присоединился Пушкин: «Нечего для двадцатипятилетнего юбилея изменять старинные обычаи лицея,— написал он Яковлеву.— Это было бы худое предзнаменование, сказано, что и последний лицеист будет один праздновать 19 октября. Об этом не худо напомнить». «Худое предзнаменование» — это начало распада традиции, которое уловил Пушкин в мнении Корфа и которое вызвало раздраженный тон его записки.

В протоколе годовщины 1836 года отмечено, что «читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбекером». Старые письма Кюхельбекера в день 25-летия Лицея были прочитаны не случайно. Между двумя годовщинами — 1835 и 1836 годов — прошла еще одна — десятилетие декабрьского восстания. Кюхельбекер из крепости был отправлен на поселение. Это была одна из «милостей», оказанных Николаем I «государственным преступникам». В апреле 1836 года Пушкин получил от него письмо, а вслед за этим выговор от Бенкендорфа и требование доставить письмо в III отделение и указать, «через кого» оно было получено. Несмотря на предостережение, Пушкин ответил Кюхельбекеру (письмо это до нас не дошло) и предложил ему сотрудничать в «Современнике». Кюхельбекер послал для журнала свою поэму «Юрий и Ксения», но она была задержана III отделением.

Конечно же, о своих связях с «братом» Кюхельбекером Пушкин поделился с присутствовавшими, и его рассказ вызвал воспоминание о бывшем «Кюхле» и его письмах.

Одну из тем бесед 19 октября 1836 года мы знаем — об остальных можем только догадываться.

Перед тем как в этот день выйти из дома, Пушкин начал набрасывать черновое письмо Чаадаеву — ответ



на его «Философическое письмо». Текст его был известен поэту еще в 1831 году, но после появления в журнале оно вызвало бурную реакцию в обществе. В письме Пушкина есть такие слова: «Действительно нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

В эти дни, после письма Чаадаева, так думал не один Пушкин. «Философическое письмо» и вызванные им размышления о «нашей общественной жизни» не могли не обсуждаться на годовщине. Тем более что и стихотворение, прочитанное Пушкиным, призывало к таким разговорам:

Припомните, о други, с той поры,  
Когда наш круг судьбы соединили,  
Чему, чему свидетели мы были!  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы;  
И высились и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы,  
То гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник Лицей,  
Как царь для нас открыл чертог царицын.  
И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.  
Тогда гроза двенадцатого года  
Еще спала. Еще Наполеон  
Не испытал великого народа —  
Еще грозил и колебался он.

Последняя «годовщина» Пушкина — рассказ о том, «чему, чему свидетели мы были».

За 25 лет от основания Лицея его первые выпускники, готовые служить отечеству, стали деятелями на разных поприщах. Среди них был великий поэт, первые русские

революционеры, талантливый военачальник, известный мореплаватель, дипломаты, были и такие, которые отдавали службе отечеству свое благородство и не только хранили «ту же дружбу с тою же душой», но умели, в случае необходимости, сказать «неправде — нет». Энгельгардт писал своему постоянному корреспонденту Матюшкину о Малиновском (в это время изюмском предводителе дворянства): «У меня на днях был мужичок тамошний и говорил про Ивана Васильевича: ну душа радуется, как он там при рекрутшине стоял за бедных и грызся с богатыми и с чиновниками».

Лицейский праздник 1836 года отделяли лишь две недели от того дня, когда Пушкин получил анонимный пасквиль. Кольцо клеветы давно сжималось вокруг поэта. Душевное состояние его 19 октября 1836 года передает рассказ одного из бывших на празднике лицейстов: поэт «...извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал, при всеобщей тишине, свою удивительную строфу: Была пора: наш праздник молодой сиял, шумел и розами венчался, как слезы покатались из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван... Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину».

Последняя встреча Пушкина с некоторыми из лицейских состоялась у Яковлева, в день его именин, 8 ноября 1836 года. После обеда, когда пили шампанское, Пушкин вынул из кармана полученный им анонимный пасквиль и сказал: «Посмотрите, какую мерзость я получил». Сказав о пасквиле, он должен был сказать и о своих действиях — о вызове, посланном Дантесу. Жуковскому, который старался уладить конфликт с Геккернами, Пушкин обещал держать ход событий в тайне. Он так и поступал, сделав только два исключения: посвятил в историю с анонимным пасквилем ближайших друзей — Карамзиных и своих лицейских товарищей.

После смерти Пушкина Матюшкин писал Яковлеву из Севастополя: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев! Яковлев! Как мог ты это допустить?..» Но именно лицейские друзья, которым Пушкин раскрыл низость своих врагов, понимали, очевидно, что ход вещей неизбежно ведет к дуэли. Не случайно секундантом Пушкина был его лицейский друг Данзас. Сам поэт, уже на смертном одре, еще раз вспомнил «союз» лицейских: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пушина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать», — сказал он Данзасу.

„Я вас любил...“



есной 1828 года в рабочей тетради Пушкина появились стихи, посвященные Анне Алексеевне Олениной.

С гостеприимным домом президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина, открытым для всего образованного Петербурга, тоже связаны светлые юношеские воспоминания. Частый гость этого дома, Пушкин, конечно, не забыл удивительно уютной его обстановки, доброжелательного и умного хозяина, знатока всяческих искусств, даровитого рисовальщика и покровителя художников, и приветливую и радушную хозяйку, которая умела славно угостить всех, кто появлялся на оленинских вечерах.

Преуспевающий сановник, принадлежавший к высшим кругам петербургского общества, тонкий царедворец (Александр I высоко ценил своего «тысячеискусника»), А. Н. Оленин понимал и глубоко уважал людей искусства. В его доме они чувствовали себя свободно и непринужденно, на вечерах царила атмосфера высокого артистизма: здесь не ищут влиятельных знакомств, не

сплетничают, не играют в карты. Поэты читают стихи, дамы и «аматёры» музицируют, ставят живые картины, общество развлекается игрой в шарады.

Весной Оленины переселялись на загородную мызу, в Приютино, что неподалеку от Петербурга, а вместе с ними отправлялись на природу и старые друзья — Гнедич, Крылов. Приезжают светские знакомые, родственники, завсегдатаи дома... Они подолгу живут на оленинской даче. Летом в Приютине шумно и весело, больше свободы в отношениях, больше простора для развлечений и шуток. К осени Оленины снова возвращались в Петербург. На возобновившихся вечерах все по-старому: полноватая, несколько неряшливая фигура Крылова кажется громоздкой по контрасту со щеголеватой подтянутостью Гнедича. Одиноким друзьям Оленины заменяли семью. К ним все привыкли, своей степенностью, надежностью, постоянством они дополняют и оттеняют природную живость оленинской молодежи. Крылова, который на пять лет моложе хозяина дома, здесь воспринимают как «дедушку». Он неподражаемо читает свои басни. Одну из них, начинающуюся словами:

Осел был самых честных правил... —

Пушкин слышал у Олениных в исполнении самого почтенного автора, и это отозвалось в начальной строфе «Онегина»:

Мой дядя самых честных правил...

Общество оживляло присутствие прелестных женщин, что особенно заманчиво для юного воображения.

Незадолго до возвращения поэта в Петербург семейство Олениных из уютного особняка на Фонтанке переехало на Дворцовую набережную, в дом П. Г. Гагарина. В тревогах и суете прошедших лет оно растеряло многих своих прежних завсегдатаев и друзей. «Непостоянство судеб человеческих рассеяло приютинское общество по лицу земли, — с глубокой печалью отметил А. Н. Оле-

нин в письме к Николаю Ивановичу Гнедичу весной 1827 года,— многие лежат уже в могиле, многие влачат тягостную жизнь в дальних пределах света, а многие ближние рассеялись по разным странам».

Хотя А. Н. Оленин сумел поладить и с новым императором (свидетельство тому — быстрое продвижение по чиновничье-бюрократической лестнице), события, перечеркнувшие судьбы участников восстания, не прошли бесследно и для него. В мае 1827 года Алексей Николаевич вынужден был сознаться: «...теперешнее наше общество очень жидко стало».

Весной 1828 года у них снова появился Пушкин. Аннет Олениной двадцать лет. Пушкина она знала с самого детства, да и он, вероятно, помнил ее еще ребенком. Повзрослевшая и похорошевшая Аннет крошечным ростом, резвостью и живостью напоминала девочку-подростка. Она привлекала изяществом и грацией, а еще больше остроумием и находчивостью. Великолепная наездница, она была окружена поклонниками, вызывая их восхищение своими маленькими стройными ножками. Девушка получила прекрасное образование, тянулась к поэзии, пела, музицировала.

В мае визиты к Олениным участились. 3 мая Вяземский сообщал жене об именинах Елизаветы Марковны Олениной: «У них очень добрый дом. Мы с Пушкиным играли в кошку и мышку, то есть волочились за Зубовой-Щербатовой, сестрою покойницы Юсуповой, которая похожа на кошку, и малюткой Олениной, которая мала и резва как мышь».

Ничего, казалось бы, не предвещало чувства более серьезного и глубокого, и Вяземский продолжал острить по поводу нового увлечения своего друга: «Пушкин думает и хочет дать думать ей и другим, что он в нее влюблен», «играет влюбленного». Тонкий ценитель светского флирта, демонстративно заявлявший: «Любви я рад всегда кокетство предпочесть», Вяземский хвалит ко-

кетство Олениной и только с этой точки зрения оценивает ее отношения с Пушкиным. Впрочем, поэт не посвящал друга в свои сердечные дела, не спешил оспорить его легкомысленные суждения: свое несогласие с ним он выразил поэтически, вступив с ним в полемику в стихотворении «Ее глаза». Поводом к его созданию стали восторженные стихи Вяземского о глазах фрейлины Россет, кружившей головы светской молодежи. Пушкинское стихотворение построено на контрасте двух прекрасных женских образов — «придворных витязей грозы» (А. О. Россет) и «Олениной моей», явившейся поэту в ореоле поэзии и искусства. Если женское обаяние своенравной фрейлины раскрывается в кругу света и в атмосфере праздничности, бала, остроумного диалога, любовного поединка (даже «черкесские» глаза красавицы, заставляющие вспомнить о дерзких набегах горцев, подчеркивают ее смелость и независимость), то очарование юной Олениной раскрывается в совершенно ином контексте. Ее образ дан в окружении атрибутов искусства: улыбка сравнивается с улыбкой Леля (бога любви в славянской мифологии), прибегая к античным образам «гения» и «граций», поэт раскрывает гармоничность облика своей героини, одухотворенный, по-детски простодушный взгляд которой напоминает ему ангела с «Сикстинской мадонны» Рафаэля.

Только искусство в любых его проявлениях (национально-русском, античном, европейском) дает ключ к пониманию образа Олениной в посвященных ей стихах Пушкина, и оно же помогает уяснить, чем более всего привлекала его эта девушка. Она представляла перед поэтом как бы в окружении всех девяти муз, в кругу художников, артистов, музыкантов, к обществу которых привыкла с детства, и Пушкин невольно переносил на нее черты и особенности, свойственные этой среде, наделял свою юную избранницу чертами возвышенного женского идеала.

По мере того, как росло и внутренне обогащалось чувство поэта, все более глубокими и серьезными становились и обращенные к ней лирические признания. Они складываются в цикл, может быть, самый поэтичный в любовной лирике Пушкина. Постоянно думая об Олениной, поэт в своей рабочей тетради (той, что была начата перед отъездом из Москвы) помечает многозначительными датами свои встречи с нею, совместные поездки, разговоры и даже размолвки: стихи становятся его лирической исповедью, его дневником. По этим датам, по содержанию самих стихов легко восстанавливается история «петербургского увлечения» Пушкина 1828 года.

Первым произведением цикла, безусловно, является мадригал «Ее глаза» (поэт называл его для себя резче, определеннее — «Глаза 1828 года!»). Это первый шаг к воплощению тех интимных переживаний, которые возбуждала в поэте Оленина. Далее следуют стихи, связанные с «событийной» стороной их взаимоотношений — своего рода лирические вехи стремительно развивающегося чувства поэта.

Морская прогулка в компании с Олениными и художником Доу отразилась в стихотворении «Зачем твой дивный карандаш...», имеющем авторскую помету: «9 мая. Море. Оленина. Дау (Доу.— Авт.)». Точно и лаконично, с необычайной афористической емкостью поэт определяет здесь процесс творчества как овладевающий художником «жар сердечных вдохновений», как нерасторжимый союз «юности и красоты».

С поездкой 9 мая 1828 года связано и другое стихотворение оленинского цикла — «Увы! язык любви болтливый...», имеющее в рукописи ту же дату. Оно вносит дополнительные штрихи в образ избранницы поэта. Оленина, выросшая в атмосфере высокой и разнообразной культуры, проявляла особую склонность к литературе, «сочинительству». Свидетельство этому — дневник, начатый ею 20 июня 1828 года, которому она стремилась

придать беллетризованную форму. Общение с поэтом возбудило в ней потребность самостоятельного творчества, и она взялась за художественную прозу, озаглавив свое будущее произведение «Непоследовательность, или Надо прощать любви». Из дневника Олениной отчетливо видно, что внимание прославленного поэта льстило ей, но она не разделяла его чувств. В стихотворении «Увы! язык любви болтливый...» поэт с горечью осознает, что не занимает в душе своей избранницы того места, которое принадлежит ей в его думах и помыслах:

Тебя страшит любви признание,  
Письмо любви ты разорвешь,  
Но стихотворное посланье  
С улыбкой нежною прочтешь.

И поэт благословляет свой дар, доселе приносивший ему:

...одно гоненье,  
[Иль клевету, иль] заточенье,  
И редко хладную хвалу.

Последние строки глубоко знаменательны: они открывают завесу над внутренней жизнью поэта во всей ее драматической напряженности. В легких, казалось бы, полушутливых любовных стихах начинает звучать трагическая нота. Через несколько дней поэт напишет, может быть, самые пессимистические и безысходные из своих стихотворений — «Воспоминание» и «Дар напрасный, дар случайный...» (последнее датировано 26 мая — днем рождения поэта).

Прошел ровно год после возвращения Пушкина в Петербург. Его жизнь внешне выглядела вполне благополучной, и потому написанные в разгар увлечения Олениной строки «Сердце пусто, празден ум...» кажутся неожиданными. Но, раскрывая душу поэта, они помогают



уяснить, чего искал Пушкин в своем чувстве к юной Олениной, чем могла привлечь его эта девушка, не затмевавшая соперниц ни красотой, ни блеском ума, ни особыми талантами. Скорее всего, сердечное влечение поэта было связано с желанием найти нравственную опору, встретить у своей избранницы самоотверженное ответное чувство. Думая об Олениной как о будущей жене, он мечтал о том, что она заполнит его жизнь, поможет снести «клевету» и «гоненья». Иными словами, он наделял ее в своем воображении теми чертами возвышенной женственности и самоотверженности, которые так ярко проявились в женах декабристов и поразили всю Россию готовностью разделить их ссылку в Сибирь. Не случайно в стихах оленинского цикла все отчетливее начинают звучать мотивы нежности, сердечного участия, душевной щедрости и доброты. Эти оттенки проступают даже в мадригальных стихах «Ты и Вы», которыми Пушкин откликнулся на случайную обмолвку Анны Алексеевны, обратившейся к нему на «ты»:

Пустое *вы* сердечным *ты*  
Она обмолвясь заменила,  
И все счастливые мечты  
В душе влюбленной возбудила.

Возникший при этом душевный контакт позволяет Пушкину перейти с условного светского языка мадригала («как *вы* милы!») на язык подлинного чувства («как *тебя* люблю!»). Любовные стихи, вбирая в себя разнообразие и богатство его настроений и чувств, раскрывают сложное душевное состояние поэта. Самые глубокие, самые затаенные из интимных переживаний Пушкина все теснее связываются в эту пору с Олениной.

В теплые майские дни в Петербурге появился Михаил Глинка. По просьбе Анны Алексеевны он согласится давать ей уроки пения, но это произойдет в конце лета, а пока в кругу знакомых и друзей он импровизирует на

фортепьяно, аккомпанирует, исполняет романсы собственного сочинения. В своих «Записках» Глинка с большой теплотой вспоминал это время и особенно — частые встречи с «известнейшим поэтом нашим Александром Сергеевичем Пушкиным» и с другим Александром Сергеевичем — Грибоедовым. С последним Глинка, по собственному признанию, «провел около целого дня»: «Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс „Не пой, волшебница, при мне”». Один из друзей композитора на рукописи романса сделал следующую приписку: «Слова сей песни написаны А. С. Пушкиным под мелодию, которую он случайно услышал».

От кого же мог Пушкин услышать эту мелодию? От самого Глинки? От Грибоедова? Или от кого-то из музицирующих друзей? И здесь на память приходит сам поэтический текст романса. Из него следует, что эта мелодия, столь живо напомнившая поэту «иную жизнь и берег дальний» и воскресившая облик «далекой, милой девы», взволновала Пушкина в устах женщины («волшебницы»), оживившей воспоминания о поездке поэта на Кавказ в 1820 году с семейством генерала Раевского.

Сохранившийся автограф стихотворения, помеченный 3 июня (исправленным на 12-е), вносит необходимую ясность в историю создания пушкинского романса. В присутствии Олениной (а может быть, и в доме ее родителей) Глинка наиграл запомнившийся и полюбившийся ему мотив, а музыкальная Анна Алексеевна повторила его, напевая, при Пушкине. Грузинская мелодия вызвала в памяти поэта глубоко затаенные воспоминания о юной Марии Раевской, резвой и подвижной девочке. Поэт навсегда простился с нею в доме Зинаиды Волконской, накануне ее отъезда в Сибирь. Своей живостью, отсутствием всякой чопорности, а может быть, и иным, едва уловимым внутренним сходством, Аннет Оленина

напоминала Пушкину добровольную сибирскую узницу, и в воображении поэта невольно возникла эта удивительная аналогия двух женских образов, женских судеб. В романсе воссоздана лирическая ситуация, для которой Лермонтов найдет, может быть, самую емкую и точную формулу:

Нет, не тебя так пылко я люблю...

Но Пушкин выразил ее по-своему, гармонично и сдержанно, переключив трагические личные переживания в светлую мажорную тональность. Стихотворный текст предельно приближен к простому напеву народной песни и не выходит за пределы окрашенных грустью воспоминаний поэта о пережитой им в прошлом любви. Благодаря этому на первый план выступает образ «волшебницы», пробудившей в поэте дорогие ему воспоминания, которые, однако, не заслоняют живого и страстного чувства поэта. Осенью 1828 года, пережив разочарование в этом чувстве, поэт еще раз вернется к тексту романса: заменит «волшебницу» условно-нейтральной «красавицей» (сознательно отказавшись от намека на конкретное лицо) и добавит еще одну строфу — о «призраке милом, роковом», оттесняящем на второй план безмятежное, оленинское начало. Напоминая о трагической участи Марии Волконской, стихотворение лишается особого романсного колорита, хотя и не теряет основных жанровых признаков романса. Созданный в содружестве трех гениев русской культуры романс «Не пой, красавица, при мне...» — памятный след дружеских петербургских встреч 1828 года. Для Грибоедова они стали прощальными: 6 июня, получив назначение (а точнее — почетную ссылку) полномочным послом в Персию, он покинул Петербург. Перед отъездом поэты снова встретились. Пушкин вспоминал, что Грибоедов «был печален и имел странные предчувствия», которые вскоре оправдались: «Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства».

Дружеская компания понемногу распадалась: 7 июня наступил день отъезда и Вяземского, но не за границу, как он надеялся, а обратно в Москву, и далее — в Пензу. Оттуда Пушкин вскоре начал получать письма. 26 июля Петр Андреевич, долго не имевший от него известий, спрашивал: «В самом деле где ты, как ты, что ты?» До Вяземского дошли слухи, что Пушкин развлекается, «играет не на живот, а на смерть», и приятель поддружески журит его: «Ах, голубчик, как тебе не совестно». Между тем в Петербурге драматически разворачиваются события, о которых Вяземский узнает только в сентябре. В центре внимания властей снова оказываются «недозволенные» сочинения Пушкина.

В июне—июле почти одновременно проходят по строго засекреченным каналам два дела «сочинителя» Пушкина: одно, заканчивающееся, — о распространении запрещенного цензурой отрывка из «Андрея Шенье» и второе, новое, — в связи с жалобой дворовых людей штабс-капитана Митькова митрополиту Серафиму на то, что барин «развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под заглавием Гавриилиады». Первое из них рассматривается в официальных инстанциях, с которыми тесно связана служебная деятельность Оленина-старшего: сначала в Сенате, который постановил «обязать Пушкина подпиской, дабы впредь никаких своих творений без рассмотрения и пропуска цензуры не осмеливался выпускать в публику». 11 июня заседал департамент гражданских и духовных дел, подтвердивший решение Сената; 28 июня «дело об Андрее Шенье» поступило для окончательного решения в Государственный совет, который, подтвердив заключение департамента, «положил оное утвердить с таковым к сочинителю стихов означенных Пушкину дополнением, что по неприличному выражению его в ответах своих на счет происшествия 14 декабря 1825 года и по духу само-

го сочинения, в октябре 1825 года напечатанного, иметь за ним в месте его жительства секретный надзор». По сути дела, секретный надзор за Пушкиным был уже давно установлен, и принятое постановление лишь обязывало власти к большему рвению в его исполнении. «Дело о Гавриилиаде» после допроса Митькова 5 июля П. В. Голенищевым-Кутузовым (генерал-губернатором Петербурга) вынесли в отсутствие Николая I (он находился в действующей против Турции армии) на заседание Высшей верховной комиссии, осуществлявшей управление государственными делами.

Естественно возникает вопрос, дошли ли до Пушкина какие-нибудь сведения об этих заседаниях, знал ли он и о принятых против него «мерах» правительства? Точных сведений об этом не имеется, и для каких-либо гипотез тоже нет достаточных оснований. Но одно можно утверждать с определенностью. Оленин об этом не только знал, но и по роду своих служебных обязанностей принимал непосредственное участие в вынесении окончательных решений. И вряд ли можно объяснить случайным совпадением то обстоятельство, что именно лето 1828 года принесло охлаждение в отношениях семейства Олениных и Пушкина. Во второй половине июня — июле он почти не появляется в их доме, его музой становится не Аннет Оленина, а Аграфена Закревская, женщина яркая и сильная, резкая и смелая в поступках, полная противоположность осмотрительной и рассудительной не по летам Анне Алексеевне. Поэт снова ищет рассеяния в кругу света (привычный симптом внутреннего беспокойства, тревоги), но не следует торопиться с выводами об «угасании» чувства поэта или же объяснять сложившуюся ситуацию досадой Пушкина на равнодушие к нему юной Олениной. Видимо, поэт перестал встречать у Олениных прежнее радушие, искренность и сердечность, столь привлекавшие его в этом семействе. Не холодность к нему Анны (объясняемая более всего

осуждением его поступков родителями, в особенности Елизаветой Марковной, негодующей даже на поэтические вольности пушкинских стихов), а изменившееся отношение к Пушкину всего семейства — подлинная причина постепенного отчуждения поэта от Олениных. Этот процесс отражает «Дневник А. А. Олениной», содержащий весьма нелестную оценку «первого из российских поэтов». Характер ее «нелицеприятных» отзывов о Пушкине, повторение ею слухов, порочащих поэта («говорят, что он дурной сын», — запишет она в дневнике), ее девические рассуждения, отмеченные непониманием личности великого поэта, может быть, нагляднее всего объясняют, почему Annette Olenine не стала Annette Pouchkin (такого рода записи, анаграммы ее имени, ее портреты постоянно возникают на страницах творческих рукописей Пушкина 1828 года). Пушкин не только всерьез думал о женитьбе на Олениной, но, по свидетельству весьма осведомленных мемуаристов (Ф. Г. Солнцева, К. Брюллова), сватался к ней. Но, как пишет Солнцев, предложение поэта не было принято, так как против этого брака была Елизавета Марковна. Самой Олениной брак с поэтом тоже казался невозможным. Мечтая о замужестве, она с холодным, трезвым расчетом обсуждает на страницах своего дневника все выгодные и невыгодные «партии», и только мысль о сватовстве к ней Пушкина приводит ее в недоумение. Она готова выйти замуж и без любви, но Пушкин даже с этой точки зрения не годится ей в женихи. «Героем ее романа» оказался А. Я. Лобанов-Ростовский, светский фат, примечательный разве что своими личными бедами (в 1825 году он овдовел и остался с тремя детьми). Что же касается Пушкина, то она не воспринимала его всерьез. Более того, ее раздражало, что его увлечение не выливается в общепринятые в свете формы любовной этики. Вместо почтительного поклонения и галантного ухаживания, которых Оленина ожидала от него и к которым привыкла,

она встречала резкие перепады настроений («...хмурится, как погода, как любовь», — скажет о поэте Вяземский, наблюдая его поведение с Олениной еще во время поездки в Кронштадт 21 мая), неожиданные поступки, не вовремя и не к месту сделанные признания. «Боюсь, чтобы он не соврал чего-нибудь в сентиментальном роде», — запишет она в дневнике, с удовлетворением отмечая те встречи, во время которых поэт вел себя «скромно» и незаметно. Она охотно прислушивается к светским сплетням и судит о Пушкине-человеке пристрастно и несправедливо.

Во всем этом нельзя не увидеть влияния ее родителей, не желавших связывать судьбу своей дочери с человеком без положения в обществе, к тому же политически неблагонадежным. Последнее соображение было, пожалуй, самым веским, тем более что начало августа ознаменовалось для поэта новыми и на этот раз особенно тревожными осложнениями. Вызванный к петербургскому генерал-губернатору и узнав, что до правительства дошла его «кощунственная», антирелигиозная поэма, фривольно толкующая евангельский сюжет о непорочном зачатии («Гавриилиада»), Пушкин не на шутку встревожился: вспомнилось письмо 1824 года «об уроках чистого афеизма», перехваченное московской почтой, за которое поэт был сослан в село Михайловское. На этот раз грозила уже Сибирь, и поэт принял решение, отрицая свое авторство, отвести от себя подозрения в сочинении «безбожной» поэмы. В трудные дни, когда Пушкин обдумывал ответы на предложенные ему Высшей верховной комиссией вопросы и набрасывал их в своей рабочей тетради, он мысленно обращался к Олениной, словно не замечая ее равнодушия к себе, безразличия к своей судьбе. Еще не поняв до конца души своей избранницы, видя в ней возвышенный и благородный характер, поэт связывает с нею свои надежды на избавление от нагрянувшей беды.

«Ты зовешь меня в Пензу, — горько иронизирует он в письме к Вяземскому 1 сентября, — а того и гляди, что я поеду далее, «прямо на восток»... До правительства дошла, наконец, „Гавриилиада”». «На восток» — то есть в сибирскую ссылку. Ожили те мучительные раздумья, которыми сопровождалась для Пушкина работа над «Арионом», набросками о «весне» 1827 года, над лицейской годовщиной «Бог помочь». В «Акафисте Екатерине Николаевне Карамзиной» поэт, казалось, навсегда простился с «бурями», достигнув желанной пристани, и вдруг все это вернулось к нему снова. Эти трагически окрашенные размышления вызвали к жизни стихотворение «Предчувствие»:

Снова тучи надо мною  
Собралися в тишине;  
Рок завистливый бедою  
Угрожает снова мне...  
Сохраню ль к судьбе презренью?  
Понесу ль навстречу ей  
Непреклонность и терпенье  
Гордой юности моей?

«Предчувствие» — последнее из трагически окрашенных стихотворений, обращенных к Олениной, своего рода «вершина» чувства поэта к ней. Не встретив ни взаимопонимания, ни ответа, оно пошло на убыль, чему в немалой степени способствовали «неудовольствия» поэтом самой Олениной, «строгие выговоры» Пушкину от ее матери. Нескрываемой грустью веет от шутки Пушкина в письме к Вяземскому от 1 сентября: «Я пустился в свет, потому что бесприютен», горький смысл которой разъясняется из ответного письма друга: «Ты говоришь, что бесприютен, разве уж тебя не пускают в Приютино?»

Оленина еще не раз вызовет живой и вдохновенный отзвук в поэзии Пушкина, но он уже не обратит к ней ни пылких лирических признаний, ни глубоких раздумий. В последних стихах оленинского цикла поэт как



бы возвращается к изначальным «мадригальным» интонациям, к учтивой комплиментарности. В стихотворении «Вы избалованы природой...» он перечисляет те «хвалы», которыми осыпана его героиня:

Что ваши взоры — сердцу жалы,  
Что ваши ножки — очень малы,  
Что вы чувствительны, остры,  
Что вы умны, что вы добры.

Поэт как бы возвращает свою избранницу «свету», осознав, что она принадлежит этому миру, хотя и сохраняет в нем привлекательные черты и свойства. В тоне легкой грациозной шутливости он пишет о своем увлечении Олениной и в «тверском четверостишии», адресованном *Netty Вульф*. В нем неожиданно уравниваются лирические образы *Россет* и *Олениной*, прежде контрастно противопоставленные друг другу:

За *Netty* сердцем я летаю,  
В Твери, в Москве --  
И *R*, и *O* позабываю  
Для *N* и *W*.

Впрочем, образ «*Россети*» в поэзии Пушкина испытает обратную метаморфозу: из суеты «большого света и двора» он переключит ее в мир людей искусства. Но в августе 1828 года Оленина для поэта «ангел тихий, безмятежный», с которым он еще связывает надежду на «мирную пристань».

19 августа поэт был снова вызван на допрос: ответы Пушкина не удовлетворили Николая, потребовавшего от него открыть правительству, «кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». Расчет царя на благородство поэта, не считавшего для себя возможным обмануть лично обратившегося к нему монарха, был верным. Решив признаться в сочинении произведения, «жалкого и постыдного»,

Пушкин пометил в рабочей тетради тот день (2 октября), в который им было написано откровенное «письмо к царю». О решении Николая I, распорядившегося прекратить дальнейшие разыскания, Пушкин узнает 16 октября, испытав, наконец, облегчение после невероятного напряжения последних месяцев.

Радостным и веселым стал для поэта на этот раз лицейский праздник 19 октября, завершившийся отъездом в Малинники. Это настроение Пушкин выразит в «лицейской годовщине» 1828 года:

Усердно помолившись богу,  
Лицею прокричав ура,  
Прощайте, братцы: мне в дорогу,  
А вам — в постель уже пора.

Уехав из Петербурга, поэт увезет с собою и воспоминание о той, которая вдохновляла его и чей образ был для него путеводной звездой в трудные и напряженные месяцы весны и лета уходящего года. Чувство к Олениной впитало живые радости и тревоги, надежды и разочарования, одухотворило холодный и мрачный облик парадной столицы Российской Империи с ее контрастами пышности и бедности, «стройным видом» и «духом неволи». Прощаясь с городом, он простился и со своей «петербургской любовью»: ,

Все же мне вас жаль немножко,  
Потому что здесь порой  
Ходит маленькая ножка,  
Вьется локон золотой.

И еще одно «прости» уходящему в прошлое чувству:

Я вас любил: любовь еще, быть может,  
В душе моей угасла не совсем...

## „Любимец моды легкокрылой“



едалеко от старинной крепости Копорье в долине бывшего залива расположилась деревушка Нежново. На высоком холме и теперь видны остатки дворянской усадьбы. Старые деревья когда-то обширного парка спускаются к оврагу, и там можно увидеть совсем необычное дерево для этих мест — платан. Нескольким людям едва могут обхватить его могучий ствол. По преданию, он посажен весной 1782 года в честь мальчика, рожденного дворовой женщиной от барина А. С. Дьяконова. Дитя любви получило фамилию Кипренский, а мать его — Анна Гавриловна — «вольную».

Есть и другие версии происхождения фамилии Кипренский, но то, что родился он под «звездой любви» и назван в честь прекрасной богини, как будто роковым образом сказалось на его судьбе. Один из первых исследователей жизни и творчества Кипренского Н. Н. Врангель сказал: «Биография Кипренского очень характерна для его творчества. Он всегда был мечтателем не только в искусстве, но и в жизни. Даже происхождение его — незаконного сына — как в романе предвещает жизнь, полную приключений».

Жизнь Кипренского была нелегкой. Шестилетним (в 1788 году) он был отдан в Академию художеств, и холодные ее своды стали его домом. Кипренский был одним из самых блестящих учеников. За успехи в области рисунка и живописи он получал награды, за порывистость и свободолюбивый характер — порицания. Предание рассказывает, что из-за любви к какой-то юной особе, сказавшей, что она обожает военных, будущий художник решился на безрассудный поступок, который мог сломать его жизнь.

В 1799 году во время парада на площади у Зимнего дворца к ногам лошади Павла I бросился юноша в мун-

дире воспитанника Академии. Это был Орест Кипренский. Он хотел просить императора о зачислении его на военную службу. Но резкое движение и дерзостная смелость юноши испугали самодержца, и он не соизволил выслушать «сумасброда». Дюжие гвардейцы схватили его и увели.

В Академии он стоял перед строем. Но это не был военный строй. То были соученики, перед которыми академическое начальство объявило Кипренскому строжайший выговор. Порыв юной души был погашен. Но зато появился самобытный и яркий художник.

Кипренский стал признанным поэтом женской души; каждый из его портретов — явление в русском искусстве. В портретах Е. П. Ростопчиной (1809) и Д. Н. Хвостовой (1814) он находит духовное совершенство и бесконечную грусть по несвершившемуся. Его женщины мечтают о счастье, они способны на самоотверженную любовь, но замкнулись, стремясь не выдать своих чувств. Они истинно романтические натуры.

Особенную, сердцем принятую правду сказал он о Д. Н. Хвостовой (урожденной Арсеньевой, дальней родственнице М. Ю. Лермонтова). Нежно и трепетно изображены лицо и руки модели, чей взгляд завораживал художника. Она грустна... Но это не ожесточенная, экзальтированная скорбь Ростопчиной. Хвостова натура мягкая, добрая. Ее добродетель — покорность, ее достоинство — молчаливая сдержанность. Этот портрет близок идеалу женщины, воспетому поэтической лирой Карамзина, Жуковского, Баратынского.

«Особое положение портрета в системе романтических искусств не должно удивлять,—замечает В. С. Турчин.— Ведь именно в портрете прежде всего утвердились идеалы нового времени. Пожалуй, только поэзия может соревноваться с портретной живописью. Отсюда и перекличка портретных и литературных образов, и дружба поэтов и художников».

Можно назвать множество лиц, которым посвящал свои поэтические опыты Пушкин, и они же позировали Кипренскому.

Поразительным по совершенству рисунка единодушно называют портрет тринадцатилетней Н. В. Кочубей (1813). По нему устанавливают эволюцию в портретном рисунке Кипренского, тот особый подъем, который появился в творчестве художника в период Отечественной войны 1812 года и ощущался в течение нескольких последующих лет.

Дата портрета — 1813 год, год знакомства юного лицеиста с Наташей Кочубей, первые встречи на балах и в парке. Позднее в набросках автобиографии поэта появилась запись: «Гр. Кочубей».

1813 годом датирует Пушкин свои первые встречи с ней, когда летние месяцы семья Кочубеев проводила на даче в Царском Селе.

Образ, созданный Кипренским, многими чертами близок Татьяне Лариной. Она изображена девочкой скромной, мечтательной, живущей напряженной духовной жизнью, пребывающей в мире возвышенных чувств. О ней — только реальной — пишет друг ее отца всеильный министр М. М. Сперанский: «Молодая графиня, я думаю, просто боязлива и застенчива», «Я видел тут в первый раз Наташу во французской кадрили, воплощенные грации». Таков образ юной девушки в отзывах современников.

По лицейским преданиям, она — героиня стихотворения Пушкина «Измены» (1815). М. А. Корф высказал предположение, что «едва ли не она (а не Бакунина. — Авт.) была первым предметом любви Пушкина».

В черновиках «Евгения Онегина» Татьяна первоначально называлась «Наташа». Итак, застенчивая и грациозная Наташа Кочубей надолго остается в поэтическом воображении поэта, а Кипренский раскрыл нам ее зримый образ.

Екатерине Бакуниной тоже суждено было занять во-  
ображение юного поэта, и в гораздо большей степени,  
чем Наташе Кочубей. Пушкин посвятил Бакуниной мно-  
гие стихи, воплощающие трепет первой любви.

О, милая, повсюду ты со мною,  
Но я уныл и втайне я грущу.  
Блеснет ли день за синюю горою,  
Взойдет ли ночь с осеннею луною —  
Я все тебя, прелестный друг, ищу...

И так уж случилось, что обеими «музами» юного  
Пушкина Кипренский любовался в том же 1813 году.  
Этим годом помечен большой рисованный портрет Алек-  
сандра Бакунина, соученика Пушкина по лицу и род-  
ного брата Е. Бакуниной. Есть все основания предпола-  
гать, что тогда же он набросал в альбом профиль Ка-  
теньки, создав одну из самых очаровательных своих ка-  
рандашных зарисовок.

«Милую Бакунину» рисовали и писали позднее мно-  
гие художники, и, кроме того, она сама была художни-  
цей, ученицей А. Брюллова. Но самое раннее ее изобра-  
жение — набросок Кипренского. Рисунок отличается вир-  
туозным мастерством, трепетно доносящим «черты жи-  
вые». Видимо, художник, так же как спустя два года  
многие лицеисты, попал под их особое очарование, кото-  
рого не миновал никто.

Она приезжала вместе с матерью на лицейские ба-  
лы. Многие лицеисты (Илличевский, Пущин) ждали ее  
появления, но, наверное, нетерпеливей всех был Пушкин.  
В его дневнике 29 ноября 1815 года записаны взволно-  
ванные строчки: «Я счастлив был!.. нет, я вчера не был  
счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным  
волнением стоя под окошком, смотрел на снежную до-  
рогу — ее не видно было! — наконец я потерял надеж-  
ду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Слад-  
кая минута!.. Как она мила была! как черное платье

пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! какое положение, какая мука! — Но я был счастлив 5 минут...»

Свою любовь восторженный лицеист не смог утаить от товарищей. «Первую платоническую, истинно поэтическую любовь возбудила в Пушкине Бакунина, — рассказывает соученик С. Д. Комовский. — Она часто навещала брата своего и всегда приезжала на лицейские балы. Прелестное лицо ее, дивный стан и очаровательное обращение производили всеобщий восторг во всей лицейской молодежи».

И это поэтическое очарование как нельзя лучше сумел выразить Кипренский в портретах обеих девушек, которые зажгли пылкое сердце юного гения.

В эти годы Кипренский очень близок по своим исканиям к писателям-романтикам. Это сказалось в портретах «мечтателей» — К. Н. Батюшкова (1815) и В. А. Жуковского (1816), в которых воссоздан романтический идеал поэта.

Кипренский был знаком со многими близкими друзьями Пушкина. И поэтому вполне закономерен вопрос: не мог ли он быть лично знаком с юным поэтом? И не был ли ему заказан портрет Пушкина-лицеиста?

В 1812—1816 годах Кипренский жил в Петербурге, часто посещал Царское Село. Именно там создал он многие из своих графических и живописных шедевров. Одна среда, духовная атмосфера окружали уже ставшего знаменитым художника и приобретавшего славу юношу-поэта.

Прямых документальных свидетельств о личном знакомстве в те годы Пушкина с Кипренским нет, однако на этот счет делались весьма убедительные предположения. Так, исследователь иконографии Пушкина А. А. Сидоров пишет: «В письме к А. И. Тургеневу 1 дек. 1823 г. Пушкин говорит о Кипренском как о знакомом; это единственное имя художника, упомянутого Пушкиным в эти

годы. Знакомство Пушкина и Кипренского могло состояться только в годы до ссылки поэта». Приведем отрывок из этого письма: «Вы помните Кипренского, который из поэтического Рима напечатал вам в «Сыне Отечества» поклон и свое почтение...» — так начинается Пушкин письмо А. И. Тургеневу из Одессы в Петербург. Этот поклон был передан Кипренским в письме к Петру Петровичу Чекалевскому — вице-президенту Академии художеств, о смерти которого (7 мая 1817 года) Кипренский еще не знал. Во второй половине письма, сказав о прибытии своем в Милан, художник внезапно прерывает рассказ и пишет: «Извините, Ваше превосходительство, что останавливаю на один день повествование. Милан не прогневаюсь, подождет, куда я съезжу в Петербург, повидаться с почтенными соотечественниками моими. — Вот я на дрожках приехал на славный Васильевский остров: здравствуйте, любезная Академия Художеств! Потом пробираюсь через Исаакиевский мост: сердце радуется при виде Невы и великолепного города; кланяюсь монументу Петра, отсюда на Невский проспект, заезжаю в Морскую к С. С. Уварову, встречаю у него А. И. Тургенева, г. Жуковского и желаю им доброго здоровья. От него к дому бывшего великого благодетеля моего, всегда живущего в моей памяти, графа Александра Сергеевича Строганова; кланяюсь дому и желаю совершенного выздоровления графу Павлу Александровичу. Отсюда везите меня поскорее к А. Н. Оленину, поклониться Е. М. и А. М. — Верно теперь у них И. А. Крылов, Н. И. Гнедич? Здравствуйте, милостивые государи! Я надеюсь, что К. Ф. Муравьева не поставит в труд кланяться от меня Н. М. Карамзину, Н. М. Муравьеву и г. Батюшкову, а Н. И. Гнедич поклонится князю И. А. Гагарину, графу В. В. Пушкину. Но простите, я спешу обедать к П. А. и П. М. Ниловым в Коломну. Ненадобно забыть Князя хороших комедий (князя А. А. Шаховского. — *Авт.*), также громомечущего



Греча, господ Лобанова, Ермолаева, Востокова и проч.».

Среди многих, перечисленных в письме 1817 года, мы все же не встречаем имени Пушкина.

Однако, анализируя технические и стилистические особенности известной гравюры Е. И. Гейтмана, изображающей Пушкина-лицеиста и приложенной в 1822 году к изданию поэмы «Кавказский пленник», как-то невольно соглашаешься с А. А. Сидоровым, что «любой историк искусства счел бы, что автором (оригинала.— *Авт.*) является Кипренский». К этой гипотезе присоединяются многие искусствоведы и пушкинисты.

Портрет 28-летнего Пушкина бесспорно принадлежит кисти Кипренского. 1820-е годы принесли художнику европейскую славу.

Галерея Уффици во Флоренции ему, первому из русских художников, заказывала «Автопортрет». Но Кипренский в этом вихре жизни, впечатлений от искусства Италии и успеха никогда не забывал России. «Я радуюсь, что родился Русским...» — пишет он в своих письмах.

В 1823 году, после семи лет отсутствия, полный надежд, обогащенный творчески, Кипренский вернулся на родину. Многие изменилось за это время и в жизни художника, и в жизни его петербургских друзей...

Прошло два года. Пора упований и романтической веры сменилась отчаянием и безнадежностью после восстания на Сенатской площади 14 декабря. Те, кто взывал о милости к побежденным, как Пушкин, все меньше в нее верили. Мысль о неумолимой жестокости давящей правящей десницы пронизывает «Анчар» и другие стихотворения поэта, и она же читается в последних портретах Кипренского.

Художник не хотел служить даже в своей *Alma mater* — холодной, официально-чиновной императорской Академии художеств. Он остро чувствовал свое одиночество, ненужность николаевской России, где, по его сло-

вам, «талантов совсем не надобно». Но он остался лучшим российским портретистом.

Сразу же по приезде Пушкина в Петербург в конце мая 1827 года А. А. Дельвиг заказал Кипренскому портрет поэта. Дельвиг, которого Пушкин называл «художников друг и советник», знал, на ком остановить свой выбор, он понимал, что портрет кисти Кипренского станет важным событием в русской культурной жизни. Его желанию Пушкин подчинился беспрекословно, хотя позировать не любил.

В июле 1827 года Пушкин уже позировал художнику в его мастерской в доме Шереметева на Фонтанке. Размышляя о встрече художника и поэта ровно через год после казни декабристов, можно лишь предполагать, о чем они говорили, а о чем горестно умалчивали... В своем поэтическом отклике — экспромте на готовый портрет Пушкин приоткрывает некоторые темы их разговоров:

Любимец моды легкокрылой,  
Хоть не британец, не француз,  
Ты вновь создал, волшебник милый,  
Меня, питомца чистых муз, —  
И я смеюся над могилой,  
Ушед навек от смертных уз,

Себя как в зеркале я вижу,  
Но это зеркало мне льстит:  
Оно гласит, что не унижу  
Пристрастья важных аонид.  
Так Риму, Дрездену, Парижу  
Известен впредь мой будет вид.

Послание Пушкина «Кипренскому» до сих пор вызывает оживленные споры. Известный знаток творчества Кипренского В. Турчин пишет: «Несомненно, во время сеансов, когда писался портрет, Пушкин и Кипренский беседовали. Трудно сказать точно, о чем, но можно предположить, что об Италии, об искусстве древнем и новом

(например, об известном их современнике — датском скульпторе Торвальдсене. — *Авт.*)... есть намек на успех творчества Кипренского, упоминание о Риме, Дрездене, Париже — городов, в которых побывал мастер». Добавим: где он пользовался успехом, где проходили выставки его работ.

Далее Турчин пишет: «Называет Пушкин и двух художников: «британца» и «француза». Один из них — Дж. Доу, которому царское правительство поручило исполнение портретов для Военной галереи 1812 года в Зимнем дворце, другой — Франсуа Жерар».

Зная, как раним был Кипренский, можно предположить, что обсуждался горький для художника вопрос — почему патриотическую тему создания портретов доблестных русских героев поручили модному в свете англичанину Д. Доу, а не ему. Интриги и зависть французского портретиста Ф. Жерара также были часто темой рассказов Кипренского.

В работах Т. Алексеевой особенное внимание уделяется строчке: «Ты вновь создал, волшебник милый...», как подтверждение, что художник не в первый раз изображал поэта.

Что же касается городов, перечисленных в стихотворении, то, по мнению Р. В. Иезуитовой, в этом перечне Пушкин отразил не воображаемую, а вполне реальную ситуацию: «Называя Рим, Дрезден, Париж, Пушкин вне сомнения думал о своих друзьях В. А. Жуковском и А. И. Тургеневе, которые тогда путешествовали по Европе, именно по этому маршруту».

В то время поэт уже знал, что Дельвиг заказал известному гравёру Н. Уткину воспроизведение портрета Кипренского. Такие гравюры делались обычно для друзей.

В своем стихотворении поэт подчеркивает известность живописца, бессмертие его кисти. А о себе с юмором отвечает: «Себя как в зеркале я вижу, но это зер-

кало мне льстит...», но тут же обращается к музам античных поэтов «аонидам», воплощающим идею высокого предназначения поэзии. Портрет создавался на века в ореоле славы художника и поэта и должен был прославить великое и независимое искусство.

Пушкин изображен в сюртуке, с клетчатым пледом, накинутым на плечо. Внимание художника сосредоточено на лице, вдохновенном, полном глубокой мысли. Взгляд уносит мечты вдаль. Выражение лица сосредоточенное, и в нем читается затаенная грусть. Художник сумел раскрыть глубокие, сокровенные думы поэта о судьбах своего поколения. Поэт внемлет своим внутренним, одному ему слышимым голосам — совести, разума, вдохновения.

Современники писали о портрете: «Гений поэта как бы воодушевил художника; огонь его вдохновения сам изобразился на холсте в чертах его, и художник вполне выразил в его взоре светлый луч высоких творческих дум». Чтобы еще раз подчеркнуть момент творческого вдохновения, Дельвиг попросил мастера приписать бронзовую фигуру музы с лирой в руках.

Многие судили о портрете по гравюре. Так, отец Пушкина, уже после смерти поэта, сказал: «Лучший портрет моего сына есть тот, который написан Кипренским и гравирован Уткиным».

Но сам Пушкин высоко ценил оригинал. После смерти Дельвига в 1831 году он сразу же предпринял попытку приобрести портрет.

Многие исследователи творчества Кипренского предполагают, что в оставшееся недолгое время (около года.— *Авт.*) до отъезда в Италию Кипренский еще не раз встречался с Пушкиным в семействе президента Академии художеств А. Н. Оленина (в 1828 году он писал портрет дочери президента Аннет Олениной) и в других домах. Есть основания думать, что он сам литографиро-

вал портрет и делал с него уменьшенные копии для близких друзей Пушкина.

Поэт и художник встретились и оценили друг друга. Каждый увидел в другом личность гениальную. Основа их духовной близости была заложена уже давно. Это отмечает М. В. Алпатов: «Уже в пору сложения своего дарования он [Кипренский] вошел в близкие отношения с передовыми слоями русского общества, проникся их духом, захвачен был их интересами и художественными симпатиями, которыми жили лучшие писатели и мыслители того времени» Пушкин тоже воспитывался и рос как художник в той же среде.

В 1827—1828 годах оба ощутили, что им душно в николаевской России, мечтали о поездке за границу... Пушкину отказали, Кипренскому разрешили. И общение великих мастеров слова и кисти оборвалось навсегда. В 1836 году Пушкин узнал, что художник умер на чужбине. В этом же году он встретился и подружился с Карлом Брюлловым, вернувшимся из Италии. И кто знает, может быть, они вместе вспоминали трагическую участь Кипренского в последние годы его жизни и то, что сказал о нем в 1836 году Александр Иванов: «Он первый вынес имя русское в известность в Европе, а русские его всю жизнь считали за сумасшедшего...»

Кипренский не хотел защищаться от клеветы, не искал легких путей ни в искусстве, ни в жизни. Он верил в свою будущую славу, в ту, что предрек ему Пушкин. И незадолго до смерти сказал: «С презрением, не замечая зависти, твердою ногою я всегда шел вперед, зная, что Время или рано, или поздно, — всегда открывает Истину».

## »В тревоге пестрой и бесплодной...«



июля 1826 г. — в полдень, гос<ударь> находился в Царск<ом> Селе, — записал Пушкин весной 1834 года в своем дневнике. — Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. — В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец — собака, выплыв на берег и не найдя его, оставила платок и побежала за ним. Фр<ейлина> подняла платок в память исторического дня».

Кто же была эта фрейлина, которая оказалась случайной, но внимательной свидетельницей одного из фрагментов последнего акта великой драмы декабризма? Записанный Пушкиным рассказ — об Александре Осиповне Россет, или Россети (в замужестве Смирновой), которой предстояла во многих отношениях замечательная и счастливая судьба — снискать любовь, уважение и дружбу Пушкина, Жуковского, Вяземского, Гоголя, а позднее вызвать интерес у Аксакова, Тютчева, И. Тургенева, Л. Толстого, Полонского и др. Связи ее с литературным миром не прерывались на протяжении многих десятилетий, однако своеобразной вершиной этой ярко и незаурядно прожитой жизни стала пушкинская эпоха — время вхождения А. О. Смирновой в живую литературно-художественную среду Петербурга.

В этом мире юная девушка была замечена, принята «на равных», и ее личность раскрылась там во всем своем внутреннем богатстве. И дело, конечно, не только в том, что, плененные красотой и обаянием юной Россет, лучшие поэты посвящали ей свои произведения — проникновенные лирические стихи и шуточные дружеские послания, но в том, что, посылая восторженные и пылкие признания «черноглазой Россети», воспевая волшебное

очарование ее глаз, они еще в большей степени восхищались ее самобытным умом, широкой начитанностью, необычной для светской девушки образованностью, живостью и остроумием.

Любил я очи голубые,  
Теперь влюбился в черные, —  
Те были нежные такие,  
А эти непокорные...

Не обладавшая богатством и родственными связями, юная фрейлина сумела внушить к себе уважение окружающих. Острога язычка Россет побаивались многие придворные, пытавшиеся не раз очернить ее в глазах благоволившей к ней императрицы.

Раннее сиротство, необходимость заботиться не только о себе, но и о братьях (Аркадии, Иосифе, Клементии и Александре Россетах) сформировали в ней самостоятельность, независимость, а природная гордость развилась в чувство достоинства, в мужество, умение противостоять жизненным трудностям. В «Записках» Россет подробно рассказала о своем далеко не безоблачном придворном существовании: «Возня страшная, особенно для дежурной. Парады, обеды, вечера после катания и чаю». Необходимость оберегать свою репутацию выработала у нее умение отклонять слишком настойчивые ухаживания ее поклонников, среди которых были и члены царской семьи. Фрейлина двух императриц, она постигла все закулисные «тайны двора» и осталась равнодушной к его внешнему блеску.

Если попытаться назвать самую яркую, самую характерную особенность Смирновой-Россет, это не только ее образованность, не только тяга к искусству (этими качествами отличались многие современницы Пушкина), а широта ее воззрений на окружающее, независимость взглядов, стойкость характера, сила воли. Она не считалась со светскими условностями и в житейски-быто-

вой сфере, и в широком общественно-нравственном смысле. Но, пожалуй, самое «россетовское», «смирновское» — это юмор, способность и откликаться на дружескую шутку, и подмечать смешное в людях и их поступках, не бояться любых, подчас весьма рискованных и резких, суждений.

«Обыкновенно, — проницательно замечает Вяземский, — женщины худо понимают плоскости и пошлости (так он называет все то, что выходило в его время за рамки строгой благопристойности. — *Авт.*) она же понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоски и не пошлы». «Она была смесь противоречий, — продолжает свою мысль Вяземский, — но эти противоречия были как бы музыкальные разнозвучия, которые под рукой художника сливаются в какое-то странное, но увлекательное созвучие».

Смирнова-Россет была по-настоящему оригинальна, необычна и весьма далека от сложившегося в ее время «идеального», а в общем-то довольно узкого взгляда на женщину.

Умная и любознательная девочка еще при жизни своей матери была принята в Екатерининский институт. Она стала одной из лучших учениц своего выпуска, закончив курс обучения с «вензелем», который обычно вручался наиболее отличившимся воспитанницам. Следует подчеркнуть особо, что Россет была одной из любимых учениц П. А. Плетнева, преподававшего в институте русскую историю и словесность.

Друг Пушкина и Жуковского, сам поэт, критик, лишенный яркого полемического темперамента, но отличавшийся строгим и тонким вкусом, Плетнев был рожденным педагогом. Он сумел привить своим воспитанницам возвышенные представления о жизни, серьезность интересов, а главное — любовь к родному русскому слову, отечественной литературе и искусству. Ученицы Екатерининского института любили его лекции и



тайком от своих строгих наставниц сходились по вечерам в классную комнату, чтобы «приготовить уроки Плетневу». Он знакомил их с последними новинками современной поэзии. Смирнова-Россет вспоминала позднее, что Плетнев читал им «Евгения Онегина». Это была первая глава пушкинского романа, вышедшая в свет 15 февраля 1825 года — накануне окончания Александрой Осиповной института. «Мы были в восторге, — вспоминает она, — но когда он сказал: «Панталоны, фрак, жилет...», — мы сказали: „Какой, однако, Пушкин индеса (неприличный. — Авт.)”». Хотя вольности поэтического слога «Онегина» несколько шокировали благородных девиц, они все же оказались способными оценить живую прелесть пушкинского романа. Позднее при личном знакомстве с Пушкиным Александра Осиповна рассказала ему об этом эпизоде: уловив юмористическую интонацию в ее рассказе, Пушкин разразился «громким, веселым смехом». На выпускных экзаменах в присутствии Жуковского и Нелединского-Мелецкого юные выпускницы блистали прекрасным знанием произведений и этих поэтов.

Любовь к русскому языку Смирнова-Россет сохранила на всю свою долгую и нелегкую жизнь, и в этом также немалая заслуга ее первого литературного наставника, познакомившего ее в свое время и со сборником старинных русских былин Кирши Данилова. Эти и многие другие произведения отечественной словесности (например, письма Фонвизина из-за границы), знанием которых Смирнова-Россет впоследствии будет не раз изумлять великосветское общество, едва не принесли ей репутацию «синего чулка». Друзья-литераторы спешили ее защитить. Вяземский писал о ней: «Хотя не было в чулках ее ни малейшей синей петли, она могла прослыть у некоторых «академиком в чепце». Сведения ее были разнообразны, чтения поучительные и серьезные». Обладавшая удивительным чутьем разговорной речи, с ее не-

принужденностью и живыми интонациями, Смирнова-Россет, по общему признанию, была великолепной рассказчицей. «Как вы хорошо говорите по-русски»,— заметил однажды в разговоре с нею Пушкин. «Мы в институте всегда говорили по-русски»,— объяснила Александра Осиповна.

Первой вехой на пути сближения А. О. Смирновой-Россет с писателями пушкинского круга стало знакомство с семейством Карамзиных, куда ее ввел Плетнев. После смерти Н. М. Карамзина тесные связи его семьи с литературными соратниками и последователями писателя не только не ослабли, но и перешли в новое качество: литературный салон Карамзиных после переезда семейства из Дерпта в Петербург в конце мая 1827 года стал играть заметную роль в культурной жизни столицы. О своем появлении у Карамзиных осенью этого года Александра Осиповна рассказала в своей «Автобиографии»: «...Я познакомилась с семейством Карамзиных, начала встречать у них Жуковского и с ним сблизилась». К этому времени, скорее всего, относится и ее личное знакомство с Пушкиным. Впервые она увидела поэта у Е. М. Хитрово, на одном из ее танцевальных вечеров. Недавно вернувшаяся из-за границы, «Элиза гнусила,— замечает острая на язычок Россети,— всегда была очень декольте, чесала свои черные волосы под гребень и делала вечерние визиты в белом платье, тюлевом шарфе, белых лайковых перчатках, коротеньких, чтобы показать красивые, очень белые руки, и носила на руке часы на георгиевской ленте», постоянно напоминая: «Это часы моего отца, маршала Кутузова». Вечер запомнился Россет не только маленькими странностями впоследствии столь известной всему аристократическому Петербургу Элизы, но присутствием на нем Пушкина, который, как пишет мемуаристка, «стоял в уголке за другими кавалерами».

Однако первое знакомство еще не стало началом

дружбы поэта и А. О. Россет, признававшей впоследствии с подкупающей откровенностью, что оба они «жили в обществе самом ветреном», она же в особенности была еще «глупа и не обращала на него особенного внимания». Да и поэт, видимо, далеко не сразу выделил фрейлину Россет из блестящей толпы светских красавиц. Многочисленные портреты А. О. Смирновой-Россет (работы П. Ф. Соколова, Винтергалтера и др.) донесли до нас ее удивительное очарование. На поздних портретах, относящихся к концу 1830-х — началу 1840-х годов, в облике Александры Осиповны проступают черты усталости, затаенной грусти, пережитых разочарований. Но при вступлении в свет, по единодушному признанию видевших и знавших ее, красота юной фрейлины была в полном расцвете: невысокая, стройная брюнетка с черными, огненными, выразительными глазами, по-восточному ленивая в движениях (сказывалась кровь ее грузинских предков со стороны матери, происходившей из рода князей Цициановых), исполненная удивительной грации и изящества. Очаровательная Россети, как скажет о ней Пушкин в своих каламбурных стихах:

Все сердца пленила *эти,*  
*Те, те, те и те, те, те.*

Под живое очарование прекрасных россетовских глаз попал и Вяземский, приехавший в столицу в феврале 1828 года и познакомившийся с нею в одной из великосветских гостиных Петербурга. Ему бросилось в глаза, что «Петербург стал суше и холоднее прежнего». «На небе хладном бледной луночи» Вяземский-поэт заметил новую яркую звезду — юную Россет, в облике которой он уловил непривычную для северян «южную негу», скрытую, затаенную страсть, увидел живую душу и подлинную красоту в бездушной парадности николаевского Петербурга. Обращенные к Россет стихи Вяземского — «Южные звезды! Черные очи...» — стали поводом



**Е. М. Хитрово.**

Акварель П. Ф. Соколова. 1838 г.



**Д. Ф. Фикельмон.**

Акварель Т. Ювинса. 1826 г. Неаполь.



**Е. Ф. Тизенгаузен.**

К. Шрейницер. 1848 г.





**А. О. Смирнова-Россет.**

Акварель П. Ф. Соколова. 1834—1835 гг.

**А. А. Дельвиг.**

Акварель П. Л. Яковлева. 1818 г.



**Е. А. Баратынский.**

Рисунок Ж. Вивьена, 1826–1827 гг.



**А. В. Кольцов.**

Акварель К. А. Горбунова.  
1838 г.



**А. А. Краевский.**

Акварель неизвестного художника.



**П. А. Плетнев.**

А. В. Тыранов. 1836 г.





**Н. В. Гоголь.**

Автолитография А. Г. Венецианова. 1834 г.

**Д. В. Давыдов.**

Акварель В. П. Лангера. 1819 г.



**П. Б. Козловский.**

Литография. 1838 г.



**В. Ф. Одоевский.**

Акварель А. Покровского. 1844 г.





**М. Ю. Виельгорский.**  
Литография. Первая половина XIX в.

**В. И. Даль.**  
С литографии 1830-х гг.



**Н. А. Дурова.**  
Рисунок В. Гау, 1837 г.



**А. фон Гумбольдт.**  
Литография В. Ф. Тимма.  
1859 г.

**А. С. Норов.**  
Литография П. Ф. Борелли  
с фотографии Левицкого.

**И. Т. Калашников.**  
Литография Авнатомова. Сер-  
едина XIX в.



**П. Л. Шиллинг фон Капштадт.**  
Рисунок А. С. Пушкина.

**И. С. Шишков.**  
Рисунок О. А. Кипренского. 1825 г.

**А. О. Орловский.**  
Автопортрет. Рисунок. 1809 г.





**Е. А. Карамзина.**

Неизвестный художник 1830-е гг.

**Е. Н. Мещерская (урожденная Карамзина).**

С утраченного оригинала Барди в Риме. 1830-е гг.



**С. Н. Карамзина.**

С оригинала П. Н. Орлова. Первая половина XIX в.





**А. Н. Карамзин.**  
Литография Л. Вагнера. 1840-е гг.

**В. Г. Белицкий.**

П. А. Брюллов с оригинала К. А. Горбунова. 1838 г.



**И. С. Тургенев.**

Рисунок К. А. Горбунова. 1846 г.



**М. Ю. Лермонтов.**

Автопортрет. Акварель. 1837—1838 гг.

к созданию первого из пушкинских стихотворений, воссоздающих образ Россет, хотя и посвященных не ей, а Олениной. Увлечение ею направило отношения Пушкина с Россет совершенно по иному руслу, не любовному, а чисто дружескому, интеллектуальному. Стихотворение «Ее глаза» характеризует по-пушкински меткое и безошибочное впечатление от Россет. Первоначальную характеристику («твоя Россети егоза») Пушкин далее смягчает и углубляет одновременно:

Она мила — скажу меж нами —  
Придворных витязей гроза.

Поэт рисует юную фрейлину в привычном ей придворном кругу, но улавливает в ней и нечто особенное, не свойственное свету. Отмечая как бы в скобках, для себя блеск и обаяние милой Россет, Пушкин отдает предпочтение красоте неброской, робкой и стыдливой, воплощением которой считает Оленину. Затейный им стихотворный поединок с Вяземским решается в пользу «скромных граций», оттесняющих на второй план образ смелой и независимой красавицы.

И все же «своенравной Россети» удалось найти свой путь к первому из русских поэтов. Понять и оценить ум, душевное благородство и высокие нравственные качества Россет Пушкин смог, постоянно наблюдая ее в свете. Только по контрасту с его «мертвящим упоением» поэту стали заметны ее многообразные духовные интересы и богатство ее внутренней жизни. Она стала одним из прототипов светской хроники, которую Пушкин намеревался ввести в VII главу «Евгения Онегина», предполагая включить в нее «Альбом Онегина». С этим интересным творческим замыслом связано еще одно обращение Пушкина к образу А. О. Россет. «Альбом Онегина» (а точнее — его дневник) должен был, по замыслу поэта, показать героя в кругу высшего петербургского света в их взаимном отталкивании и неприятии: саркастические ха-

рактистические, которые дает Онегин своим светским знакомым, характеризуют социальную среду, окружающую героя. Светские персонажи «Альбома», зашифрованные инициалами, резко индивидуальны и вместе с тем типичны для света: в них проступает портретное сходство с отдельными представителями петербургской знати, законодателями моды. По контрасту с ними возникает в беглых зарисовках онегинского альбома обаятельный образ великосветской красавицы, в котором угадываются портретные черты А. О. Россет (на это сходство намекают и инициалы этой героини — R. C.):

Шестого был у В. на бале.  
Довольно пусто было в зале;  
R. C. как ангел хороша:  
Какая вольность в обхожденье,  
В улыбке, в томном глаз движенье  
Какая нега и душа!

Воссоздавая облик прелестной и умной девушки, резко выделяющейся из светской толпы, поэт видел живую Россет с характерной для нее смелой и свободной манерой обращения с окружающими, с ее «знаменитыми» парадоксами, искрометным юмором и склонностью к серьезным, далеко не светским по своему содержанию разговорам на балах и раутах. Не случайно строфы о ней соседствуют в альбоме с рассуждениями «о сокровищах родного слова», знатоком и ценительницей которого была Россет. Поэт не раз беседовал с ней на эту тему. Поэт рисует свою героиню в образе одалиски, исполненной неги и томности (эта южная особенность ее облика великолепно передана в знаменитом портрете работы Винтергалтера), ее стремительность и грацию, снискавшие ей шуточные прозвища «южной ласточки», «смугло-румяной красоты». Диалог R. C. и Онегина, может быть, отзвук их первого откровенного разговора, которым искренняя девушка могла привлечь к себе и заинтересовать поэта:

Вечор сказала мне R, С.:  
Давно желала я вас видеть.  
Зачем? — мне говорили все,  
Что вас я буду ненавидеть.

О «смирновских парадоксах» напоминает и неожиданное суждение о характере героя:

И знали ль вы до сей поры,  
Что просто — очень вы добры?

К концу 1820-х годов А. О. Россет дружит не только с Пушкиным и Жуковским, но и с Виельгорским, Одоевским.

Начало 1830-х годов принесло большие перемены в личной жизни Александры Осиповны: в царскосельское лето 1831 года Россет стала невестой Н. М. Смирнова, с которым познакомилась у Карамзиных.

В своих мемуарах она откровенно объяснила, что побудило ее согласиться на настойчивые предложения богатого, доброго, но внутренне чуждого ей человека. Глубокой горечью веет от слов, сказанных ею Пушкину в ответ на выраженные им сомнения по поводу сватовства к ней Н. М. Смирнова: «...Он сделал предложение, мне так было тяжело решиться, что я попросила Екатерину Андреевну (Карамзину. — *Авт.*) передать ему, чтобы он просто спросил: «Да или нет?» Он спросил: «Да?» Я долго молчала, обретаясь в страхе и конфузе, и по несчастию сказала «да», а в сердце было «нет». Пушкин мне сказал: «Какую глупость вы делаете. Я его очень люблю, но он никогда не сумеет вам создать положение в свете. Он его не имеет и никогда не будет иметь». — „К черту, Пушкин, положение в свете. Сердце хочет любить, а любить совершенно некого”». Страстный и глубокий характер, высокая требовательность к себе и окружающим обрекали девушку на одиночество, доброта и самоотверженность заставляли ее идти на своего рода нравственный компромисс. Позднее она от-

кровенно признавалась, что же еще заставляло ее принять предложение богатого Н. М. Смирнова: «Я себя продала за шесть тысяч душ для братьев».

29 июля 1831 года Пушкин отмечает в записной книжке: «Третьего дня государыня родила великого князя Николая. Накануне она позволила фрейлине Россети выйти замуж».

Замужество не изменило ни характера, ни свободно-го образа мыслей А. О. Россет, которую друзья стали в шутку называть «Смирнихой» и «Смирнушкой». Более того: с началом самостоятельной жизни окончательно сформировалась сильная и яркая личность этой замечательной женщины. После свадьбы, состоявшейся в январе 1832 года (на которой Пушкин был шафером), Смирновы поселились в Литейной части в доме Апраксиной (ныне Литейный пр., участок дома 48), где, со вкусом и щегольски обставив свою квартиру, зажили открытым домом. Александра Осиповна собирала у себя художников, артистов и, конечно, ближайших друзей — литераторов пушкинского круга.

У петербургского дома Смирновых свое лицо, особая атмосфера. Здесь можно поспорить, услышать или прочесть литературную новинку. Разговоры, шуточные и серьезные, ведутся обычно на русском языке. У Смирновых подмечали все смешное и нелепое в великосветских гостиных и бальных залах Петербурга, здесь выше всего ценились ум, образованность, таланты, юмор, дружеская непринужденность и откровенность.

Сюда особенно охотно и часто приходил Пушкин, находивший неизменное удовольствие в общении с остроумной хозяйкой дома, яркой и интересной собеседницей. «В 1832 году,— вспоминает А. О. Смирнова,— Александр Сергеевич приходил всякий день почти ко мне, также и в день рождения моего принес мне альбом и сказал: «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои

записки», — и на первом листе написал стихи: «В тревоге пестрой и бесплодной» и пр.».

Пушкин считал, что накопленный Смирновой-Россет запас ярких впечатлений от встреч с различными людьми, от больших и малых событий, свидетельницей которых ей удалось быть, а главное — умение рассказать об этом увлекательно и просто, — позволяют ей уже в молодые годы приняться за свои «Записки». Для них и предназначался альбом, озаглавленный рукой поэта: «Исторические записки А. О. С.», а вписанные в него стихи, по замыслу поэта, должны были стать своеобразным эпиграфом к ее будущим мемуарам. Бесценный подарок Пушкина Александра Осиповна хранила всю жизнь, но заполнялся ее альбом не ею, а теми, кого она считала более достойным стоять рядом с Пушкиным: П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, Е. П. Растопчиной и другими поэтами-современниками, также посвятившими А. О. Смирновой-Россет свои стихи. В настоящее время этот альбом хранится в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

На темном кожаном переплете — картинка, изображающая живописный горный пейзаж, — вероятно, тонкое и ненавязчивое напоминание о южном происхождении А. О. Россет. Беловой автограф стихотворения «В тревоге пестрой и бесплодной...», помеченный 18 марта 1832 года, открывает альбомные записи. Поэт сразу же отказался от мысли посвятить А. О. Смирновой-Россет обычный в таком случае альбомный мадригал: живой человеческий облик его адресата не вмещался в узкие рамки светской учтивости. Он облек свое стихотворное приветствие в форму маленькой поэтической исповеди, лирического монолога своей героини и написал стихи от ее собственного имени. Поэт стремился раскрыть привлекательные душевные качества своей героини — доброту и сердечность, искренность и непримиримость к злу и неправде. Образ А. О. Смирновой вбирает в себя лучшее,



что ценил Пушкин в своих современниках, многие из которых не утратили своей индивидуальности в суете и праздности светского и придворного существования. Далеко не случайным выглядит в этом удивительном по лаконизму и глубине стихотворении мотив доброты («И, как дитя, была добра»), внутренне объединяющий поэта и его героиню, как он объединял Онегина и Р. С. в «Альбоме Онегина». Неудивительно и то, что в рабочей тетради Пушкина текст «Альбома» соседствует с черновиком стихотворения «В тревоге пестрой и бесплодной...», в котором поэт продолжает тему сильной и яркой личности, противостоящей «мертвящему упоению света» своей живой человечностью. Созданный поэтом художественный образ многозначен: он обладает большим портретным сходством с реальной А. О. Смирновой и одновременно типизирует лучшие черты современниц Пушкина, тяготившихся светским укладом. Эта лирическая миниатюра вполне самостоятельна, но вместе с тем и ключ к пониманию своеобразия Смирновой-мемуаристки, никогда не забывавшей советов и пожеланий Пушкина при работе над своими «Записками». Недаром, начиная их, она вспомнила пушкинские стихи и свои разговоры с ним на эту тему: «Когда мне случалось рассказывать что-нибудь из моих воспоминаний, мне всегда говорили: „Пишите ваши записки”». А. О. Смирнова начинает их с детства, потому что «это было самое приятное время» ее «пестрой и бесплодной жизни».

Пушкин не раз слышал исполненные поэтичности рассказы Смирновой-Россет о ее детских годах, проведенных в маленькой деревушке Новороссийского края Грамакле, которая всегда мерещилась ей «в самых красивых местах за границей» и где она сроднилась с бедным, незатейливым бытом, навсегда полюбила широкие степные просторы. «Я никогда не любила сад, а любила поле, не любила салон, а любила уютную комнату, где незатейливо говорят, что думают», — в этих

признаниях Смирновой-мемуаристки, может быть, содержится ключ к пониманию того, что особенно роднило ее с Пушкиным. Ведь не случайно он придал своей любимой героине, Татьяне Лариной, те же черты привязанности к дорогим воспоминаниям детства, подчеркнул в ней готовность отдать «всю эту ветошь маскарада за полку книг, за бедный сад». Может быть, подобные мысли А. О. Смирновой о своем детстве возникли не без влияния Пушкина, умевшего разгадать сокровенные движения ее души, неясные ей самой стремления и смутные порывы? Мемуары, к работе над которыми она приступила много лет спустя после смерти Пушкина, овеяны духом творческого общения с ним. В них незримо ощущается его присутствие, даже если А. О. Смирнова пишет о чем-то постороннем...

В январе 1833 года Александра Осиповна, еще не оправившись после тяжелых родов, едва не стоивших ей жизни, уехала за границу, где провела более полугода. Вернувшись в Петербург, Смирновы поселились (вплоть до начала 1835 года) на Большой Конюшенной улице, где их снова стали посещать друзья. О «чайном столике Смирновой» с большой теплотой вспоминал не раз А. И. Тургенев. Множество упоминаний о знаменитых «смирновских обедах» содержится и в других документах. Любопытным в этом отношении оказывается замечание О. Н. Смирновой (дочери мемуаристки), высказанное ею по поводу утверждения В. И. Шенрока, что после замужества А. О. Россет «мы ничего не знаем... о ее литературных отношениях». О. Н. Смирнова возражает: «Пушкин все так же часто видался с Смирновыми, а Жуковский хоть раз в неделю обедал у них». Круг обсуждаемых в этом доме вопросов достаточно широк, но сосредоточиваются они вокруг острых в политическом отношении тем. Проблема исторического пути России, определяемого петровскими реформами, суждения о Екатерине II и анекдоты о ее фаворитах, нашумевшие двор-

цовые перевороты, тайны русской и европейской дипломатии — вот далеко не полный их перечень. Обсуждение подобных вопросов — в пору жестокого полицейского контроля над общественным мнением со стороны николаевского режима — могло происходить только в узком дружеском кругу.

О своих встречах со Смирновой-Россет, о посещении ее дома поэт пишет постоянно в своем «Дневнике 1833—1835 гг.» 14 декабря 1833 года: «Вечер у Смирновых». 3 и 8 марта 1834 года — новое посещение дома друзей. 10 апреля, рассказывая о вечере у Уварова, Пушкин добавляет: «S. [Смирновой] не было — скука смертная». 21 мая — новое упоминание обеда у Смирновых, с особенно подробной записью происходивших на нем разговоров: «Вчера обедал у Смирновых с Полетикой, Вельгорским и с Жуковским. Разговор коснулся Екатерины. Полетика рассказал несколько анекдотов». Далее следует запись текстов этих анекдотов, весьма интересовавших Пушкина. Затем разговор перешел к оценке ее царствования, конец которого, как отмечает Пушкин, «был отвратителен». Близка Смирнова к пушкинским оценкам и в своих суждениях об Александре I, заявляя с предельной откровенностью: «Александр Павловичу напрасно сделали репутацию либерала». Более противоречивым было ее отношение к Николаю I. На него накладывала свой отпечаток личная привязанность Смирновой к императорской фамилии, оказавшей в свое время ей, сироте, покровительство и помощь. Иногда чувство благодарности (в особенности по отношению к императрице Александре Федоровне) связывало ее и мешало ей в полной мере критически оценивать поступки и действия императора. Со временем, однако, она становилась все нетерпимее к лицемерию и глубокой безнравственности Николая I.

Гораздо свободнее чувствует себя Смирнова в отношениях с николаевским двором. Ее мемуары проникну-

ты резким неприятием придворного уклада, насмешками над престарелыми статс-дамами и ищущими высокого покровительства юными фрейлинами. Смирнова-Россет описала окружающий ее быт с такой исчерпывающей полнотой и откровенностью, что ее мемуары до сих пор служат важнейшим источником для раскрытия закулисной жизни пышного николаевского двора.

Друзья-литераторы (Пушкин, Жуковский, Вяземский, Гоголь) не раз восхищались тонким художественным вкусом, наблюдательностью и меткостью взгляда А. О. Смирновой, любили читать при ней свои новые произведения, с благодарностью принимая ее советы. О ее безошибочном критическом чутье свидетельствует письмо, в котором уехавшая еще летом 1835 года за границу Смирнова откликается на выход из печати первого тома пушкинского «Современника». 4 мая 1836 года она благодарит Вяземского за присланный ей журнал: «Я его вкушала с чувством и расстановкой, разом проглотив «Чиновников» и «Коляску» Гоголя, смеясь, как редко смеются, а я никогда. Ведь это, однако, Плетнев открыл это маленькое сокровище: у него чутье очень верное, он его распознал с первой встречи. «Арзерум» — вылитый Пушкин, когда он расположен болтать и интересоваться, так что все эти истории мне слишком известны». Последнее замечание — напоминание о тех дружеских разговорах, в атмосфере которых зрели и формировались будущие творческие замыслы ее друзей, оттачивалось повествовательное мастерство. Впрочем, не желая обидеть Пушкина, Александра Осиповна добавляет: «В сущности, «Арзрум» очень интересен».

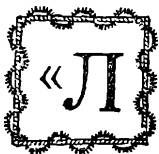
Страшная весть о смерти Пушкина застала Смирнову в Париже и потрясла ее. В апреле 1837 года она писала Жуковскому: «Перенеслась в наш серый, мрачный Петербург, который озарился для меня воспоминанием милых сердцу моему друзей. Я перенеслась к вам с живым желанием и надеждой вас всех увидеть. Братья, Ка-

рамзины, Вяземский, вы: тут все слились в одно чувство любви и преданности. Одно место в нашем кругу пусто, и никогда его не заменить». Незаменяемым осталось это место и в душе самой А. О. Смирновой-Россет...

Современница Пушкина, она воплощает собою определенный женский тип, получивший широкое распространение в более позднюю эпоху развития русского общества. Жизненная активность, бескомпромиссность суждений и поступков, живой интерес к самым разнообразным сферам жизни и искусства делают ее облик особенно привлекательным и для нашего времени. В эпоху господства романтических представлений об идеальном женском типе А. О. Смирнова явилась носительницей трезвого, реалистического взгляда на жизнь. Проведя большую часть своей жизни «в тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора», она

Смеялась над толпою вздорной,  
Судила здраво и светло,  
И шутки злости самой черной  
Писала прямо набело.

### „Трио“



юбезным трио» называли женщин, очень заметных в Петербурге 1823 года,— Елизавету Михайловну Хитрово и ее дочерей Екатерину Федоровну Тизенгаузен и Дарью Федоровну Фикельмон.

Центром этого трио долгое время оставалась мать двух дочерей-погодок, очень дружных между собой. Она умела, по словам одного из своих биографов, быть «скорее сотоварищем и другом своих дочерей, чем матерью». Влияние Елизаветы Михайловны не только на ее незаурядных дочерей, но и на многих близких друзей имело много причин.

Е. М. Хитрово была дочерью фельдмаршала Ми-

хаила Илларионовича Кутузова. Умная и образованная, она оказалась в центре многих политических событий своего времени. Традиции ее семьи воспитали в ней стойкий патриотизм, интерес к событиям общественной жизни, любовь к людям, желание быть им полезной. Ее отличал и необычайный талант — верности, преданности в дружбе. Эти качества, достаточно редкие в придворных кругах, были по достоинству оценены лучшими из современников, прежде всего — ее неизменным другом Александром Сергеевичем Пушкиным.

Жизненный путь ее никак нельзя назвать обычным. Она родилась в 1773 году третьей из пяти дочерей М. И. Кутузова и его жены Екатерины Ильиничны.

Живая, бесконечно добрая и внимательная к родителям, она была любимицей отца, с которым до конца его дней сохранила доверительные отношения.

6 июня 1802 года состоялась ее свадьба со штабс-капитаном инженерных войск графом Федором Ивановичем Тизенгаузенем. Бракосочетание прошло торжественно в церкви Павловского дворца. Брак был счастливым. В 1803 году родилась дочь Екатерина, в 1804 году — Дарья. Кутузов, не имевший сыновей, принял зятя как родного. В каждом письме полководца к дочери видна его любовь к молодой семье: «Итак, ты — мать, дорогая Лиза, люби своих детей, как я люблю моих... Любезного Фердинанда (Фсдора.— *Авт.*) благодарю за приписку или, лучше сказать, за большое письмо. Благодарю за комплименты, которые он Лизаньке делает... Ежели бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого».

Осенью 1805 года Елизавета Михайловна последовала за мужем и отцом в Австрию к театру военных действий. Там 20 ноября (2 декабря) произошло сражение под Аустерлицем. Русские войска отступали. Кутузова ранило, зять его флигель-адъютант Ф. Тизенгаузен со знаменем в руках повел один свой батальон и пал, пронзенный пулей. (Впоследствии Л. Н. Толстой исполь-

зовал этот эпизод боя в романе «Война и мир».) Узнав о гибели зятя, Кутузов рыдал неутешно. Тизенгаузена похоронили в Ревеле, его родном городе.

Трудно описать горе вдовы. Тоска, слезы и отчаяние надолго стали ее уделом. Ее тяжелое состояние особенно переживал отец: «Милый друг, Лизанька, я еду по твоим следам. Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что ты там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мною вместе».

Все годы своего вдовства Елизавета Михайловна старалась быть поближе к отцу. В 1811 году она приехала в Бухарест к Кутузову, командовавшему армией на Дунае. Там встретил ее А. Я. Булгаков и написал брату: «У нас здесь несколько дней находится г-жа Тизенгаузен, дочь генерала (Кутузова.— Авт.)... Это очень любезная женщина... Она настроена романтически, только что совершила путешествие в Крым и очарована этою страной».

Летом того же года Елизавета Михайловна вышла замуж вторично — за генерал-майора Николая Федоровича Хитрово, который в отличие от ее первого мужа не пользовался расположением Кутузова. Особенно не пришлось по сердцу фельдмаршалу то, что его новый зять не принимал участия в сражениях. «Что поделявает Хитров со своим несчастным здоровьем?» — с легкой насмешкой спрашивает Кутузов в письме к дочери от 2 октября 1812 года.

Второй муж Елизаветы Михайловны, видимо, не относился к натурам героическим, но, по воспоминаниям современников, «был умен, блистателен и любезен... Он был образован и в своем роде литературен». Видимо, это и привлекло к нему внимание Елизаветы Михайловны, которую всегда интересовали люди замечательные, одаренные. Александр I, оценив ум, образованность и светскую манеру обхождения Н. Ф. Хитрово, в 1815 году

назначил его русским поверенным в делах во Флоренции. Это назначение определило дальнейшую жизнь Елизаветы Михайловны и ее дочерей, приобщив их к европейской культуре и политике. Неожиданное переселение в Италию стало в какой-то мере спасением в новом огромном горе Елизаветы Михайловны. В 1813 году заболел и умер в походе ее обожаемый отец. Его память Елизавета Михайловна чтит истово и даже зачастую подписывалась: «Урожденная княжна Кутузова-Смоленская». Ореол, окружавший память великого русского полководца, победителя Наполеона, был настолько ярок и значителен, что способствовал укреплению положения русского посланника при тосканском дворе, оценившем позднее и очарование его падчериц. Впрочем, отчим видел только начало их больших успехов в свете. В 1819 году Елизавета Михайловна овдовела снова.

Общество, окружавшее Е. М. Хитрово в Италии, встречи с интересными людьми, знакомство с искусством эпохи Возрождения, с крупнейшими музеями мира не могли не сказаться на дальнейшем развитии ее личности. А для внучек Кутузова Италия во многом стала духовной родиной.

Елизавета Михайловна, помнившая заветы своего отца, была заботливой и любящей матерью и сумела дать дочерям отличное воспитание и образование. Но, оставаясь после смерти мужа в Италии, она так и не смогла научить их русскому языку. Они впоследствии считали это пробелом своего воспитания и в разное время все-таки учили родной язык.

С 1818 года русские аристократы стали чаще посещать Флоренцию, которая становилась излюбленным городом всех европейских путешественников. Хитрово жили открытым домом. В нем царил атмосфера искусства. В окружении старинных картин и гравюр велись увлекательные беседы о европейской и русской политике, истории, событиях культурной жизни.



Вот что пишет о Елизавете Михайловне один из ее гостей: «Она скорее некрасива, чем красива, но она романтически настроена, не мажется, в моде, хорошо играет трагедию и горюет о своем первом муже, покойном графе Тизенгаузене... а также о своем славном старикотце Кутузове».

Играя охотно в любительских спектаклях, Елизавета Михайловна подражала манере игры французской трагической актрисы Жорж (подруги своей матери), что дало толчок к развитию свойственного ее натуре романтического настроения.

Близость Елизаветы Михайловны к дипломатической среде не прерывалась со смертью мужа. Между поклонниками ее дочерей встречались люди знатного происхождения. Не достигнув еще семнадцати лет, младшая из внучек Кутузова, Долли, вышла замуж за австрийского посланника при королевстве обеих Сицилий в Неаполе графа Шарля Луи Фикельмона, известного европейского дипломата.

Мать и сестры не разлучались, и в 1823 году все вместе отправились в Россию. Желание Е. М. Хитрово увидеть родину сочеталось с необходимостью поправить расстроенное состояние. Хотелось также возобновить связи с петербургским двором и светом. Пользуясь особым расположением Александра I, они в этом преуспели. Немаловажную роль здесь, по-видимому, сыграли ум, обаяние и красота юной Долли.

Через три года после первого посещения родины, в 1826 году, Елизавета Михайловна вместе со старшей незамужней дочерью — Екатериной Тизенгаузен — вернулась в Россию, чтобы окончательно обосноваться в Петербурге.

В 1829 году австрийским посланником в Россию был назначен Фикельмон. Вместе с мужем в Петербург приехала Долли. У дочери, в доме австрийского посольства около Летнего сада, поселилась и Елизавета Михай-

ловна. Екатерина Тизенгаузен, ставшая фрейлиной императрицы, жила в Зимнем дворце. Салоны Фикельмонов и Е. М. Хитрово вскоре приобрели репутацию политических и литературных центров столицы. Постоянным посетителем этих салонов стал и Пушкин. П. А. Вяземский писал позднее: «В летописях петербургского общества имя ее [Е. М. Хитрово] осталось так же незаметно, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь, европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут и обозрение текущих событий; были *premier Petersbourg* (премьеры Петербурга.— *Авт.*) с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь».

Слова Вяземского хорошо объясняют, что привлекало в дом австрийского посольства тех, кто посещал его постоянно,— В. А. Жуковского, И. И. Козлова, А. И. Тургенева, братьев Виельгорских, В. А. Соллогуба, родственников хозяек по линии Кутузовых и Тизенгаузенов, дипломатов Модиньяни Луиджи Литта, О'Сюлливан де

Грасс и др. Пушкин там часто встречал всех этих людей и был со многими в дружеских отношениях. Ценил он дружбу Е. М. Хитрово и приязнь четы Фикельмонов. Нельзя не согласиться с Вяземским, писавшим о Елизавете Михайловне: «Она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных пожертвований от этой битвы не за себя, а за другого...»

Молодому Пушкину, не избалованному материнской добротой, такой друг был необходим. Но отношения их усложнялись тем, что романтически настроенной Е. М. Хитрово хотелось и более нежных чувств. Современники отмечали свойство увлекающейся Елизаветы Михайловны забывать о своем возрасте. В письмах к ней Пушкин деликатно обходит то, что он считал неуместным в их отношениях. Зато с какой живой благодарностью принимает он все связанное с новостями литературной и общественной жизни.

Хитрово писала ему в марте 1830 года в Москву: «Я буду говорить вам о большом свете, об иностранной литературе — о возможности перемены министерства во Франции, я у самого источника всех сведений, но, увы, мне не хватает только счастья...» Пятидесятилетняя Е. М. Хитрово, не желавшая смириться с неизбежностью старости, нередко вызвала добродушные насмешки. Некоторые из эпиграмм, адресованных ей (хотя без достаточных оснований), приписывали Пушкину. Это Елизавета Михайловна переживала особенно остро. Безответное чувство к поэту, гениальность которого она сознавала, быть может, было и величайшим счастьем, и трудным испытанием.

Сложное душевное состояние чувствуется в портрете Е. М. Хитрово, переданном наследниками князя Клариде

(по его завещанию) в 1979 году из Венеции в Москву, в Государственный музей А. С. Пушкина. Автор портрета П. Ф. Соколов. Портреты этого художника отличаются не только безусловным сходством с оригиналом, но умением передать настроение модели.

До 1830 года Пушкин часто общался с Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикельмон, но эти дружеские встречи не вдохновили его музы. Для той же, с кем он встречался реже,— Екатерины Тизенгаузен — были написаны шуточные стихи:

Язык и ум теряя разом,  
Гляжу на вас единым глазом:  
Единый глаз в главе моей.  
Когда б судьбы того хотели,  
Когда б имел я сто очей,  
То все бы сто на вас глядели.

Посылая их дочери Е. М. Хитрово, Пушкин писал: «Само собой разумеется, графиня, что Вы будете настоящим Циклопом. Примите эту плоскость, как доказательство моей полной покорности Вашим приказаниям. Если бы у меня было сто голов и сто сердец, они все были бы к Вашим услугам. Примите уверения в совершенном моем почтении». Стихотворение было написано по просьбе Екатерины специально к костюмированному балу, который состоялся в Аничковом дворце 4 января 1830 года. В программе бала было семнадцать стихотворений, из них три на русском и четырнадцать на французском языках. Все эти стихотворения, среди которых было и пушкинское, читались или пелись соответствующей аллегорической фигурой. Комический эффект этого представления заключался в том, что женские роли исполнялись мужчинами, а мужские — изящными женщинами. Чудовищного циклопа изображала молодая Екатерина Тизенгаузен, она же читала стихи, написанные Пушкиным. Самого Пушкина на этом балу, видимо, не было.

В том же году Елизавета Михайловна узнала о помолвке Пушкина, которая состоялась в Москве. 9 мая Хитрово пишет ему: «Расскажите мне о своей женитьбе, о планах на будущее... Долли и Катрин просят передать вам, что вы можете рассчитывать на них, чтобы ввести вашу Натали в свет...»

Пушкин ответил сразу, хотя и коротко, закончив письмо светски-любезно: «Не знаю еще, приеду ли я в Петербург. Покровительницы, которых вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же, как и у ваших».

Отправка поэту только что полученной из Франции книжной новинки — драмы Виктора Гюго «Эрнани», дала возможность Хитрово написать Пушкину большое письмо, высказав то, что ее, по-видимому, мучило: «Я боюсь за вас: меня страшит прозаическая сторона брака! Кроме того, я всегда считала, что гению придает силы лишь полная независимость и развитию его способствует ряд несчастий, что полное счастье, прочное, продолжительное и в конце концов довольно однообразное, убивает способности, прибавляет жиру и превращает скорее в человека средней руки, чем в великого поэта! И, может быть, именно это — после личной боли — поразило меня больше всего в первый момент... Отныне мое сердце, мои сокровенные мысли станут для вас непроницаемой тайной, и письма мои будут такими, какими им следует быть, — океан ляжет между вами и мной, — но рано или поздно вы всегда найдете во мне для себя, для вашей жены и ваших детей друга, подобного скале, о которую все будет разбиваться. Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть, располагайте мною во всем без стеснения. Обладая характером, готовым для других пойти на все, я драгоценный человек для своих друзей: я ни с чем не считаюсь, езжу разговаривать с высокопоставленными лицами, не падаю духом, еду опять, время, обстоятельства — ничто меня не пугает. Усталость сердца не отра-

жается на моем теле — я ничего не боюсь, я многое понимаю, и моя готовность услужить другим является в такой же мере даром небес, как и следствием положения в свете моего отца и чувствительного воспитания, в котором все было основано на необходимости быть полезной другим!»

Это письмо хорошо раскрывает характер Хитрово.

Пушкин не оставил это письмо без ответа, но оставивается лишь на важном для себя:

«Прежде всего позвольте, сударыня, поблагодарить вас за «Эрнани». Это одно из современных произведений, которое я прочел с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв — бесспорно единственные французские поэты нашего времени, в особенности Сент-Бёв, и — к слову сказать, если в Петербурге можно достать его «Утешения», сделайте доброе дело и, ради бога, пришлите их мне.

Что касается до моей женитьбы, то ваши соображения по этому поводу были бы совершенно справедливыми, если бы вы менее поэтически судили обо мне. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплывать жиром и быть счастливым...»

Ответ Пушкина навсегда определил характер их отношений: они должны быть ограничены сугубо деловой и литературной сферой. 10 августа 1830 года Елизавета Михайловна пишет ему в Москву, стараясь касаться только интересующих поэта тем, и более всего — событий французской революции 1830 года:

«Вы сейчас настолько счастливы, что интерес к друзьям, конечно, сильно померк... но высокие материи всегда будут интересовать гения, в каких бы жизненных обстоятельствах он ни находился!

За это время прибыли газеты от 9-го. Казимир Перье — председатель палаты. «Тан» переходит в оппозицию. Молодые люди Политехнической школы отказались от ордена Почетного легиона и от повышения в

чине. Речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского — истинный образец красноречия!..» Продолжая знакомить поэта с политическими новостями и событиями театральной жизни, Е. М. Хитрово неожиданно заключает: «Вспомните ли вы хоть раз о фанатической старухе, которой суждено вскоре одряхлеть от душевного страдания...»

Пушкин, видимо, был тронут и тотчас отозвался на письмо: «Как я вам признателен за ту доброту, с которой вы посвящаете меня в европейские события. Здесь никто не получает французских газет и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был не прав, запретив ордонансом экартэ<sup>1</sup>. И среди этих-то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века...» В ответном письме Пушкина проявляется его страстный интерес к европейской политике. Равнодушных к политике людей он считает «орангутангами»..

Благодаря Елизавете Михайловне он одним из первых в России прочел роман Стендаля «Красное и черное», который оценил очень высоко.

Письма к Хитрово содержат в себе ряд суждений и о Польском восстании 1830—1831 годов. Поэт пишет ей чаще, чем другим своим друзьям, быть может потому, что находит в ней единомышленницу.

После женитьбы вернувшись в Петербург, он охотнее общается с дочерью Хитрово Долли и реже с ней самой. Время от времени он писал Елизавете Михайловне коротенькие записки, которые по-светски любезны и касаются мелких житейских забот: «Конечно, я не забуду про бал у посланницы и прошу разрешения пред-

---

<sup>1</sup> Экартэ — игра в карты. Пушкин в насмешку называет его запрет «ордонансом», намекая на реакционные ордонансы Карла X, ограничивавшие свободу печати,

ставить на нем моего шурина Гончарова». Судя по всему, поэт имеет в виду Ивана Николаевича. В конце января 1832 года Пушкин отвечает Е. М. Хитрово, как бы продолжая прерванный разговор: «Я очень рад, что Онегин Вам понравился: я дорожу Вашим мнением». Эта фраза указывает на то, что их взаимоотношения были гораздо серьезнее и значительнее, чем это иногда старался показать поэт своим близким. 8 октября 1833 года он шутливо пишет жене: «Да кланяйся и всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь с твердостью, достойной дочери князя Кутузова?»

Долли пишет П. А. Вяземскому: «Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его — прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья... Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены — меланхолия отречения от себя». Д. Фикельмон умела тонко разбираться в людях, предсказывать развитие человеческих отношений, за что еще в молодости в Италии, все называли ее «флорентийской сивиллой». Эти предвидения Долли повторила в своем дневнике: «Поэтическая красота г-жи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания». Такие наблюдения говорят об исключительной интуиции.

Возможно, Долли и сама была не слишком счастлива. Известный поэт первой половины XIX века И. И. Козлов писал ей:

О, милый друг! Какой судьбой  
Страданье встретилось с тобой



И муки бранные земли  
С эфирным ангелом любви...

Однако это лишь предположения. Бесспорны образованность Долли и ее умение разбираться в политических ситуациях своего времени. Исследователи отмечают, что она не только читала, но и изучала сочинения Цицерона, Вергилия, Данте, Петрарки, Гете, Шиллера, Байрона, Ларошфуко, Ламартина, Гюго и многих других писателей. Александр Сергеевич неизменно бывал в салоне Фикельмон даже тогда, когда вел весьма замкнутый образ жизни. В его письмах к Наталье Николаевне весной и летом 1834 года на Полотняный завод, куда она уехала с детьми, часто упоминаются посещения этого семейства: «...Графиня Фикельмон звала меня на вечер. Явлюсь в свет в первый раз после твоего отъезда...» И снова: «...был я у Фикельмон. Надо тебе знать, что с твоего отъезда я кроме как в клубе нигде не бываю...»

К сожалению, сохранилось только одно письмо поэта к Фикельмон, написанное незадолго до его женитьбы. Он пишет из Москвы 25 апреля 1830 года:

«Графиня. Крайне жестоко с Вашей стороны быть такой любезной и заставлять меня так сильно скорбеть от того, что я удален от Вашего салона. Во имя неба, графиня, не подумайте, однако, что мне понадобилось неожиданное счастье получить от Вас письмо, чтобы пожалеть о том месте, которое Вы украшаете. Я надеюсь, что недомогание Вашей матушки не имело последствий и не причиняет Вам более беспокойства. Я хотел бы уже быть у Ваших ног и поблагодарить Вас за милую память обо мне, но мое возвращение еще очень сомнительно.

Позвольте ли Вы сказать Вам, графиня, что Ваши упреки также несправедливы, как Ваше письмо прелестно. Поверьте, что я всегда останусь самым искренним поклонником Вашей любезности, столь непринужденной Вашей беседы, такой приветливой и увлекательной, хотя

Вы имеете несчастье быть самой блестящей из наших знатных дам.

Благоволите, графиня, принять еще раз выражение моей признательности и моего глубокого уважения».

Читая это письмо, один из крупнейших исследователей творчества поэта Д. Д. Благой отметил, что «за светской любезностью чувствуется и несомненная симпатия к блистательной адресатке, которая, соединяя в себе ум и красоту с простотой и непринужденностью — сочетание столь редко встречающееся в женщинах ее круга, — видимо, в какой-то мере напоминала его «милый идеал» — Татьяну последней главы „Евгения Онегина“».

Недаром, по выражению Вяземского (большого друга и поклонника графини), в салоне Долли «дипломаты и Пушкин были дома». А большой свет в целом огорчал ее духовным убожеством. Вот как она говорит об этом в одном из писем к Вяземскому: «Как я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом». Дневник Фикельмон рисует гнетущую атмосферу сплетен, интриг и холодного любопытства, которые окружали Пушкина в последние месяцы его жизни. Долли была одним из немногих истинных друзей поэта и в день его смерти оставила подробнейшую запись в своем дневнике: «Сегодня Россия потеряла своего дорогого, горячо любимого поэта Пушкина, этот прекрасный талант, полный творческого духа и силы! И какая печальная и мучительная катастрофа заставила угаснуть этот прекрасный сияющий светоч, которому как будто предназначено было все сильнее и сильнее освещать все, что его окружало, и который, казалось, имел перед собой еще долгие годы!..»

Фикельмон тяжело пережила безвременную гибель поэта. В этот же год она перенесла еще одну потерю — смерть друга своего детства англичанина Ричарда Артура. Семейю Артуров рекомендовала Хитрово во Флоренции мадам де Сталь. Незадолго до этого скончалась ее

любимая кузина Адель Штакельберг. Все эти события привели Долли к душевному потрясению, усугубившемуся невралгическими болями. Весной 1838 года Долли Фикельмон навсегда покинула Петербург.

Незадолго до этого, в 1837 году, П. Ф. Соколов написал ее большой акварельный портрет, который, по-видимому, предназначался для подарка матери и сестре, остающимся в Петербурге.

В том же 1837 году был написан и портрет Е. М. Хитрово. Его автором был В. И. Гау — мастер акварельного портрета. К сожалению, оригинал утерян, и портрет известен нам только по литографии Шевалье. На оттиске, находящемся в Чехословакии, имеется дата: 1837 год. На портрете уже немолодая, глубоко задумавшаяся, полная женщина. Портрет создан как парадный — с подробным изображением кресла с гербом Кутузова. Видимо, такой хотела Елизавета Михайловна остаться в памяти своих дочерей.

Елизавета Михайловна ненадолго пережила поэта. Она скончалась два года спустя, 3 мая 1839 года, на 56-м году жизни. Все ее друзья горевали. Вяземский написал: «...при возвращении из-за границы в Петербург... узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы, вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок, опустел, замер один из Петербургских салонов, и так уже редких в то время».

Поэтесса Е. П. Ростопчина посвятила ее памяти элегию:

Прощальный гимн воспойте ей, поэты!  
В вас дар небес ценила, поняла  
Она душой, святым огнем согретой, —  
Она друг Пушкина была!..

## „Коль ты к Смирдину войдешь...“



февраля 1832 года на Невском проспекте, в новом помещении библиотеки для чтения А. Ф. Смирдина, расположившейся в правом флигеле лютеранской церкви святого Петра (ныне Невский пр., 22), происходил знаменитый литературный обед, на котором присутствовал Пушкин. Поводом для торжества послужил переезд книжной лавки Смирдина от Синего моста на центральную улицу Петербурга. Гости-писатели решили сделать подарок хозяину дома — предоставить ему свои сочинения для нового альманаха «Новоселье», увидевшего свет ровно через год. В предисловии, помеченном 19 февраля 1833 года, Смирдин писал: «Простой случай — перемещение книжного магазина моего на Невский проспект... доставил мне счастье видеть у себя, на Новоселье, почти всех известных Литераторов». Но в этом, по скромному выражению автора, «простом случае» проявились энергия и деловитость, размах и щедрость незаурядного организатора книжного дела — черты деятеля того нового процесса, который В. Г. Белинский назвал «смирдинским» периодом русской словесности.

Александр Филиппович Смирдин уроженец Москвы, сын торговца полотном. С 1804 года служил мальчиком в книжной лавке П. А. Ильина, затем у А. С. Ширяева. В 1817 году по предложению петербургского книготорговца В. А. Плавильщикова Александр Смирдин переехал из Москвы в столицу, стал приказчиком и ближайшим помощником владельца книжной лавки, находившейся в доме Гавриловой у Синего моста (ныне наб. р. Мойки, 70).

Со смертью Плавильщикова в 1824 году, согласно его завещанию, Смирдин принял на себя все дела и книжный магазин своего бывшего хозяина.

Знакомство Пушкина со Смирдиным относится ко времени возвращения поэта из ссылки. Заочные коммерческие отношения между ними начались раньше. Благодаря хлопотам П. А. Вяземского, в 1824 году А. Ф. Смирдин и книгопродавец А. С. Ширяев приобрели весь тираж поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1200 экземпляров). Газета «Русский инвалид» писала по этому поводу: «...книгопродавцы купили новую поэму «Бахчисарайский фонтан» сочинение А. С. Пушкина за 3000 рублей. Итак, за каждый стих заплачено по пяти рублей. Доказательство, что не в одной Англии и не одни англичане щедрою рукою платят за изящные произведения поэзии».

Пушкин был доволен удачной сделкой, но беспокоился о том, чтобы его покупатели не остались в убытке; 1 апреля 1824 года он писал брату Льву: «Но мне скажут: а какое тебе дело? ведь ты взял свои 3000 р.— а там хоть трава не расти.— Всё так, но жаль, если книгопродавцы, в первый раз поступившие по-европейски, обернутся и останутся в накладе...» И несколько ранее — Вяземскому: «Начинаю почитать наших книгопродавцев и думать, что ремесло наше, право, не хуже другого».

В 1827—1828 годах Смирдин, с согласия Пушкина, выпустил вторым изданием поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила». Имевшие необыкновенный успех у читателей и у покупателей, они принесли Смирдину большие финансовые прибыли.

В 1830 году через посредство П. А. Плетнева Пушкин передал Смирдину право на продажу в течение четырех лет всех вышедших в свет, но еще не распроданных экземпляров своих сочинений, с условием выплаты 600 рублей ассигнациями в месяц. Эти ежемесячные суммы — «оброк», как называл их Пушкин, — были подспорьем для поэта, так нуждавшегося в деньгах, особенно после женитьбы.

Через три года Смирдин выпустил первое полное издание «Евгения Онегина», в которое вошли все восемь глав романа, и в виде приложения — «Отрывки из путешествия Онегина» .

В том же 1833 году Пушкин принял участие в альманахе «Новоселье», подарив Смирдину «Домик в Коломне», а через год во втором томе «Новоселья» появилась поэма Пушкина «Анджело».

Поэт сотрудничал также в «Библиотеке для чтения», журнале, издаваемом Смирдиным; здесь увидели свет повесть «Пиковая дама», «Гусар» и другие стихотворные и прозаические произведения Пушкина.

В свою очередь, Смирдин принимал участие в пушкинском «Современнике», являясь его комиссионером.

Для Смирдина, издателя и книготорговца, главным стимулом был не барыш, а стремление способствовать развитию русской литературы, желание помочь писателям высокой денежной оценкой их сочинений. Понимая необходимость создания условий для профессионализации труда литераторов, Смирдин установил невиданно высокие гонорары: Пушкину он платил за каждый стих по червонцу.

В воспоминаниях А. Я. Панаевой приведен рассказ Смирдина о его денежных отношениях с Пушкиным:

«...Я пришел к Александру Сергеевичу за рукописью и принес деньги-с... Александр Сергеевич мне и говорит... «Рукопись у меня взяла жена, идите к ней, она хочет сама вас видеть», и повел меня; постучались в дверь; она ответила «входите». Александр Сергеевич отворил двери, а сам ушел; я же не смею переступить порога, потому что вижу-с даму, стоящую у трюмо...— Входите, я тороплюсь одеваться,— сказала она.— Я вас для того призвала к себе, чтобы вам объявить, что вы не получите от меня рукописи, пока не принесете мне сто золотых, вместо пятидесяти... Мой муж дешево продал вам

свои стихи... Я поклонился, пошел в кабинет к Александру Сергеевичу...

— Что? с женщиной труднее поладить, чем с самим автором? Нечего делать, надо вам ублажить мою жену; понадобилось ей заказать новое бальное платье, где хочешь, подай денег... Я с вами потом сочтусь».

Этот рассказ, возможно, не очень достоверен, но несомненно здесь то, что Смирдин более чем кто-либо другой был покладист и щедр в отношениях с Пушкиным.

Пушкин остро ощущал необходимость независимого материального существования для писателя. Мыслями об этом он делился с друзьями в письмах, а в поэзии с читателями. «...Я богат через мою торговлю стишистую, а не прадедовскими вотчинами...» — писал он С. А. Соболевскому в ноябре 1827 года.

В стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом» читаем:

Книгопродавец.

.....  
Что ж изберете вы?

Поэт.

Свободу.

Книгопродавец.

Прекрасно. Вот же вам совет;  
Внемлите истине полезной:  
Наш век — торгаш; в сей век железный  
Без денег и свободы нет.

.....  
Позвольте просто вам сказать:  
Не продается вдохновенье,  
Но можно рукопись продать.

.....  
Поэт.

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись,  
Условимся.

Помимо того, что Смирдин установил писателям высшие гонорары, ему принадлежала и другая, по мнению В. Г. Белинского — самая главная, заслуга «перед русскою литературою и русскою образованностью» — удешевление книжных цен, что произвело «решительный переворот в русской книжной торговле и, вследствие этого, в русской литературе». Благодаря этой реформе, смело введенной Смирдиным, книга, по словам Белинского, стала достоянием не только привилегированного читателя, но оказалась доступной и «тому классу людей, которые наиболее часто читают и следовательно наиболее нуждаются в книгах».

Кроме того, Смирдин возвел книжную торговлю едва ли не в самый высокий ранг. Он стремился (и это ему вполне удалось) перевести книгу — этот предмет купли-продажи — в сферу высоких духовных ценностей.

Оборудуя свой новый магазин, Смирдин не жалел средств: только за аренду бельэтажа во флигеле церкви святого Петра (ныне Невский пр., 22—24), где разместилась лавка, он платил 12 000 рублей ассигнациями в год.

«А. Ф. Смирдин... основал новый книжный магазин, какого еще не было в России...— писал Н. И. Греч в «Северной пчеле»,— г. Смирдин утвердил торжество русского ума и, как говорится, посадил его в первый угол: на Невском проспекте, в прекрасном новом здании, принадлежащем лютеранской церкви св. Петра, в нижнем жилье, находится ныне книжная торговля г. Смирдина... Русские книги, в богатых переплетах, стоят горделиво за стеклом в шкафах красного дерева, и вежливые приказчики, руководствуя покупающих своими библиографическими сведениями, удовлетворяют потребности каждого с необыкновенной скоростью. Сердце утешается при мысли, что, наконец, и русская наша литература вошла в честь, и из подвалов переселилась в чертоги!..»

Пушкин был завсегдатаем книжной лавки Смирдина



еще в то время, когда она находилась в старом помещении, на Мойке. В библиотеке Пушкина сохранились семь книг с экслибрисами библиотеки Смирдина. Примечательно, что в книжную лавку Смирдина Пушкин адресовал свою корреспонденцию.

Знаменательным в отношениях поэта со Смирдиным было и то, что последним (известным нам) посетителем квартиры Пушкина в день дуэли был Ф. Ф. Цветаев — приказчик и библиотекарь, посланный Смирдиным для переговоров о новом издании сочинений поэта.

Пушкин знал все петербургские книжные магазины и тратился на книги, по его выражению, «как стекольщик на алмазы».

Современники поэта — писатели, художники — оставили воспоминания и зарисовки, которые можно объединить под заглавием «Пушкин в книжной лавке Смирдина». Два отрывка из этих воспоминаний содержат рассказ о создании эпиграммы: «Коль ты к Смирдину войдешь...»

«...Однажды... я зашел в книжный магазин Смирдина... — пишет И. И. Панаев. — В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один большого роста, с весьма важными и смелыми приемами, полный, с рыжеватой эспаньолкой, одетый франтовски; другой среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми волосами, с несколько арабским профилем, толстыми выдававшимися губами и с необыкновенно живыми и умными глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. Я узнал в нем Пушкина, по известному портрету Кипренского...

Выражение лица его показалось мне очень симпатическим, а улыбка чрезвычайно приятной... Он спросил у Смирдина... какую-то книгу и, перелистывая ее, обратился к своему спутнику с каким-то замечанием. Спутник (С. А. Соболевский. — Авт.), заложив руку за жилет,

...с улыбкою обратясь к Смирдину, начал с некоторою торжественностью:

К Смирдину как ни придешь..

и остановился...

...Пушкин взглянул на своего спутника с полуулыбкою и покачал головой...

После я уже узнал, что стих, произнесенный Соболевским у Смирдина, был первый стих известного экспромта Пушкина:

К Смирдину как ни придешь,  
Ничего не купишь,  
Иль Сенковского найдешь,  
Иль в Булгарина наступишь».

Иная, менее благодушная и безоблачная версия создания эпиграммы принадлежит знакомому Пушкина — писателю В. А. Соллогубу, который вначале рассказывает об оскорбительном анонимном пасквиле, полученном поэтом 4 ноября 1836 года, и о его вызове на поединок, посланном Ж. Дантесу.

«Мы зашли к оружейнику,— пишет Соллогуб далее,— Пушкин приценивался к пистолетам, но не купил, по неимению денег. После того мы заходили еще в лавку к Смирдину, где Пушкин написал записку Кукольнику, кажется, с требованием денег. Я, между тем, оставался у дверей и импровизировал эпиграмму:

Коль ты к Смирдину войдешь,  
Ничего там не найдешь,  
Ничего ты там не купишь.  
Лишь Сенковского толкнешь.

Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенной живостью заключил:

Иль в Булгарина наступишь».

Из двух версий наиболее достоверной признается вторая.

Имя Смирдина соединяется в эпиграмме с именами литературных противников Пушкина — реакционных журналистов. С Булгариным, Сенковским, Гречем Смирдина связывали деловые и финансовые отношения. Изворотливые и ловкие компаньоны издателя, по словам цензора А. В. Никитенко, «владели его карманом». По их вине в начале 1840-х годов началось падение дела Смирдина, а в 1857 году, окончательно разоренный, сломленный болезнью и нуждой, знаменитый издатель и книгопродавец умер, всеми забытый.

В эпиграмме «Коль ты к Смирдину войдешь...» вместе с презрением к Булгарину — Сенковскому слышится отзвук иронического отношения к хозяину лавки, вызванного, вероятно, тем, что Смирдин старался со всеми ладить. «Смирдин истинно честный и добрый человек, но он мало образован и, что всего хуже, не имеет характера», — писал Никитенко. Не умея отличить подлинно ценное в литературе от антихудожественного, лжедемократического, Смирдин стремился всех объединить. Попыткой такого объединения был обед 19 февраля 1832 года, на который были приглашены все известные писатели, литераторы, журналисты различных, а порой антагонистических, взглядов. Миролюбивое намерение хозяина лавки оказалось тщетным.

За праздничным столом произошел инцидент, одним из «героев» которого был Н. И. Греч. С его слов современники записали рассказ: «Нам с Булгариным привелось сидеть так, что между нами сидел цензор Василий Николаевич Семенов, старый лицеист, почти однокашник Александра Сергеевича. Пушкин на этот раз был как-то особенно в ударе, болтал без умолку, острил преловко и хохотал до упаду. Вдруг заметив, что Семенов сидит между нами двумя — журналистами... крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семено-

ву: «Ты, брат Семенов, сегодня словно Христос на горе Голгофе». Слова эти точас были всеми поняты, я хохотал, разумеется, громче всех...» Делая «хорошую мину при плохой игре», Греч старался все обратить в невинную шутку. Но Булгарин не мог себя сдержать. Он «пришел в совершенное... расстройство и задыхался от бешенства».

Вышедший через год альманах «Новоселье» украшал титульный лист с виньеткой, изображающей обед. Художник А. П. Брюллов и гравер С. Ф. Галактионов, которые были среди гостей, с большим мастерством исполнили миниатюрный групповой портрет писателей во время торжественной трапезы. Виньетка представляет собой документальную и художественную ценность в особенности потому, что в ней запечатлен эпизод петербургской жизни Пушкина и знаменательное событие в истории Петербурга. Поэт показан в обстановке смирдинской библиотеки — своего рода литературном салоне, в окружении людей своего «цеха» — друзей и врагов, сторонников и противников.

Альманах «Новоселье», крайне разношерстный по составу авторов, вызвал убийственно отрицательные отзывы единомышленников Пушкина.

В феврале 1833 года Н. В. Гоголь писал М. П. Погодину: «Читал ли ты смирдинское «Новоселье»? Книжица ужасная: человека можно уколотить. Для меня она замечательна тем, что здесь первый раз показались в печати такие гадости, что читать мерзко». В первую очередь Гоголь имел в виду клеветнический фельетон О. И. Сенковского (Барона Брамбеуса) «Большой выход у сатаны».

Горько-ироническую характеристику альманаху дал П. А. Вяземский в письме к А. И. Тургеневу от 27 августа 1833 года: «Вековые дубы — творение рук божьих и садовника божьего — времени; его не перегонишь... а наше человеческое дело — строить лачужки «Ново-

селья», где рядом с Жуковским — Хвостов; где я профилем, а Булгарин во всю харю; где мед с дегтем, но и деготь с медом...»

Наиболее однозной фигурой среди литературных врагов Пушкина был Фаддей Венедиктович БУЛГАРИН. Поляк по происхождению, Булгарин кончил курс в петербургском кадетском корпусе. В 1805—1807 годах участвовал в походах против Наполеона I. По словам сослуживцев, Булгарин не отличался храбростью: накануне сражения старался остаться дежурным по конюшне. За недостойное поведение был исключен из военной службы. Изгнанный из русских войск, Булгарин перешел на сторону Наполеона. В 1812 году вместе с французами вступил в Россию, а затем бежал при отступлении разбитой наполеоновской армии. По окончании Отечественной войны Булгарин вновь оказался в России. Он приехал в Петербург. Встреча с Н. И. Гречем определила дальнейшую судьбу бывшего военного: он вступил на литературное поприще. В 1820-е годы Булгарин был редактором журналов «Северный архив» и «Литературные листки», а с 1825 года совместно с Гречем издавал журнал «Сын отечества» и «Северную пчелу» — единственную газету в России, которой было разрешено иметь политический отдел.

Не лишенный таланта, но беспринципный журналист, менявший свои взгляды и убеждения в зависимости от обстоятельств, плодовитый писатель, творивший на потребу невзыскательной малокультурной публики, тайный осведомитель III отделения — такова неполная характеристика Фаддея Булгарина, имя которого стало нарицательным для обозначения самого низменного существа в писательском мире, человека, по словам Пушкина, «...столь же бесстыдного как и гнусного». При этом Булгарин сумел завоевать доверие и дружбу А. С. Грибоедова, К. Ф. Рылеева, А. А. Дельвига, А. Мицкевича и во мнении многих порядочных людей приобрел, по сло-

вам Н. И. Греча, репутацию «малого умного, любезного, веселого, гостеприимного». Тот же Греч называл Булгарина «отъявленным либералом». Действительно, в 1810—1820 годах Булгарин разделял настроения своих соотечественников-поляков, оказывал им поддержку в борьбе за независимость Польши.

Но уже в 1823—1824 годах, незадолго до восстания декабристов, Булгарин отрекся от оппозиционных взглядов по отношению к царскому правительству. После 14 декабря 1825 года он, изображая порядочного человека, проявил сочувствие и содействие по отношению к прежним друзьям и свободолюбивым полякам, но при этом, верный своей натуре, стал предателем и доносчиком; так, составленное им описание примет В. К. Кюхельбекера, пытавшегося скрыться от преследования полиции, оказалось столь точным, что, благодаря этому описанию, последний был схвачен и арестован.

Знакомство и первые встречи Булгарина с Пушкиным происходили начиная с 1827 года, когда поэт вернулся в Петербург после ссылки. В это время Пушкин относился к Булгарину терпимо, печатал в его изданиях некоторые поэтические произведения. Дорожа сотрудничеством Пушкина, Булгарин расточал ему восторженные похвалы.

Причиной разрыва их отношений и взрыва острейшей полемики стала «Литературная газета» А. А. Дельвига, задуманная как противовес «Северной пчеле» с ее беспринципностью и духом угодничества. По этому поводу Пушкин писал Вяземскому 2 мая 1830 года: «Стыдно будет уступить поле Булгарину. Дело в том, что чисто — литературной газеты у нас быть не может, должно принять в союзницы или Моду или Политику <...> Но неужто Булгарину отдали монополию политических новостей? Неужто кроме Сев.<ерной> Пчелы ни один журнал не смеет у нас объявить, что в Мексике было землетрясение, и что Камера депутатов закрыта до сеп-

тября? Неужто нельзя выхлопотать этого дозволения? <...> Да и неприлично правительству заключать союз — с кем? с Булгариным и Гречем. Пожалуйста, поговори об этом, но втайне: если Булгарин будет это подозревать, то он, по своему обыкновению, пустится в доносы и клевету — и с ним не справишься».

Предвидение Пушкина оказалось верным. Боясь конкуренции, Булгарин начал яростную травлю «Литературной газеты», а затем и Пушкина. Не брезгуя никакими средствами, отрекаясь от своих прежних похвал, Булгарин объявил на страницах своей газеты о падении таланта Пушкина, не гнушался задевать и его личность.

Пушкин отвечал на эти грязные измышления блестящими полемическими статьями и эпиграммами. Одной из самых острых по своей разоблачительной силе была статья «О записках Видока». В образе парижского сыщика читателя «Литературной газеты» безошибочно узнали «...человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями... отъявленного плута... и потом, — продолжал Пушкин, — вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека». Здесь Пушкин прежде всего имел в виду роман Булгарина «Иван Выжигин», имевший подзаголовок: «Нравственно-сатирический роман».

Удар, нанесенный Пушкиным «Флюгарину», был уничтожающе метким. Изобличительная кличка «Видок» утвердилась за Булгариным, в особенности благодаря эпиграммам Пушкина:

Не то беда, что ты поляк:  
Костюшко лях, Мицкевич лях!  
Пожалуй, будь себе татарин, —  
И тут не вижу я стыда;  
Будь жид — и это не беда;  
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Эти строки дополняет другая эпиграмма, которая кончается словами:

Беда, что скучен твой роман.

Здесь Пушкин подразумевал сочинение Булгарина «Димитрий Самозванец», в котором оказались некоторые сцены из трагедии «Борис Годунов» Пушкина. Существует предположение, что именно Булгарин еще в 1826 году составил негласный отзыв о «Борисе Годунове», напечатанном лишь в 1831 году.

Стихотворение Пушкина «Моя родословная», и в особенности его завершающие строки — «Post scriptum», — смелая и полная достоинства отповедь Булгарину, пытавшемуся высмеивать происхождение поэта. В письме к А. Х. Бенкендорфу от 24 ноября 1831 года Пушкин предупредил, что списки стихотворения ходят по рукам, и далее писал: «...о чем я не жалею, так как не отказываюсь ни от одного его слова».

Решил Фиглярин, сидя дома,  
Что черный дед мой Ганнибал  
Был куплен за бутылку рома  
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,  
Кем наша двинулась земля,  
Кто придал мощно бег державный  
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,  
И сходно купленный арап  
Возрос усерден, неподкупен,  
Царю паперсник, а не раб.

В этом стихотворении в значительной мере отобразилась суть полемики между Пушкинным и Булгариным, выставившим себя как выразителя «демократии» в противовес «аристократизму» Пушкина. Псевдодемократизм произведений Булгарина, имевших успех лишь у малообразованного читателя в среде купечества и мещанства, был полной противоположностью подлинно народному характеру творчества Пушкина — представителя прогрессивной дворянской культуры, гордившегося своим



происхождением и принадлежностью своего рода к отечественной истории. «...Я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них», — писал поэт в приведенном выше письме к Бенкендорфу.

В эпиграмме «Коль ты к Смирдину войдешь...» имя Булгарина стоит рядом с именем Сенковского.

Осип-Юлиан Иванович СЕНКОВСКИЙ (псевдоним — Барон Брамбеус) — известный лингвист, ученый-ориенталист, профессор восточного факультета Петербургского университета, редактор «Библиотеки для чтения».

Пушкин ценил его энциклопедические знания, дарование писателя-беллетриста и журналиста. Однако беспринципность и коммерческий подход Сенковского к литературному делу претили Пушкину и были причиной их разногласий.

Пушкин и Сенковский встречались в лавке Смирдина. Оба они присутствовали на обеде 19 февраля 1832 года. Как знаменитые завсегдатаи книжного магазина Смирдина, Пушкин и Сенковский изображены на виньете ко второму тому «Новоселья», вышедшему в 1834 году. В этой виньете, созданной художником А. П. Сапожниковым и гравированной С. Ф. Галактионовым, представлен внутренний вид магазина с фигурами самого хозяина за конторкой и беседующего с ним Сенковского. На первом плане на фоне стеллажей с книгами изображены Пушкин и Вяземский.

В мемуарах современников, литераторов и художников встречаются упоминания о встречах Пушкина с Сенковским в домах их общих петербургских знакомых. В дневнике А. Н. Мокрицкого (автора рисунка, запечатлевшего Пушкина на смертном одре) имеется запись, датированная ноябрем 1836 года, где художник рассказывает, как, придя в мастерскую К. П. Брюллова, встретил там Жуковского, Пушкина и Барона Брамбеуса.

В 1834 году вышел первый номер «Библиотеки для чтения». На титульном листе значилось: «Издание книгопродавца Александра Смирдина». Это была еще одна попытка со стороны издателя объединить в новом журнале писателей различных, антагонистических направлений. Рядом с именами Пушкина, Баратынского, Крылова, Гоголя и других писателей пушкинского круга стояли имена Булгарина, Греча, Барона Брамбеуса, Кукольника — представителей реакционного лагеря.

Энергичный и предприимчивый редактор, Сенковский с помощью Смирдина сумел добиться того, что журнал приобрел несколько тысяч подписчиков.

Признавая неоспоримую заслугу «Библиотеки для чтения», привлекавшей к чтению самую широкую публику, В. Г. Белинский в то же время писал: «Тайна постоянного успеха «Библиотеки» заключается в том, что этот журнал есть по преимуществу журнал провинциальный. <...> Представьте себе, — продолжал Белинский, — семейство степного помещика, семейство, читающее все, что ему попадается, с обложки до обложки; еще не успело оно дочитать до последней обложки, ...а уж к нему летит другая книжка, и такая же толстая, такая же жирная, такая же болтливая, словоохотливая... Дочка читает стихи г. Ершова, Гогниева, Струговщикова и повести г.г. Загоскина, Ушакова, Панаева, Калашникова и Масальского; сынок, как член нового поколения, читает стихи г. Тимофеева и Барона Брамбеуса; батюшка читает статьи о двухпольной и трехпольной системах, о разных способах удобрения земли, а матушка о новом способе лечить чахотку и красить нитки; а там еще остается для желающих критика, литературная летопись, из которых можно черпать горстями и пригоршнями готовые (и часто умные и острые, хотя редко справедливые и добросовестные) суждения о современной литературе...»

Гоголь, Жуковский и некоторые другие писатели не-

долго оставались участниками «Библиотеки для чтения». Сенковский всячески старался удержать Пушкина в своем журнале, однако поэт также порывает с «Библиотекой для чтения». Он решает осуществить давнишний замысел — создать свой журнал — «Современник», в котором намеревается сплотить лучших представителей прогрессивной русской литературы, способных противостоять «журнальному триумvirату», в том числе Сенковскому, стоявшему на позициях верноподданничества и предпринимательства в литературе. «...Дружина ученых и писателей, какого б<рода> они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности», — писал Пушкин в статье «Опровержение на критики».

Под давлением Сенковского Смирдин предложил Пушкину 15 000 рублей отступного, с тем чтобы он по-прежнему отдавал свои произведения в «Библиотеку для чтения». По этому поводу Пушкин писал П. В. Нащокину: «...хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура, что с ними связываться невозможно». Получив отказ и боясь конкуренции, Сенковский еще до выхода «Современника» напечатал памфлетную заметку, направленную против будущего журнала Пушкина. «Современник» принял вызов: в первом его томе появилась статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.», автор которой Н. В. Гоголь высказал столь непримиримую и резко отрицательную критику всей враждебной журналистики, что Пушкин-редактор вынужден был внести в статью весьма значительные изменения и, оберегая Гоголя, снял его авторство. Сенковский пользовался всяким случаем, чтобы нанести удар Пушкину. Таким случаем была оскорбительная рецензия на изданный поэтом перевод сказки Виланда «Вастола», сделан-

ный Е. П. Люценко. Статья Сенковского, оказавшаяся предметом толков и пересудов, едва ли не стала причиной дуэли Пушкина с его светским знакомым С. С. Хлюстиным.

После смерти Пушкина Сенковский поместил в «Библиотеке для чтения» стихи, прославлявшие его как великого национального поэта.

Третьим членом «журнального триумvirата» был Николай Иванович ГРЕЧ. Критик, писатель, педагог, автор учебных пособий по русской грамматике и словесности. С 1812 года Греч издавал журнал «Сын отечества», в конце 1825 года его соиздателем стал Булгарин.

Издательские и литературные отношения между Пушкиным и Гречем возникли задолго до их встречи в Петербурге. В 1815 году в «Сыне отечества» было опубликовано стихотворение юного поэта-лицеиста «Наполеон на Эльбе», позднее, в 1820-х годах, Греч напечатал в своем журнале другие стихотворные произведения Пушкина, в их числе — отрывки из «Руслана и Людмилы».

Сохранилось немало свидетельств о многочисленных встречах Пушкина с Гречем: у общих знакомых, на «четвергах» у Греча в доме Косиковского на Большой Морской улице (ныне ул. Герцена, 14), в лавке Смирдина, на совещании учредителей «Энциклопедического лексикона» Плюшара, на собраниях Академии наук.

В первые годы своей журнальной деятельности Греч был близок к либеральным литературным кругам. После 1825 года его позиция резко меняется: являясь со-редактором Булгарина по «Северной пчеле», он, подобно «Фиглярину», исповедует идею «православия, самодержавия и народности». Став союзником Булгарина, Греч неизбежно должен был выступать против Пушкина. Их отношения резко обострились в 1830—1831 годах в связи со статьей-памфлетом Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» и др. Пушкин окрестил Булгарина и Греча презрительным прозвищем

«грачи-разбойники». Это меткое выражение соответствовало словам самого Греча, цинично признававшего, что и ему как журналисту и его собратьям «приходится разбойничать... лаяться, острить, отбиваться, нападать, даже хищничать». Но, в отличие от своего единомышленника, Греч не позволял себе опускаться до тех недозволенных способов борьбы, которыми не гнушался Булгарин. Греч вел себя по отношению к Пушкину более гибко, сдержанно и тактично. Личные взаимоотношения между ними оставались корректными. И хотя Греч не был другом Пушкина, умирающий поэт, узнав о смерти сына Греча, нашел в себе мужество передать отцу сочувствие в связи с постигшей его утратой.

Удивительная сила духа, проявленная умирающим Пушкиным по отношению к литературному собрату, вызвала горестное восхищение В. А. Жуковского, писавшего отцу поэта: «Но вот черта, чрезвычайно трогательная. В самый день дуэля, рано поутру, получил он (Пушкин.— Авт.) пригласительный билет на погребение Гречева сына. Он вспомнил об этом посреди всех страданий». И далее Жуковский приводит слова Пушкина в передаче И. Т. Спасского (домашнего врача Пушкиных), бывшего у постели умирающего поэта: «Если увидите Греча... поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере».

**„С Гомером долго ты беседовал один...“**



В конце 1810-х годов «законодатель» театральной жизни Петербурга «важный» Гнедич познакомился с совсем еще юным автором «Руслана и Людмилы». Они оценили друг друга, сблизились и вступили в тесное литературное сотрудничество, которое продолжалось и в годы ссылки Пушкина. Гнедич не только не прерывал своих дружеских отношений с опальным

поэтом, но и стал для него посредником в издательских делах, одним из наиболее усердных его корреспондентов. Во многом благодаря заботам Гнедича в Петербурге вышла поэма «Руслан и Людмила», с превосходной виньеткой, по рисунку А. Н. Оленина. «Платье, шитое по заказу вашему, на «Руслана и Людмилу», — прекрасно; и вот уже четыре дня как печатные стихи, виньета и переплет детские утешают меня», — откликнулся на это издание Пушкин.

Гнедич не забывал о собрате по Аполлону, оторванном от столичной литературной жизни, а Пушкин внимательно следил за нею по журналам и письмам друзей. В другом своем письме к Гнедичу Пушкин писал: «Видал я прекрасный перевод «Андромахи», которого читали вы мне в вашем эпикурейском кабинете, и вдохновенные строфы: Уже в последний раз приветствовать я мнил и проч. Они оживили во мне воспоминанья об вас и чувство прекрасного, всегда драгоценное для моего сердца».

Гнедич посылал Пушкину на юг печатные оттиски своих новых произведений, Пушкин — списки новых стихов, с поручением напечатать их в Петербурге. Так, получив от Гнедича экземпляр его известной идиллии «Рыбаки», он отправил ему рукопись «Кавказского пленника»: «Поэту возвышенному, просвещенному ценителю поэтов, вам предаю моего «Кавказского пленника»; в награду за присылку прелестной вашей идиллии (о которой мы поговорим на досуге) завещаю вам скучные заботы издания; но дружба ваша меня избаловала. Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте, издайте его в двух песнях или только в одной, с предисловием или без; отдаю вам его в полное распоряжение». Прочитав «Кавказского пленника», Жуковский восхищенно писал в письме к Гнедичу: «Слог прелестный! Есть картины несравненные». «От сердца благодарю Вас за Ваше дружеское по-

печение,— отозвался Пушкин из Кишинева.— Вы избавили меня от больших хлопот, совершенно обеспечив судьбу „Кавказского пленника”».

Пушкин не только внимательно читал, запоминал, но и цитировал Гнедича в собственных произведениях. Так, к стихам первой главы «Евгения Онегина»:

Как часто летнею порою,  
Когда прозрачно и светло  
Ночное небо над Невою... —

относится авторское примечание: «Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича: Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак...» И далее следует обширная выписка из гнедичевых «Рыбаков».

Весной 1826 года Гнедич тяжело и опасно заболел. Узнав об этом, Пушкин писал Плетневу: «Гнедич не умрет прежде совершения Илиады — или реку в сердце своем: несть Феб», то есть — или покровителя искусств Аполлона не существует. Пророчество Пушкина сбылось: Гнедич смог завершить дело своей жизни. После нескольких лет лечения на Кавказе и в Одессе он вернулся в Петербург. Здесь они встретились вновь. Особенно часто поэты виделись у Олениных (на Фонтанке и в Приютине), а также у Жуковского, А. А. Шаховского, на квартире Гнедича в здании Публичной библиотеки.

В начале 1829 года «Илиада Гомера, переведенная Н. Гнедичем», наконец вышла из печати. На страницах очередного номера «Литературной газеты», издаваемой Дельвигом и Пушкиным, была помещена небольшая заметка, начинавшаяся словами: «Наконец, вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод Илиады! Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частию устремились на блестящие безделки, когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности, когда поэзия не есть бла-

гоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие: с чувством глубокого уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительно труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами».

Напечатанная без подписи заметка эта принадлежала перу Пушкина. Гнедич догадался об этом. В тот же день, только что ознакомившись с очередным номером газеты, он отправил Пушкину короткую записку: «Любезный Пушкин! Сердце мое полно, а я один: прими его излияние. Не знаю, кем написаны во 2-м номере «Литературной газеты» несколько строк об «Илиаде»; но едва ли целое похвальное слово, в величину с Плиниеву «Траян»», так бы тронуло меня, как эти несколько строк! Едва ли мне в жизни случится читать что-либо о моем труде, что было бы сказано так благородно, и было бы мне так утешительно и так сладко!.. Не ешь ли ты сегодня у Андрие пирога с бобом?»

Пушкин отвечал: «Я радуюсь, я счастлив, что несколько строк, робко брошенных мною в «Газете», могли тронуть Вас до такой степени. Незнание греческого языка мешает мне приступить к полному разбору «Илиады» Вашей. Он не нужен для Вашей славы, но был бы нужен для России. Обнимаю Вас от сердца. Если Вы будете у Андрие, то я туда загляну. Увижусь с Вами прежде».

Гнедичеву «Илиаду» летом 1830 года Пушкин взял с собой в Болдино. Впечатление от вдохновенного перевода Гнедича он с удивительным лаконизмом выразил в своей эпиграмме на перевод «Илиады»:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи.  
Старца великого тень чую смущенной душой.

По свидетельству одного из современников, Гнедич любил Пушкина «с каким-то родительским исступле-



нием». Он искренне признавал литературное превосходство Пушкина, видел в его поэзии развитие того пути в литературе, которым шел сам. Эти чувства Гнедич выразил однажды в стихотворном послании к Пушкину, которое он написал сразу по прочтении его «Сказки о царе Салтане», впервые напечатанной в 1832 году:

Пушкин, Протей  
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!  
Уши закрой от похвал и сравнений  
Добрых друзей!  
Пой, как поешь ты, родной Соловей!  
Байрона гений иль Гёте, Шекспира,  
Гений их неба, их нравов, их стран.  
Ты же, постигнувший таинства Русского духа и мира,  
Ты наш Баян!  
Небом родным вдохновенный,  
Ты на Руси наш Певец *несравненный*.

«А я,— шутливо прибавил Гнедич в конце послания,— его истинный почитатель и покорнейший слуга Н. Гнедич».

Последний раз Гнедич писал Пушкину в мае 1832 года, за полгода до своей кончины. Пушкин тогда только что переехал с Галерной (ныне — ул. Красная) на Фурштадтскую (ныне — ул. Петра Лаврова). В это же время Наталья Николаевна родила первого ребенка — дочь Марию. Поздравляя с тем и другим вместе, Гнедич послал Пушкину пирог и записку:

Пушкин, прими от Гнедича два в одно время привета:  
Первый привет с новосельем; при нем, по обычаю предков,  
Хлеб-соль прими ты в образе гекзаметрической булки;  
А другой привет мой — с счастьем отца, тебе новым,  
Сладким, прекрасным и с моей любви удвояющим сладость!

Пирог, посланный с запиской, немного помялся, пока Гнедич сам заворачивал его, и тогда он приписал, что булка «гекзаметрическая», ибо, как это часто случается с гекзаметрами, она поизломалась.

Это напомнило Пушкину их совместные занятия гекзаметром. Часто ломались пушкинские гекзаметры, в которых поэт упражнялся под отеческим руководством Гнедича.

Воспоминания об этом, размышления о судьбе Гнедича, о его высоком, самоотверженном служении поэзии легли в основу последнего послания Пушкина к Гнедичу, в котором поэт развивал мысли, ранее выраженные в заметке, опубликованной в «Литературной газете». Стихотворение стало своеобразным памятником Гнедичу, его труду, его благородству:

С Гомером долго ты беседовал один.  
Тебя мы долго ожидали,  
И светел ты сошел с таинственных вершин  
И вынес нам свои скрижали...

В плавно чередующихся стихах возникал образ переводчика-пророка, несущего народу свои творения.

Через полгода Гнедич умер. Это произошло 3 февраля 1833 года, на другой день после дня его рождения, — ему исполнилось сорок девять лет.

Последние годы он провел в небольшой квартире на Пантелеймоновской улице (ныне — ул. Пестеля), в доме Оливье. 6 февраля 1833 года из этой квартиры Пушкин, Жуковский, Крылов проводили Гнедича в последний путь.

### В орбите „Современника“



дею журнала, который объединил бы прогрессивные литературные силы против господствующей «булгаринской» прессы, Пушкин вынашивал в течение многих лет. Мысль о журнале возникла у него в уединении михайловской ссылки. 10 августа 1825 года поэт писал П. А. Вяземскому: «Когда-то мы возьмемся за журнал! мочи нет хочется...»

Подступом к собственному журналу явилось сотрудничество Пушкина в «Литературной газете», издаваемой А. А. Дельвигом в 1830 году. Участие в ней было деятельным: кроме авторства поэт брал на себя хлопоты о расширении программы газеты перед официальными инстанциями. Дел хватало.

Пушкину хорошо был известен в ту пору дом на углу Загородного проспекта и Щербакова переулка — дом купца Тычинкина (ныне Загородный пр., 1), где с ноября 1829 года жил Дельвиг. Здесь же находилась и контора «Литературной газеты». С 3-го по 12-й номер газеты за январь 1830 года выпустил Пушкин вместо отсутствовавшего в Петербурге Дельвига.

Намерение Пушкина издавать журнал смущало его друзей. Вяземский не находил в поэте «ни достойных качеств, ни погрешностей, свойственных и даже нужных присяжному журналисту. <...> Журналист — поставщик и слуга публики. А Пушкин не мог быть ничьим слугой. Срочная работа была не по нем». Друзья и родственники поэта боялись за его талант, его призвание. Сестра — Ольга Сергеевна — находила журнальное дело вовсе не соответствующим натуре Пушкина. «Мой бедный брат, — писала она, — готов осквернить свой поэтический гений. <...> Куда ему с его высокой, созерцательной душой окунуться в самую обыденную прозу, возиться с будничным вздором». Да и самого поэта порой обуревали сомнения: сделаться в России журналистом не значило ли стать «собратом Булгарину и Полевому»? Предугадывал Пушкин и непереносимые трудности, которые тотчас возникнут с цензурой и правительством, вознамерясь он осуществить задуманную программу журнала. «У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист, — писал он жене. — Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры. <...> Что же теперь со мною будет?» Но в 1832

году Пушкин окончательно решил стать журналистом. 27 мая он обратился к Бенкендорфу:

«Литературная торговля находится в руках издателей Сев<ерной> Пчелы, и критика, как и политика, сделалась их монополией.

От сего терпят вещественный ущерб все литераторы, не находящиеся в приятельских сношениях с издателями Северной Пчелы; ни одно из их произведений не продается, ибо никто не станет покупать товара, оужденного в самом газетном объявлении.

Для восстановления равновесия в литературе нам необходим журнал <...>, в коем бы печатались политические и заграничные новости...»

Разрешение на издание журнала (без политического отдела) Пушкин получил только в 1835 году. Николай I особо оговорил необходимость цензуры. Журнал мыслился как литературный сборник, выходящий четыре раза в год, по виду своему он напоминал альманах с двумя отделами — поэзии и прозы. Осенью 1835 года Пушкин много думал о журнале, его названии, оформлении. Но более всего — о сотрудниках. По мнению Пушкина, «словие журналистов есть рассадник людей государственных». «Приступив наконец к изданию «Современника», — скажет впоследствии Н. А. Добролюбов, — Пушкин с увлечением принялся за него, желая сделать из него издание с благородным тоном и характером».

В апреле 1836 года вышел из печати первый номер нового журнала. На обложке стояло: «Современник. Литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным». Петербуржцы, ожидавшие этого издания с нетерпением, почувствовали в журнале Пушкина «отпечаток его духа» — так писал в дневнике Л. И. Голенищев-Кутузов.

Пушкин поистине обнаружил в себе дар организатора, критика, редактора. Его стараниями был создан прогрессивный журнал, средоточие материалов высокого

художественного уровня. В каждом номере помещались две-три статьи о современной литературе. Журнал предлагал читателю рекомендательную библиографию. Отделу «Новые книги» придавалось большое значение. В первой книжке журнала его составлял Н. В. Гоголь, во второй — сам Пушкин.

Если вспомнить, что А. Ф. Смирдин платил Пушкину «по червонцу» за стихотворную строчку, то бескорыстный вклад поэта в журнал неоценим. Кроме того, что Пушкин вел переписку, редактирование, придумывал названия, работал над предисловиями и послесловиями, в первых четырех томах «Современника» были напечатаны «Скупой рыцарь», «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум», статья «Джон Теннер», стихотворения «Пир Петра Первого», «Полководец», «Родословная моего героя» и многие другие.

Ведя войну на два фронта — с реакционной литературой и отживающим романтизмом, Пушкин сумел сосредоточить в своем журнале все, что было лучшего в современной литературе.

Одним из самых деятельных сотрудников и наиболее ответственным после Пушкина лицом в журнале стал молодой Николай Васильевич ГОГОЛЬ.

По словам друга Пушкина П. В. Нащокина, Пушкин «выводил Гоголя в люди». При этом степень доверия Пушкина к нему поражала друзей поэта, воспринимавших Гоголя в ту пору как «какого-то учителя в женском заведении», «плохо одетого и ничем не выказавшегося».

И тем не менее Гоголь почти с самого начала оказался в курсе журнальных замыслов Пушкина. Еще в 1832 году он писал И. И. Дмитриеву о газете «Дневник», которую предполагал издавать поэт: «Газеты он не будет издавать — и лучше. В нынешнее время приняться за опозоренное ремесло журналиста не слишком лестно и

для известного человека; но гению этим заняться значит потратить чистоту и непорочность души своей и сделаться обыкновенным человеком». Вместе с Пушкиным пройдя через сомнения подобного рода, Гоголь всецело предался журналу.

О «Современнике» он узнал одним из первых, около 10 января 1836 года, как только было получено разрешение на издание журнала. Пушкин тотчас же призлек в журнал Гоголя, и тот стал готовить материал для «Современника» потихоньку от «Московского наблюдателя», к участию в котором он было склонился. В специальной статье о «Современнике» Гоголь писал: «Получивши разрешение на издание его (журнала.— Авт.), он (Пушкин.— Авт.) хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Моя настойчивая речь и обещание действовать его убедили...»

Гоголь сдержал слово. Еще осенью 1835 года Пушкин получил от него для «Современника» повесть «Коляска». 11 октября Пушкин передавал через П. А. Плетнева «великое спасибо Гоголю за его „Коляску”, в ней альманах далеко может уехать». По доле участия в первой книжке пушкинского журнала Гоголь превзошел всех других авторов. В ней была напечатана статья «О движении журнальной литературы» и составлен, по преимуществу Гоголем, раздел «Новые книги», содержащий восемь рецензий и заключительную заметку. Произведения Гоголя по объему составили почти треть первого номера «Современника».

В связи с публикацией статьи Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.» возникли осложнения. Пушкин знал еще с лета 1831 года о замысле Гоголя написать острополемическую статью о современных журналах. О ее содержании ему было известно в

общих чертах. В окончательном виде эта статья оказалась односторонней Пушкину. Он не одобрил в ней форму подачи материала, излишнюю нетерпимость критики. По устным указаниям-советам Пушкина в нее были внесены некоторые исправления.

Статью задумывали опубликовать анонимно, но по случайности в оглавление попало имя Гоголя. Предвидя скорую премьеру «Ревизора», Пушкин задержал выпуск номера, распорядился о перепечатке последних двадцати четырех страниц и изъятии из оглавления имени Гоголя. Анонимность гоголевской статьи дала публике основание рассматривать ее как редакционную.

«Позволительный билет» на выпуск тиража и на продажу первого номера «Современника» датирован 9 апреля. Но 29 марта умерла Надежда Осиповна Пушкина, и 8 апреля Пушкин выехал из Петербурга в Михайловское хоронить мать. Первая книжка журнала вышла без него.

Для первой книжки «Современника» Гоголь готовил еще две статьи — «Петербург и Москва (Из записок дорожных)» и «Петербургская сцена в 1835/36 гг.», которые в первый номер журнала не вошли, и, очевидно, по совету Пушкина, автор объединил их в «Петербургские записки 1836 года». В третьем номере журнала Пушкин поместил свою статью, подписав ее: «А. Б.» Придав ей форму обращения тверского обывателя к издателю журнала, он сформулировал свои возражения автору статьи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.», по которой стали уже судить о направлении «Современника». Пушкин подчеркнул, что цели «Современника» более значительны, нежели полемика с «Библиотекой для чтения». Свою точку зрения Пушкин высказывал и раньше в письме к П. А. Плетневу: «Но прилично ли мне, Ал<ександру> Пушкину, являясь перед Россией с Борисом Годуновым, заговорить об Фаддее Булгарине? кажется не прилично». История со статьей

«О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.» не наложила ни малейшей тени на отношения Гоголя и Пушкина. Гоголь выступал в «Современнике» и в качестве беллетриста, и критика, и библиографа. В отсутствие Пушкина Гоголь занимался и организационной, и технической работой по журналу, перевозил первый выпуск из типографии.

Особенно дорожил Пушкин участием в журнале Гоголя-художника. В первом номере «Современника» напечатана рецензия на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где поэт подтверждает высокую оценку таланта Гоголя, высказанную при появлении первого издания книги, ибо Гоголь, по его мнению, «непрерывно развивался и совершенствовался».

4 апреля 1836 года Гоголь читал у В. А. Жуковского повесть «Нос», предназначенную для третьего номера «Современника», но Пушкин из-за семейного траура на чтении не присутствовал. Однако он помнил о журнале. Уже из Москвы он писал (11 мая) жене, отвечая на переданные через нее вопросы В. Ф. Одоевского о составе очередного тома «Современника»: «Ты пишешь о статье *гольцовской*? Что такое? Кольцовской или гоголевской? Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть». К публикации повести Гоголя «Нос» в третьей книжке журнала Пушкин предпослал свое предисловие. Все, что писал Гоголь, — и то, что напечатал в «Современнике», и то, что не печатал, — Пушкин знал, видел в рукописи, одобрял автора, дарил ему сюжеты.

После смерти Пушкина, как вспоминает С. Т. Аксаков, «Гоголь сделался болен и духом и телом». По его мнению, «смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа».

Гоголь первым из русских писателей назвал Пушкина русским национальным поэтом («Несколько слов о Пушкине» в «Арабесках»).

---



Едва ли мог Пушкин — издатель журнала обойтись без помощи такого старого друга, как Петр Андреевич ВЯЗЕМСКИЙ, знавший поэта еще ребенком. Более, чем кто-либо другой, Вяземский имел отношение к задуманному Пушкиным журналу. Идея возникла у них обоих еще в 1825 году. Пушкин побуждал друга через А. А. Бестужева, уезжавшего в Москву в конце ноября: «...дело было бы чудно — хорошо». Мысль о журнале не дает покоя, к ней Пушкин и Вяземский возвращались несколько раз. В конце 1827 года Вяземский придумал даже название журналу — «Современник». Разговор на эту тему нередко возникал в их дружеском кругу — в петербургской квартире Вяземского в доме петрозаводского купца Мижужева на Фонтанке (ныне наб. р. Фонтанки, 26). Здесь же жили Карамзины, в семье которых вырос Вяземский. Семья Вяземского жила в Москве, сам же он все больше привязывался к Петербургу. «Петербург весной хорош, — пишет он жене. — Что-то праздничное в воздухе, в чистоте улиц, в великолепии на улицах». Он признается, что приезжает в столицу «для Невы, для островов», и воспевает город в стихотворении «Разговор 7 апреля 1832 года».

В октябре 1832 года в Петербург приехала и жена Вяземского Вера Федоровна с детьми. На вечере у Вяземских, устроенном по этому поводу, было окончательно решено издавать журнал под названием «Современник». Вяземский, так же как и Пушкин, в полной мере осознавал необходимость объединения передовых литературных сил. Это видно из его письма к И. И. Дмитриеву от 3 июня 1832 года: «В литературном мире, за исключением обещанного позволения, данного Пушкину, — издавать газету с политическими известиями, нет ничего нового. Но это важное событие, ибо подрывает журнальный откуп, снятый Гречем и Булгариным».

Вяземский, один из ближайших друзей и единомышленников Пушкина, в общественной ситуации последе-

кабрьских лет, как и Пушкин, продолжал вызывать недоверие властей. При обсуждении кандидатуры редактора журнала на самых ранних подступах к подобному изданию (в 1826 году) Пушкин предупредил: «..меня и Вяземского считают шельмецами».

В «Автобиографическом введении» Вяземский писал: «При переезде в Петербург на житье принимал участие в „Литературной газете“ Дельвига, позднее в „Современнике“ Пушкина». В журнале Вяземский был наделен немалыми полномочиями. Он заказывал и получал статьи («Париж. Хроника русского» А. И. Тургенева, статьи П. Б. Козловского), редактировал; написанные им письма от редакции порой принимали за пушкинские. Активно выступал и в качестве автора: в журнале печатались его стихотворения и критические статьи. До сих пор не утратила своего значения статья Вяземского о «Ревизоре», в которой автор защищал Гоголя от политических и литературных нападков и ставил его имя в почетный ряд русских сатириков — Фонвизина, Грибоедова.

Высоко оценил позже статью Вяземского о Гоголе Н. Г. Чернышевский. Он писал: «Из этих людей (из друзей Пушкина. — *Авт.*) двое, князь Вяземский и Плетнев, были журналистами, и оба они очень верно понимали произведения Гоголя. Все написанное ими о нем принадлежит к числу лучшего, что только было написано о Гоголе».

Много хлопот доставила Пушкину неосуществленная публикация критической статьи Вяземского на «брошюрку Устрялова». Н. Г. Устрялов — историк, профессор Петербургского университета — выступил в своей диссертации «О системе прагматической Русской истории» против исторических взглядов Н. М. Карамзина, сопровождая критику резкими полемическими выпадами против автора «Истории государства Российского». Статья Вяземского написана в форме письма к министру на-

родного просвещения С. С. Уварову. В ней недвусмысленно связана историческая концепция Устрялова с реакционной политикой Уварова. Пушкин прочитал статью Вяземского, одобрил ее, но порекомендовал смягчить отдельные полемические формулировки. Он был намерен напечатать ее в «Современнике». В декабре 1836 года Пушкин писал автору: «Письмо твое прекрасно <...> главное: дать статье как можно более ходу и известности. Но во всяком случае, цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешать тут мудрено, и неловко. Как же быть?» Письмо написано до 19—20 декабря, когда предусмотрительный Устрялов прислал Пушкину свою брошюру с сопроводительным письмом, где просил: «...благоволите пройти об ней молчанием в „Современнике“».

Пушкин, хотя и не смог напечатать статью Вяземского, надеялся, что ее можно будет опубликовать в задуманном Вяземским альманахе «Старина и новизна». Поэт поддерживал это начинание своего друга, уступая его первой книжке часть приготовленных для «Современника» материалов.

Уже после смерти Пушкина в «Современнике» (в четвертом номере за 1837 год) было напечатано извещение о новом издании. В бумагах Вяземского сохранилась программа этого сборника, который, однако, так и не был осуществлен.

Вяземский имел возможность близко наблюдать Пушкина в его журнальном деле. Свое суждение о Пушкине-журналисте он поведал после смерти поэта его сестре О. С. Павлицевой: «Перо Александра Сергеевича, если бы он управлял ежедневным печатным органом, не замедлило бы облагородить русскую повременную литературу, придав ей настоящий, а не фальшивый русский характер».

Доверительные отношения в «Современнике» были у Пушкина с Владимиром Федоровичем ОДОЕВСКИМ. Они познакомились зимой 1829—1830 года, их общение участилось, когда Пушкин переехал на постоянное жительство в Петербург. Впоследствии Одоевский вспоминал: «Мы познакомились не в ранней молодости (мы жили в разных городах), а лишь перед тем временем, когда он задумал издавать «Современник» и пригласил меня участвовать в этом журнале...» Их отношения укрепили в первую очередь литературно-журнальные интересы.

«Современнику» предшествовало несколько журнальных замыслов, инициатором которых был Одоевский. В 1833 году он задумал издавать альманах «Тройчатка» с участием Пушкина и Гоголя. Начинание это не было осуществлено, и в 1835 году Одоевский предложил Пушкину план издания под названием «Современный летописец политики, наук и литературы». Но в это время Пушкин уже приступил к изданию «Современника», к которому привлек и Одоевского. Помощь Одоевского трудно переоценить: он не только занимался в журнале редакционно-техническими делами — сбором материала, отношениями с авторами и типографией, правкой рукописи и корректуры, но и определял вместе с Пушкиным «литературную политику» журнала. Как журналисты Пушкин и Одоевский шли рука об руку. По некоторым сведениям, Одоевский помогал Пушкину в работе над статьями для первой книжки журнала — «Русская академия» и «Французская академия». Пушкин дорожил участием Одоевского-критика в своем журнале. В «Современнике» были напечатаны две его критические статьи: «О вражде к просвещению, замеченной в новейшей литературе» (во второй книге) и «Как пишутся романы» (в третьей книге). Первую из них Пушкин оценил как «дельную, умную и сильную». Готовя к печати первую книжку «Современника», Пушкин не поместил в

ней предложенную Одоевским драму «Разговор Недовольных», неудачный опыт, уступавший написанному в том же жанре гоголевскому «Утру делового человека». «Вы могли друг другу повредить в эффекте, — деликатно оправдывался редактор перед Одоевским и побуждал его к дальнейшему сотрудничеству, — у меня в 1 № не будет ни одной строчки вашего пера. Грустно мне...» Отдел прозы очень нуждался в пополнении, и Пушкин в конце ноября — начале декабря торопил Одоевского, затянувшего свою работу над двумя повестями: «Всякое даяние Ваше благо <...> Сильфиду ли, Княжну ли, но оканчивайте и высылайте. Без Вас пропал Современник».

Одоевский высоко ценил Пушкина-журналиста. Одновременно с выходом в свет первого номера «Современника» он анонимно напечатал в «Северной пчеле» статью в защиту журнала Пушкина от нападок О. И. Сенковского. Статья называлась «Несколько слов о „Современнике“». В ней Одоевский объявил, что имя Пушкина «имеет в себе нечто симпатическое (равнозначное. — *Авт.*) с любовью и гордостью народной», что уже само по себе — целая программа журнала. Еще при жизни Пушкина Одоевский написал статью «О нападении Петербургских журналов на Русского поэта Пушкина». С октября 1836 года он пытался опубликовать ее, но статья увидела свет лишь в 1864 году. В ней Одоевский вновь отдал дань Пушкину-журналисту. «Если кто-нибудь в нашей литературе имел право на голос, то это без сомнения Пушкин, — писал Одоевский. — Все давало ему это право: и его поэтический талант, и проницательность его взгляда, и его значительность, далеко превышающая лексические познания большей части наших журналистов — ибо Пушкин не останавливался на своем пути, как это случается часто с нашими литераторами.»

Ни одно большое литературное начинание в Петербурге не могло свершиться без участия Василия Андреевича ЖУКОВСКОГО. Ближайший друг и учитель Пушкина, он был первым среди тех, на чье участие он рассчитывал, берясь за издание «Современника». Литературный авторитет и практическое участие Жуковского были в высшей степени важны для нового журнала. Очевидно, что Пушкин это хорошо понимал, если, даже не поставив в известность Жуковского, поспешил предназначить для первых страниц первого номера журнала его стихотворение «Цвет завета». Автор узнал об этом, когда первая книжка журнала уже прошла цензуру. Воспротивившись, Жуковский писал нетерпеливому издателю: «А ты мою пиесу унес и уже в цензуру хватил. Нет, голубчик, в первую книжку ее никак не помещай. Она годится, может быть, после, но для дебюту нельзя. Прошу тебя не помещать в первый номер». Стихотворение «Цвет завета» было опубликовано уже без Пушкина в пятом номере «Современника», а для первого Жуковский дал Пушкину свой поэтический шедевр — недавно им законченную балладу «Ночной смотр».

Дружеская привязанность поэтов была взаимной, но Жуковский для Пушкина — прежде всего учитель и неоспоримый авторитет в вопросах поэтического мастерства. В. А. Соллогуб запомнил такой разговор между ними: «Василий Андреевич, как вы написали бы такое-то слово?» — «На что тебе?» — «Мне надобно знать, — отвечал Пушкин, — как бы вы написали. <...> Как бы написали, так и следует писать». В пушкинском «Современнике» Жуковскому принадлежит роль одного из руководителей. Не случайно, например, А. И. Тургенев выразил свое недовольство первой публикацией «Парижских писем» в журнале Жуковскому и Вяземскому, с которыми состоял в постоянной переписке. Высоко ценя вкус и широкую образованность Жуковского, Пушкин, по свидетельству Гоголя, «сердился» на него за то, что

он «не пишет критик». «По его мнению, — рассказывал Гоголь, — никто, кроме Жуковского, не мог так развязать и определить всякое художественное произведение».

Зимой 1837 года, после гибели Пушкина, Жуковский добился высочайшего соизволения на продолжение «Современника». Жуковским был составлен предварительный план пятого тома. Вышедший из печати весной 1837 года, он имел надпись на обложке: «Современник. Литературный журнал А. С. Пушкина. Изданный по смерти его кн. П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, А. А. Краевским, В. Ф. Одоевским и П. А. Плетневым». Имена поставлены в алфавите. Но распоряжения по журналу исходили от Жуковского: «Книжки выдать по очереди 1-ю Плетневу, 2-ю Краевским, 3-ю Одоевским, 4-ю Вяземским. Они заведуют сношениями с цензурою, с типографией, корректорами и комиссионерами». Очередность имен в приведенном списке Жуковского не случайна, а соотнесена с долей вклада каждого из названных.

Первый без Пушкина, пятый номер «Современника» готовил к печати преимущественно Петр Андреевич ПЛЕТНЕВ. Роль его в издании «Современника» отчетливо обозначилась в послепушкинский период. Недаром И. С. Тургенев говорил о «Современнике» как о журнале, который «Плетнев унаследовал от Пушкина». Плетнев занимал значительное место в жизни Пушкина. Они познакомились в 1816 году в доме родителей Пушкина; в годы молодости Плетнев был связан узами дружбы со Львом Пушкиным и Антоном Дельвигом. Пушкин в ту пору находился в михайловской ссылке и постепенно передал Плетневу посредничество в издании своих произведений. Цена высокие человеческие и деловые качества Плетнева, Пушкин критически относился к его стихам: «Плетневу приличнее проза, нежели стихи — он не имеет никакого чувства, никакой живости — слог его

бледен, как мертвец», — откровенничает он с братом и тут же просит кланяться Плетневу, иронически заверить его, что «он наш Гёте». Когда же Лев Сергеевич с легкостью довел это мнение Пушкина до Плетнева, то получил от брата укоризненное письмо: «В дружеском общении, я предаюсь резким и необдуманном суждениям; они должны оставаться между нами». Плетнев отозвался с достоинством, ответив Пушкину тоном «смелым и благородным», чем окончательно расположил к себе поэта. Стремление загладить свое резкое суждение выражено в похвалах Плетневу в последующих письмах Пушкина. А через несколько месяцев он просил П. А. Вяземского прислать ему стихов, «а то Плетнев и Рылеев отучат меня от поэзии». Но в письмах к Плетневу Пушкин все же побуждает его к творчеству. В одном из писем 1824 года он посылал ему стихотворение с шутивным призывом: «Когда ты будешь свой издатель?»

Плетневу русская литература обязана тем, что находившийся вдали от Петербурга Пушкин имел возможность печатать отдельным изданием главы романа «Евгений Онегин». Переписка Пушкина с Плетневым насыщена делами литературными, издательскими, практическими, финансовыми и пр. После смерти поэта Плетнев скажет: «Я был для него всем: и родственником, и другом, и издателем, и кассиром». Их отношения характеризуют и эпитеты Пушкина в адрес Плетнева: «кормилец», «благодетель», «услужливый Плетнев», а также и признание в том, что он, Пушкин, своей независимостью «обязан богу и тебе». Общее дело приводит к тому, что Плетнев становится для Пушкина все более близким и необходимым человеком. Летом 1828 года, возвратясь в Петербург, Пушкин жил в гостинице Демута, но адрес свой в письмах выставлял таким: «На имя Плетнева Петр<а> Алекс<андровича> — в Екатер<ининский> Инст<итут>» (ныне филиал Публичной библиотеки — наб. р. Фонтанки, 36). Общение с Плетневым



было для Пушкина делом важным, насущным. Но, чуждый всякого практицизма, поэт относился к своему ближайшему помощнику с сердечным расположением. Только другу Пушкин мог бы посвятить свое лучшее произведение — роман «Евгений Онегин». В письмах Пушкина 1830-х годов вырисовывается симпатичный облик Плетнева, помощника, друга и соратника в литературе. Весной 1831 года поэт писал ему из Москвы: «Мне кажется, что, если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго? и газеты!» Собираясь в 1831 году приехать в Петербург и намереваясь провести лето в Царском Селе, Пушкин писал Плетневу: «С тобою, душа моя, виделся бы я всякую неделю, с Жук<овским> тоже — П<етер>Б<ург> под боком <...> Чего, кажется, лучше?»

Плетневу довелось не раз испытать душевную отзывчивость Пушкина, его дружескую поддержку в трудную минуту. На грустное письмо Плетнева 22 июля 1831 года поэт писал из Царского Села: «Письмо твое от 19 крепко меня опечалило. Опять хандрить. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; [а] мальчики начнут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы». В последние годы жизни Пушкин постоянно общался с Плетневым. Известно, что их встречи чуть ли не повседневны. Пушкин — частый гость Плетнева. В его доме на Обуховском проспекте (дом Сухаревой; ныне Московский пр., 8; дом перестроен) впер-

вые увидел Пушкина И. С. Тургенев, тогда студент третьего курса университета. В стихотворении 1833 года Пушкин называет Плетнева:

...наперсник строгий,  
Боев парнасских судия...

На совет Плетнева продолжать роман «Евгений Онегин» поэт отвечает стихотворением:

Ты мне советуешь, Плетнев любезный,  
Оставленный роман наш продолжать...

В пушкинском «Современнике» Плетнев участвовал больше как опытный издатель и значительно реже — как автор. При Пушкине в первом номере журнала была напечатана одна его статья — «Императрица Мария».

За несколько дней до дуэли с Дантесом Пушкин и Плетнев, прогуливаясь по городу, оказались неподалеку от дома Плетнева у Обухова моста, и Пушкин, по воспоминаниям Плетнева, «вытребовал» у него обещание написать «свои мемуары». Но Плетнев, однако, не оставил нам развернутых воспоминаний о Пушкине, хотя его рассказы о поэте широко были известны современникам. Позднее их использовали в своих трудах Я. К. Грот, П. В. Анненков, П. И. Бартенев и др. В 1838 году Плетнев написал для «Современника» три статьи о Пушкине; в одной из них он вспоминал «золотые слова» Пушкина о правилах дружбы. «Все, — говорил в негодование Пушкин, — заботливо выполняют требования общежития в отношении к посторонним, то есть людям, которых мы не любим, а чаще и не уважаем, и это единственно потому, что они для нас ничто. С друзьями же не церемонятся, оставляют без внимания обязанности свои к ним, как к порядочным людям, хотя они для нас все. Нет, я так не хочу действовать. Я хочу доказать моим друзьям, что не только их люблю и верую в них, но признаю за долг и им и себе и посторонним показывать,

что они для меня первые из порядочных людей, перед которыми я не хочу и боюсь манкировать чем бы то ни было, освященным обыкновениями и правилами общечеловечества».

Среди людей, оказавших Пушкину большую поддержку в издании «Современника», были не только близкие его друзья. Большую работу в журнале вел привлеченный Плетневым в январе 1836 года Андрей Александрович КРАЕВСКИЙ, в будущем известный журналист, тогда же, в 1836 году, — начинающий сотрудник, отвечавший в «Современнике» в основном за корректуру, а также выполнявший обязанности по связи с типографией. У Краевского к тому времени был уже некоторый опыт журнальной работы — он служил помощником редактора «Журнала Министерства народного просвещения». В литературных кругах Петербурга его знали как человека образцовой работоспособности и добросовестности. Так его и рекомендовали Пушкину. Свою репутацию молодой журналист вскоре оправдал; первый том «Современника» выходил из печати в отсутствие его издателя: Пушкин был в Михайловском. Очевидно, поэт знал, чьими трудами это сделалось, коль скоро по возвращении в Петербург он одним из первых посетил Краевского, но, не застав его дома, послал ему на другой день записку: «Вчера был у Вас и не имел удовольствия застать Вас дома. Завтра явлюсь к Вам поутру. Не имею слов для изъявления глубочайшей моей благодарности — Вам и к <нязю> Одоевскому». Он еще мало знал своего нового сотрудника, настолько, что обращается к нему: «Александр Андреевич» — вместо: «Андрей Александрович». Случилось, что и вторую книжку «Современника» Краевскому и Плетневу пришлось комплектовать в отсутствие Пушкина, который почти весь май 1836 года пробыл в Москве. Краевский рассказывал, что ему

приходилось идти к Пушкину домой и выбирать среди рукописей, предназначавшихся для журнала, «лучше и поинтереснее», а также напоминать поэту о его собственных публикациях. Принимать без Пушкина решение было делом ответственным и не всегда сходящим благополучно: не одобрил редактор выбора стихотворения А. В. Кольцова «Урожай» (хотя уже в третьей книжке отметил благосклонный прием этого стихотворения публикой).

Сотрудничество Краевского в пушкинском журнале обернулось для молодого журналиста не только счастливой удачей, но жизненным жребием. Поэтому Краевский хорошо помнил все, что было связано с Пушкиным. Помнил и их первую встречу, которую легко мог забыть Пушкин, в «дожурнальные» времена. Летом 1835 года (около 18 июня) он, собравшись в Москву, зашел к Пушкину за стихами, обещанными для «Московского наблюдателя». Навсегда запомнилось, как Пушкин, достав тетрадь, вырвал из нее листок с автографом стихотворения «Туча» и передал посетителю. Тот заметил на обороте какие-то писанные рукой поэта строки, но, едва он прочел первую из них: «В Академии наук...», Пушкин вырвал листок из его рук, переписал «Тучу», а первый автограф спрятал. Краевский, однако, успел прочитать и конец стихотворения: «Оттого, что есть, чем сесть...» Это была эпиграмма Пушкина на М. А. Дондукова-Корсакова, весной 1835 года назначенного вице-президентом Академии наук. Она разошлась по Петербургу в списках, с легкой руки Пушкина имя «Дундук» стало нарицательным.

28 декабря 1836 года, уже будучи сотрудником «Современника», Краевский пришел к Пушкину и застал его недоуменно вертящим в руках пригласительный билет на годичный акт Академии наук. Дело заключалось в том, что Пушкин с 1833 года был членом Российской Академии, которая фактически представляла собою от-

деление Академии наук. «Зачем они меня туда зовут? Что я там буду делать?» — говорил он. На другой день приглашенный Пушкиным Краевский сопровождал поэта в Академию наук. В президиуме, «лучезарный, в ленте, в звездах, румяный», председательствовал М. А. Дондуков-Корсаков. «Ведь вот сидит довольный и веселый, — шепнул Пушкин Краевскому, мотнув головой по направлению к Дондукову, — а ведь сидит на моей эпитафии! Ничего, не больно, не вертится».

Пушкина и Краевского уже связывали постоянные деловые отношения; такой же характер имеют письма-записки Пушкина к Краевскому. Впрочем, среди ближайших помощников Пушкина в издании журнала Краевский составлял исключение, так как занятия его ограничивались по преимуществу кругом технических дел. Роль Краевского в журнале значительно возросла во время подготовки выпуска в свет четвертой книжки журнала, и в особенности в «Современнике», издававшемся после Пушкина. На обложке журнала теперь стояли имена Жуковского и Вяземского, Плетнева и Краевского, что вызвало недоумение в литературных кругах Петербурга. И. И. Панаев, например, по этому поводу писал: «Разве Плетнев не мог сладить один с этим изданием?», считая, что Краевскому напечатать свое имя «рядом с именами Жуковского и Вяземского почти все равно, что попасть из капралов прямо в генералы».

Особое внимание уделял Пушкин отделу поэзии. Участие поэтов в «Современнике» определялось им самим.

«Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит г. Баратынскому» — так обозначил Беллинский поэтический «ранг» Евгения Абрамовича БАРАТЫНСКОГО. Почти однолетки, они имели нечто общее в своих биографиях. Ссылный

и поднадзорный Пушкин и исключенный из Пажеского корпуса юный Баратынский, солдат, а затем «финляндский изгнанник», в сознании современников были людьми одной судьбы, одного круга. Подружились и их «музы». Пушкин высоко ценил талант Баратынского и отводил другу почетное место на русском Парнасе — место «первого элегического поэта».

В 1822 году в письме к П. А. Вяземскому из Кишинева он писал: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года счастливцу! Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет». Свой взгляд на поэзию Баратынского Пушкин изложил в рецензии на его поэму «Бал» и в статье «Стихотворения Евгения Баратынского», где отмечал «гармонию его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения». Главным же достоинством Баратынского в глазах Пушкина была оригинальность его таланта. «Он у нас оригинален, ибо мыслит», — высокая похвала в устах великого поэта. Пушкин посвятил Баратынскому несколько стихотворений. В одном из них дается блестящая характеристика этого замечательного поэта:

О ты, который сочетал  
С глубоким чувством вкус столь верный,  
И точный ум, и [слог примерный],  
[О ты, который] избежал  
[Сентиментальности] манерной...

Баратынского и Пушкина связывали общие литературные интересы. Своим творчеством они пролагали новые пути в русском искусстве. В 1828 году одной книжкой «Две поэмы в стихах» вышли поэмы «Бал» Баратынского и «Граф Нулин» Пушкина. В полемических схватках конца 20-х — начала 30-х годов у них был общий противник — Ф. Булгарин. Эпиграммы на него «Не

то беда, Авдей Флюгарин...» и «Поверьте мне, Фиглярин-моралист...» принадлежат Пушкину (первая) и вторая -- Баратынскому (впрочем, обе приписывались Пушкину).

Они познакомились в Петербурге в 1818—1819 году. Баратынский принадлежал тогда к «союзу поэтов», куда входили также ближайшие друзья Пушкина — А. А. Дельвиг и В. Г. Кюхельбекер.

Самый интенсивный период их личного общения приходится на осень 1826 года — весну 1827-го, когда Пушкин, возвратившись из михайловской ссылки, несколько месяцев прожил в Москве. К концу 1830-х годов их отношения утратили прежнюю близость, чему отчасти способствовал замкнутый характер Баратынского, ревниво оберегающего свою репутацию одного из первых русских поэтов. Со стороны Баратынского дружба с Пушкиным не исключала и соперничества. 13 марта 1829 года Баратынский писал из Москвы Вяземскому: «Пушкин здесь, и я ему отдал Ваш поклон. <...> Я с ним часто вижусь, но Вы нам очень недостаете. Как-то из нас двух ничего не выходит, как из двух математических линий. Необходима третья, чтобы составить какую-нибудь фигуру, и Вы были ею». Пушкин, по-видимому, чувствовал это, хотя и воздавал должное уму и таланту Баратынского. В 1836 году Пушкин писал жене: «Баратынский однако ж очень мил. Но мы как-то холодны друг ко другу».

Н. В. Гоголь сравнивал Пушкина со «сброшенным с неба поэтическим огнем, от которого, как свечи, зажглись другие самоцветные поэты». Он считал, что «сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому...» Гоголь не совсем прав: Баратынскому удалось и рядом с Пушкиным сохранить свою самобытность.

Не столь активно, как хотелось бы Пушкину, но Баратынский все же участвовал в «Современнике». В чет-

вертом номере было напечатано его стихотворение «Князю Петру Андреевичу Вяземскому», другое — «Осень» — появилось уже без Пушкина в пятой книжке журнала. Оба стихотворения носят программный характер и, может быть, точнее и глубже всего раскрывают отношения Баратынского и близких ему по духу поэтов пушкинского круга, для которых он нашел емкий и выразительный образ — «плеяда». Обращаясь к находившемуся в этот момент за границей П. А. Вяземскому, он с грустью констатирует утрату прямого тесного дружба поэтов:

Звезда разрозненной плеяды!  
Так из глуши моей стремлю  
Я к вам заботливые взгляды,  
Вам высшей благодати молю...

В феврале 1837 года Баратынский писал тому же Вяземскому: «Препровождаю Вам дань мою «Современнику». Известие о смерти Пушкина застало меня на последних строках этого стихотворения...» Символом гибели великого поэта стал образ «утекающей в бездонность» «небесной звезды».

Если кто щедро и предоставлял пушкинскому журналу свои произведения, так это Денис Васильевич ДАВЫДОВ. Личность полубогатырская, герой 1812 года, прославленный поэт-партизан, двоюродный брат генерала А. П. Ермолова и сам генерал-лейтенант, Давыдов страстно желал, чтобы потомки знали его «не как воина и поэта исключительно, а как одного из самых поэтических лиц русской армии». Такие слова для своего некролога он рекомендовал Пушкину, оговариваясь при этом: «Непристойно о себе так говорить, но это правда».

Еще в Лицее Пушкина увлекла поэзия Д. Давыдова с ее «резкими чертами неподражаемого слога»; впоследствии поэт говаривал, что только благодаря его поэзии



он не сделался эпигоном царивших на русском Парнасе в начале XIX века В. А. Жуковского или К. Н. Батюшкова. Давыдову это было известно; 29 января 1830 года он писал Вяземскому о Пушкине: «Он, хваля стихи мои, сказал, что в молодости своей от стихов моих стал писать свои круче и приноравливать к оборотам моим, что потом вошло ему в привычку». Влияние Давыдова обнаруживается даже в поэме «Домик в Коломне».

Пушкин посвятил Д. Давыдову несколько стихотворений: «Красноречивый забияка...», «Певец гусар, ты пел биваки...» и, наконец, «Д. В. Давыдову», в котором воссоздан яркий и колоритный образ поэта-партизана:

Тебе, певцу, тебе, герою!  
Не удалось мне за тобою  
При громе пушечном, в огне  
Скакать на бешеном коне.

Это стихотворение выдержано в поэтической манере адресата. Давыдов у Пушкина — герой войны 1812 года и поэт, чье поэтическое старшинство признает автор послания, выдавая поэту-партизану «патент на бессмертие», как расценивал эти стихи сам Давыдов. Возникающая в стихотворении тема Пугачева как «урядника лихого» неожиданно, хотя и в шутовском тоне, обнаруживает внутреннюю близость пушкинского героя к тем, кто составлял главную опору партизанского движения.

Свое стихотворное послание вместе с «Историей Пугачевского бунта» Пушкин вручил Давыдову 22 января 1836 года на квартире П. А. Вяземского. Этой зимой Давыдов приехал в Петербург определить в учебные заведения своих сыновей — Василия и Николая. Пушкин виделся с ним у Жуковского, принимал гостя у себя; жене он признавался: «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник».

Зимой 1836 года Пушкин заручился согласием Давыдова на участие в «Современнике». Но первая же пере-

данная им для журнала статья «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта (Из дневника партизана Давыдова)» встретила цензурные затруднения. Редактор «Современника» прочил статью для второго номера; в начале марта статья проходила военную цензуру, изъявшую из статьи самую суть. Рассказывая о взятии Дрездена небольшим, но отважным отрядом под его командой, Давыдов поведал и о том, что последовало за этими событиями. Начальник Давыдова генерал Виценгероде приревновал Давыдова к военной славе, оклеветал его и выгнал из армии. Весь эпизод с Виценгероде предложено было из статьи убрать. Дорожка сотрудничеством Давыдова, Пушкин был готов напечатать статью и в урезанном виде, но Давыдов был убежден, что «Дрезден плох будет без Виценгероде», «статья будет гола», и предупреждал Пушкина, что он берет на себя слишком большую ответственность. Но Пушкин настаивал на своем, — статья Давыдова «вписывалась» в общий контекст прозы второго номера, где публиковались также статьи П. А. Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь» и «Новая поэма Э. Кина (Napoleon)». «Куда бы кстати тут же заколоть у подножия Вандомской колонны генерала Виценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался проклятый; бог с ним, черт его побери», — писал Пушкин по этому поводу. В том же письме Пушкин извещал Давыдова, что не может еще выслать его статью: «Успеешь наглядеться на ее благородные раны». Статья пошла лишь в четвертый номер «Современника».

Между тем для Пушкина было важно, чтобы имя Давыдова появилось уже во второй книжке журнала. Вяземский советовал ему напечатать там стихотворение Давыдова «Твои очи» («Я помню — глубоко...») без имени поэта. «Я бы рад, — сознавался Пушкин Давыдову, — да как-то боюсь». Сотрудничество Давыдова в «Современнике» наладилось только к третьему номеру. «Повре-

менить» «до третьего номера» просил сам автор со стихотворением «Челобитная», в котором, несмотря на безобидность содержания, цензура опять-таки потребовала некоторых изменений текста. Без подписи Давыдова было помещено в этом номере несколько его эпиграмм. Столкнулась с ножницами цензуры и опубликованная в третьей книжке статья Давыдова «О партизанской войне». «Ты думал, что твоя статья о партизанс<кой> войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима,— писал Пушкин Давыдову в августе 1836 года.— Ты ошибся: она не избежала красных чернил». И в том же письме жаловался на свою издательскую судьбу: «Тяжело, нечего сказать. И с одною ценсурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех?» — имея в виду цензуру общую, военную, духовную и придворную.

Неприятности с цензурой не повергали Давыдова в уныние. Он писал Пушкину: «...Эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею Цензуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников — ура! и снова в атаку на военнo-ценсурный Комитет. Так я дельвал в настоящих битвах,— унывать грешно солдату — надо или лопнуть или врубиться в паршивую колонну <Цензуры>».

«Современник» издавался в тяжелых цензурных условиях. Журнал шел не гладко; читатель ждал от журнала политической остроты, а цензура строго следила за тем, чтобы он не выходил за рамки «дозволенного» глубоко литературного назначения.

«Паршивая колонна» цензуры состояла из самого царя, шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, министра народного просвещения С. С. Уварова, высмеянного в конце 1835 года Пушкиным в стихотворении «На выздоровление Лукулла», и председателя Петербургского цензурного комитета М. А. Дондукова-Корсакова. Цензура запретила в «Современнике» статью самого Пушкина

«Александр Радищев». Имя Радищева было под запретом в России; Пушкин хотел своей статьей узаконить право произносить это имя в печати. Не прошло цензуры и стихотворение Ф. И. Тютчева, цензурные трудности встретили также статьи Н. В. Гоголя, А. И. Тургенева, П. Б. Козловского.

Цензором Пушкину назначили Александра Лукича КРЫЛОВА, человека с репутацией «самого трусливого, а следовательно, самого строгого», по словам А. В. Никитенко.

А. Л. Крылов был из семинаристов, учился в Петербургском университете, где зарекомендовал себя «благонадежным», проявив «примерные нравственные свойства». Благодаря этим качествам Крылова оставили по окончании курса в университете магистром по географии. Он преподавал также греческий и латинский языки, читал лекции по истории. Издал несколько книг. В 1835 году при реорганизации университета Крылов попал под сокращение и получил назначение цензора в Петербургский цензурный комитет. К этой должности он приступил в 1828 году.

19 января 1836 года он стал цензором «Современника». Усердие Крылова вкупе с крайней осторожностью (позже Некрасов говорил о его «бестолковости и трусости») обернулись для Пушкина дополнительными журнальными сложностями. Однажды на «субботе» Жуковского увидели Пушкина разъяренным деятельностью А. Л. Крылова. Были там И. А. Крылов, А. А. Краевский и др. Им Пушкин объяснил причину своего негодования: цензор Крылов счел недопустимыми слова в стихотворении «Пир Петра Первого» — «чудотворца-исполина чернобровая жена». Стали говорить о цензуре... Со свойственным ему детским поэтическим простодушием Жуковский удивлялся, отчего это так «затрудняются цензоры»,

когда существует устав, в соответствии с которым, казалось бы, им и следует действовать. На что И. А. Крылов возражал: «Какой ты чудак! <...> Ну слушай. Положим, поставили меня сторожем в этой зале и не велели пропускать плешивых. Идешь ты (Жуковский плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя. Меня отколотили палками — зачем пропустил плешивого. Я ответил: «Да ведь Жуковский не плешив: у него здесь (показывая на виски.— *Авт.*) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то (показывая на маковку.— *Авт.*) нет». Ну, хорошо, думаю себе, теперь-то уж я буду знать. Опять идешь ты, я не пропустил. Меня опять отколотили палками. «За что?» — «А как ты смел не пропустить Жуковского». «Да ведь он плешив: у него здесь (показывая на темя.— *Авт.*) нет волос». — «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски.— *Авт.*) есть». Черт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на каком волоске остановиться».

Пушкин жаловался на А. Л. Крылова и просил себе другого цензора. В помощники А. Л. Крылову был назначен П. И. Гаевский, что не облегчило положение Пушкина. Как писал о Гаевском А. В. Никитенко, он был склонен сомневаться, «можно ли пропустить в печать известие, вроде того, что такой-то король скончался».

Труд журналиста был для Пушкина нелегок, но он справлялся с ним, обнаружив дар организатора. Он привлекал в журнал неизвестные еще русской публике таланты. На страницах «Современника» стал печататься начинающий тогда Алексей Васильевич КОЛЬЦОВ.

В январе 1836 года Кольцов приехал в Петербург. И лишь немногие знали его стихотворения по публикациям в московской печати, в «Литературной газете» и первому сборнику его стихотворений. Молодой поэт прихва-

тил с собой в столицу тетрадь не опубликованных еще стихов. Но ехал он в Петербург по делам: его отец вел тяжбу о землях и пастбищах. Остановился двадцатишестилетний Кольцов у Я. М. Неверова, в доме на Владимирском проспекте. Гостеприимный хозяин представил своего гостя В. А. Жуковскому, П. А. Плетневу, В. О. Одоевскому. По другим сведениям, это сделал А. А. Краевский, оставивший портрет Кольцова того времени: «среднего роста, с мелкими чертами лица, с густыми рыжими, густо напomaженными волосами, причесанными щеголевато, с пробором. Он ходил в поношенном сюртуке, но с претензией на щеголеватость, в цветном галстуке. У него был широкий, четвероугольный лоб, густые брови, серые глаза, смотревшие всегда исподлобья и придававшие ему вид русского плутоватого человека. <...> Манеры его были робки, мягки, застенчивы в высшей степени».

С Пушкиным Кольцов познакомился на «субботе» у Жуковского. Здесь Пушкин взял у Кольцова тетрадь неопубликованных его стихотворений, имея в виду напечатать их в «Современнике». Ее-то и нашли Плетнев и Краевский на столе Пушкина в его отсутствие, готовя к выпуску второй номер журнала, где и напечатали стихотворение Кольцова «Урожай».

Не сохранилось ни одного отзыва Пушкина о Кольцове, кроме упоминания его имени в «Письме к издателю» («Современник», 1836, № 3) в связи с благосклонным вниманием публики к новому поэту. Но, по свидетельству А. А. Краевского, «Пушкин всегда отзывался о нем, как о человеке с большим талантом, широким кругозором, но бедным знанием и образованием, отчего эта ширь рассыпается более в фразах». Этим, очевидно, объясняется осторожное наставление в письме жене из Москвы: «Кольцова рассмотреть» — прежде чем печатать.

Пушкин и Кольцов встречались также на литератур-

ных вечерах у Плетнева. Здесь впервые увидел Кольцова И. С. Тургенев, заметил, как тот «поглядывал кругом не без застенчивости; прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо его было самое простое, русское», с отпечатком «робкой мягкости и грустного раздумья». Когда в двенадцатом часу среди последних они вместе выходили от Плетнева, Тургенев предложил довести Кольцова до дома и спросил молодого поэта, «зачем он не захотел прочесть свою драму»... «Что же я стал бы читать-с, тут Александр Сергеевич только что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с».

По словам В. Г. Белинского, Пушкин был для Кольцова «божеством». В нем для поэта была «речь высокая, сила гордая, доблесть царская». Когда Пушкин умер, никто другой не нашел для него таких слов: «Прострелено солнце». Памяти великого поэта посвятил Кольцов стихотворение «Лес», которое наряду с лермонтовским «Смерть поэта» осталось непревзойденным среди поэтических откликов на гибель Пушкина.

Густолиственный  
Твой зеленый шлем  
Буйный вихрь сорвал —  
И развеял в прах,  
Плащ упал к ногам  
И рассыпался...  
Ты стоишь-поник,  
И не ратуешь.

Где ж девалася  
Речь высокая,  
Сила гордая,  
Доблесть царская?

К сотрудничеству в «Современнике» был привлечен и Александр Иванович ТУРГЕНЕВ. Большой знаток европейской культуры, путешественник, пристальный наблю-

датель общественной жизни Европы, и в особенности Парижа, он был причастен к замыслу пушкинского журнала. Еще 4 июля 1832 года в его дневнике записано: «У Жук<овского> с Пуш<киным> о журнале». В то время речь шла о так и не состоявшейся газете «Дневник». Через месяц, покинув Петербург, Тургенев прислал Пушкину альманах «Album Litteraire» с надписью на обложке: «Журналисту Пушкину от гремушки-пилигрима. Любек 6 июля 1832».

В распоряжении Пушкина-журналиста и его соратников на этом поприще были интереснейшие письма Тургенева из Парижа — это был ценный материал для публикации, обещавшей успех. 29 декабря 1835 года на «олимпийском чердаке» у Жуковского П. А. Вяземский, в присутствии Пушкина, В. Ф. Одоевского, П. А. Плетнева, И. А. Крылова, Е. Ф. Розена и других, читал письмо Тургенева из Парижа. Как сообщал Вяземский автору письма, все «в один голос закричали»: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего».

19 января 1836 года он извещал А. И. Тургенева о разрешении, полученном Пушкиным на журнал, и просил «писать свои субботние письма почаще и получше», ставя своего корреспондента перед фактом: «...мы намерены расхоронить тебя на здоровье журналу и читателям». В первой половине марта писал Тургеневу и сам Пушкин, но письмо это не сохранилось. 8 апреля к Тургеневу вновь взывает Вяземский: «Пушкин просит тебя Христа и публики ради быть отцом-кормилицей его «Современника» и давать ему сосать свои полные и млекотечивые груди, которые будут для него слаще птичьего молока». Получив согласие от автора, Вяземский, активный помощник Пушкина по журналу, подготовил к печати письма Тургенева для первой книжки «Современника». Дружба обязывает: Тургенев вынужден был порвать с «Московским наблюдателем». С сентября



1835 года он тщательно собирал в архивах Парижа, Лондона, Вены материал о русской истории. В письмах Тургенева широко отражены также впечатления от политической и литературной жизни Европы, они интересны рассказами о посещении европейских театров, лекций в Сорбонне, встречах с Ламартином, Мюссе... Пушкин намерен корреспонденции Тургенева «вырезать на меди золотыми буквами».

Но письмам Тургенева была уготована другая судьба: они натолкнулись на цензурные рогатки. 17 марта 1836 года Пушкин сетовал в письме к Вяземскому: «...Бедный Тургенев!.. все политические комеражы его остановлены. <...> ...остаются одни православные буквы наших русских католичек, да дипломаток». Цензура вымарала у Тургенева все, что было связано с Джузеппе Фнеске — главным участником покушения на Луи Филиппа, а также упоминания министров Гизо, Тьера и др.

Пушкин старался отстоять статью Тургенева «Париж. Хроника Русского». 18 марта он испрашивает у председателя Санкт-Петербургского цензурного комитета М. А. Дондукова-Корсакова разрешение на обращение по этому вопросу к А. Х. Бенкендорфу, который направил «Хронику» Тургенева на рассмотрение в Главное управление цензуры С. С. Уварову. Своему цензору А. Л. Крылову Пушкин делает разъяснение, что статьи Тургенева в «Московском наблюдателе» печатались «не как статьи политические, а литературные». Первая часть «Хроники Русского» Тургенева была напечатана в урезанном цензурой виде в первой книжке «Современника». Публикация вызвала резкое недовольство автора, ожидавшего более строгой редактуры своих писем при подготовке их в печать, так как написаны они были для близких друзей. В письме от 1 июля 1836 года он обрушил свое возмущение на Вяземского и Жуковского: «Сию минуту прочел я «Современник»: я еще весь в жару и в бешенстве. Никогда я не ожидал от вас такой

легкости, едва ли не преступной, и неосмотрительности — разве я позволял вам все ничтожности и личности? Разве вы не могли обдумать, что для меня от этого в Париже выйти может? Разве я могу явиться пестрым шутком даже и в ваш свет?» Тургенев напоминает, что он не желал «мыслить вслух с публикой» и запрещает впредь что-либо его печатать в «Современнике», кроме объяснения по поводу «Хроники Русского», но объяснения такого, которое не повредило бы ему во мнении «и здешних и ваших дипломатов».

Редакционное объяснение, написанное Вяземским, последовало во втором номере журнала. В нем были отмечены достоинства «Хроники» — «глубокомыслие, остроумие, верная и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения». Слишком же большая, дневниковая, интимная откровенность, обнародование которой так огорчило автора, нашла в объяснении убедительное обоснование: «Мы предпочли сохранить в нем живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных, кабинетных движений — так сказать, *стенографировать* эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни». Тургенев удовлетворило редакционное оправдание, и он снял свой категорический запрет на печатание своих писем в «Современнике» с тем, однако же, непременным условием, что Пушкин возьмет «на себя просмотр и исправление» их, согласовывая с автором их отбор к печати. Публикация статьи Тургенева «Париж. Хроника Русского» возобновилась в четвертом номере журнала.

20 ноября 1836 года Тургенев приехал в Петербург. Все дни вплоть до кончины Пушкина были заполнены их постоянным и заинтересованным общением, выделялись они чуть ли не каждый день. Их отношения строились на обоюдной жажде культурной информации и на общем деле: они вместе отобрали и подготовили письма Турге-

нева для «Современника». Тургенев познакомил Пушкина со своими историческими изысканиями, показал ему копии документов из парижских архивов. Разговоры их неисчерпаемы, тем много, и они разнообразны: говорили о декабристах, об А. П. Ермолове, М. Ф. Орлове, П. Д. Киселеве; 9 января 1837 года Пушкин прочел Тургеневу свою статью «Последний из свойственников Иоанны д'Арк». Тургенев принес Пушкину выписки из своего дневника о Шотландии и сочинения своего знакомого писателя Карла Виктора Бонштеттена и его переписку с мадам де Сталь; от него Пушкин узнал и о французском писателе Поле де Жюльвекере. Их беседы затрагивали широкий круг тем: от Шатобриана и Гёте до успехов современной промышленности,— Тургенев хорошо знал города Европы, ему были известны промышленные сдвиги в Англии. Пушкину все это было интересно.

В свою очередь, Пушкин много говорил о Древней Руси, Екатерине II, Петре Великом, о «Слове о полку Игореве». Пушкин прочел Тургеневу неотправленное письмо к П. Я. Чаадаеву и новое стихотворение «Памятник». Они засиживались до четырех часов утра. Встречались по преимуществу у Пушкина и Тургенева, но также и у Вяземских, Карамзиных, М. А. Мусиной-Пушкиной, у сенатора Ф. П. Лубяновского, жившего в одном доме с Пушкиным. 30 января 1837 года Тургенев писал И. С. Аржевитинову о Пушкине: «...последнее время мы часто виделись с ним и очень сблизились, он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровище таланта, наблюдений и начитанности о России. <...> Сколько пропало в нем для России, для потомства знают немногие...»

В конце 1836 года вышла в свет четвертая книжка «Современника», и Тургенев погрузился в чтение напечатанного в ней романа Пушкина «Капитанская дочка». 16 января 1837 года Пушкин передал Тургеневу очередную часть его парижских писем, предназначавшихся для

пятого номера журнала, и посоветовал «вымарать казенные официальные фразы и также некоторые искренние душевные слова, ибо не мечите etc.». Находя новую статью Тургенева «глубоко занимательной», Пушкин намеревался назвать ее «Изыскания такого-то» или «А. И. Т. в Римских и Парижских архивах».

Тургенев принимал близко к сердцу журнальные дела Пушкина. 23 января 1837 года он обратился с просьбой к французскому литератору К. Мармье написать подробно о его путешествии по Скандинавии в составе экспедиции, организованной Французской Академией. «Это письмо появилось бы в „Современнике“», — писал он. 23 января Тургенев завершил часть своей хроники, посвященной его посещению Веймара. Она была напечатана как «Отрывок из записной книжки путешественника» в пятом номере «Современника».

Последний раз он виделся с Пушкиным 26 января 1837 года: Тургенев читал поэту фрагменты из своих парижских записей. В тот же день Пушкин собирался еще прийти к Тургеневу, чтобы прочитать донесения французских послов. Но прислал записку: «Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов». На ней Тургенев сделал надпись: «Последняя записка ко мне Пушкина накануне дуэля».

Издание «Современника» свело Пушкина еще с одним энциклопедистом, личностью в своем роде замечательной — Петром Борисовичем КОЗЛОВСКИМ. Дипломат по роду занятий, он, так же как и Тургенев, долго жил за границей, был посланником в Турине, Риме, Вене, Штутгарте, Сардинии. Имел незаурядные литературные способности. Был дружен с Гёте, знаком с Байроном, хорошо знал Жуковского и братьев Тургеневых. В 1834 году, возвращаясь в Россию из Версаля (Козловский с 1827 года был в отставке, но продолжал, путешествуя по Европе, выполнять всевозможные пору-

чения Коллегии иностранных дел), он познакомился с П. А. Вяземским, ставшим впоследствии одним из самых близких его друзей. Вяземского все восхищало в этом человеке: недюжинная эрудиция в разных отраслях науки, живой ум, легкий нрав, совершенно выдающееся красноречие; поэт имел намерение написать книгу о Козловском, собирал для нее материалы. Навсегда запомнилось Вяземскому, как в Варшаве коляска с Козловским опрокинулась в яму в несколько саженей глубины и получивший серьезные повреждения князь приветствовал подоспевшего лекаря стихами из Ювенала, чем продемонстрировал, по мнению Вяземского, «редкую и замечательную черту присутствия ума, памяти и литературности в такую неприятную минуту».

В 1835 году Козловский появился в петербургских салонах на костылях. И сразу занял там центральное место: на литературных вечерах, светских раутах, дипломатических обедах ему не было соперника в красноречии. В петербургские дома звали «на князя Козловского». Его обширные знания в литературе, науке, истории, современной политике ничуть не мешали его простоте и простодушию. А умение слушать собеседника, «вежливость аттическая и совершенно аристократическая», по словам Вяземского, уравнивали его «пламенную и своевольную речь». Поэт находил, что «дар слова в нем такое же оружие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике».

Современную поэзию Козловский не признавал, делая исключение лишь Пушкину и Байрону. Он познакомился с Пушкиным в то время, когда тот был всецело занят «Современником». Не исключено, что они встречались и раньше: известно, что в несостоявшейся дуэли Пушкина с В. А. Соллогубом он собирался быть секундантом. Но те встречи, если они и были, прошли незамеченными, во всяком случае для Пушкина. Теперь их объединяло общее дело. Козловский проникся не только

дружескими чувствами к поэту, но и неподдельным интересом к его журналу. Без колебания согласился он на предложение Вяземского написать рецензию на Парижский математический ежегодник, изданный «под надзором» Д. Ф. Араго («Annuaire du bureau des longitudes»).

Соратникам Пушкина по журналу была известна его заинтересованность в научно-популярных статьях. С В. Ф. Одоевским, человеком широких знаний, он обсуждал, «каким образом можно об ученых предметах говорить человеческим языком и вообще как знакомить наших простолюдинов (в зипунах и во фраках) с положительными знаниями, излагая их общепонятным языком».

Расчеты редакции журнала на Козловского оправдались. Его статья «Разбор Парижского математического ежегодника» в первой книжке «Современника» была написана живым, ясным и точным языком и отвечала намерениям Пушкина знакомить «простолюдинов с положительными знаниями». В ней Козловский писал: «Наука должна быть достоянием не только высших, но и низших слоев населения. Только тогда возможно процветание науки». Рассказывая в статье об известном математике Шарле Дюпоне, автор вспоминал, что «с восторгом» встречал на его лекциях в Париже «в белых от работы замаранных фартуках каменщиков, плотников, столярей и проч. в семь часов вечера, по окончании своих работ приходивших слушать ученого профессора».

Автор предоставил Пушкину неограниченное право изменять все, что касается языка, но просил его ставить в известность относительно насильственной цензурской правки. Основания опасаться цензуры были и у Пушкина. Поэтому так радостно сообщал он 17 марта Вяземскому: «Ура! наша взяла. Статья Козловского прошла благополучно; сей час начинаю ее печатать».

О том, насколько Пушкин дорожил отношениями с Козловским, можно судить по его письму к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года: «Козловский стал бы мсим

провидением, если бы захотел сделаться литератором». После первой удачи Козловского в «Современнике» Пушкин заказал ему еще две статьи: о теории вероятностей («О надежде», «Современник», № 3) и «Краткое начертание теории паровых машин». Этой последней Пушкин занимался в самый канун смертельной дуэли, просил Вяземского напомнить о ней автору. Статья была напечатана друзьями Пушкина в седьмом номере журнала.

Уехав в ноябре 1836 года в Варшаву, Козловский писал Вяземскому: «Что делает Александр Сергеевич? Я о нем думаю гораздо больше, чем о граните Английской набережной. Этот человек был рожден на славу и процветание своих соотечественников».

Под влиянием Козловского, знатока поэзии Ювенала, Пушкин обратился к переводу римского сатирика. Поэт начал свою работу с основательной подготовки: он перечитал латинский и английские переводы римского сатирика, осуществленные И. И. Дмитриевым. Но труд этот Пушкин не завершил, он перевел всего лишь несколько строк. След этой поэтической попытки хранит черновик также незаконченного послания Пушкина к Козловскому:

Ценитель умственных творений исполинских,  
Друг бардов английских, любовник муз латинских,  
Ты к мощной древности опять меня манишь.

Я приготовился бороться с Ювеналом,  
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,  
<Стихами> перевести я было дал обет.  
Но, развернув его суровые творенья,  
Не мог я одолеть пугливого смущенья...

Пушкин привлекал к сотрудничеству в своем журнале поэтов и писателей, получивших известность в общественно-литературных кругах 30-х годов. После выхода в

свет второй книжки «Современника» С. Н. Карамзина в письме к брату назвала Пушкина «беззаботным и ленивым созданием» за то, что он поместил в своем журнале «сцены из провалившейся „Тивериады“» Андрея Муравьева. Дело, однако, обстояло значительно сложнее.

Андрей Николаевич МУРАВЬЕВ известен в русской литературе как третьестепенный писатель, в основном религиозного толка, поэт, мемуарист. Но издание в 1832 году в Петербурге его книги «Путешествие по святым местам» произвело на публику, по словам даже самого Пушкина, сильное впечатление. В литературных кругах столицы Муравьева к тому времени уже знали: он был знаком с А. С. Грибоедовым, В. А. Жуковским, а позже и с М. Ю. Лермонтовым.

С Пушкиным Муравьев познакомился зимой 1826/27 года в Москве. 9 марта в доме З. А. Волконской Муравьев, неловко опершись на гипсового Аполлона, обломал у скульптуры руку, а затем написал на торсе стихи с заявлением, что «хотел помериться» с богом красоты. А Пушкин сочинил по этому поводу эпиграмму «Лук звенит, стрела трепещет...», где назвал Муравьева «Бельведерским Митрофаном». Муравьев хотел вызвать Пушкина на дуэль, но был удержан А. С. Хомяковым.

Начинающего поэта Пушкин на первых порах одобрил. «Между другими поэтами в первый раз увидели мы г-на Муравьева и встретили его с надеждой и радостью», — писал он в отзыве об альманахе «Северная лира», который, однако, не был напечатан. Этим надеждам не суждено было осуществиться: подражая Пушкину, Баратынскому, Жуковскому, Муравьев так и не сумел выйти за рамки эпигонства.

После длительного перерыва они вновь встретились в Петербурге, в архиве Министерства иностранных дел, где Пушкин изучал литературу по истории Петра Великого. По словам Муравьева, Пушкин, рассказывая за



свою московскую эпиграмму, сообщил Муравьеву, что с удовольствием читал его «Путешествие». В своих мемуарах под названием «Мое знакомство с русскими поэтами» Муравьев писал, что «до самой кончины Пушкина» он «оставался с ним в самых дружеских отношениях», что было явным преувеличением. Однако поэт действительно принял участие в судьбе Муравьева: после провала его пьесы «Битва при Тивериаде», признанной несценичной, он взял на себя риск и труд напечатать ее в «Современнике», а для успеха дела рекомендовал автору предпослать пьесе историческое введение. Во второй книжке пушкинского журнала печатались отрывки 4-го и 5-го действий пьесы Муравьева с предисловием автора, а в четвертой — прозаический отрывок «Вечер в Царском Селе». Отрывки из трагедии Муравьева «Михаил Тверской» напечатали друзья Пушкина после его смерти в шестом номере «Современника».

Нынешнему поколению мало что говорит имя Егора Федоровича РОЗЕНА. Между тем именно он был либреттистом знаменитой оперы М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Не отличавшийся скромностью, автор (из остзейских немцев) почитал себя в поэтическом отношении соперником Пушкина.

Он начал печататься с 1825 года, по преимуществу как поэт и как переводчик на немецкий язык произведений Пушкина и Дельвига. С 1829 года его стихи появились в изданиях Дельвига «Подснежник», «Северные цветы», «Литературная газета», из которых ему открывался путь и в пушкинский «Современник». Познакомил их С. П. Шевырев — привел Розена к Пушкину в гостиницу Демута. «Очень хорошо помню первое на меня впечатление, сделанное Пушкиным, — писал в своих мемуарах «Ссылка на мертвых» Розен. — <...> Почти каждое движение его было страстное, от избытка жизненной си-

лы его существа, ею он еще больше пленял и увлекал, нежели своими сочинениями». С тех пор они часто встречались и в обществе петербургских литераторов, и в свете.

В 1831 году Розен написал на трагедию Пушкина «Борис Годунов», по определению современников, «очень рассудительную» критику. Рецензия была напечатана на немецком языке в первом номере дерптского журнала «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst besonders Russland» за 1833 год, с приложением отдельных сцен из трагедии «Борис Годунов», переведенных им на немецкий язык, с дополнениями, сделанными по предоставленным ему Пушкиным рукописям. Розен заслужил благодарность Пушкина. Поэт проявил несомненный интерес к Розену — критику и драматургу. В воспоминаниях «Ссылка на мертвых», точных в смысле фактов и деталей, Розен, однако, обнаружил явную склонность к самовосхвалению и приукрашиванию отношения к нему Пушкина, гордился «лестными отзывами Пушкина» о его творчестве, свидетельствовал, что Пушкин, как и другие, отдавал предпочтение его «литерическому таланту».

История сотрудничества Розена в журнале Пушкина позволяет усомниться в справедливости этого утверждения. Уже для первой книжки журнала Розен подготовил стихотворение и 4 февраля сообщил об этом Пушкину. Но Пушкин не поместил стихов Розена ни в первом, ни в последующих номерах журнала. В связи с этим отвергнутый автор жаловался Шевыреву: «Вообще замечаю, что ему предпочтительно нравятся те пьесы у меня, кои не в его духе, будто бы он не терпит ни малейшего с ним соперничества, даже в неизмеримом неравенстве дарований в сопернике». Пушкин не любил эпитонов и не хотел оказывать автору дурной услуги.

Розен начал изучать русский язык уже девятнадцатилетним юношей; однако в себе нимало не сомневался,

считая себя чуть ли не теоретиком русского языка, а свои стихи — совершенными. Общаясь с Розеном, Пушкин воспринимал его с мягкой иронией. Самовлюбленный Розен этого, по-видимому, не замечал, зато это видели другие. А. П. Керн вспоминала, как Пушкин, имея обыкновение в минуты рассеянности напевать какую-нибудь стихотворную строчку, однажды при ней беспрестанно повторял слова из стихотворения Розена «Венценосная страдалница» — «Неумолимая, ты не хотела жить», «передразнивая его голос и выговор».

По воспоминаниям современников, Розен отваживался на резкую критику некоторых стихотворений Пушкина. Летом 1831 года поэт послал Розену для издававшегося им альманаха «Альциона на 1832 год» поэму «Пир во время чумы» и двестише на перевод «Илиады» Н. И. Гнедича. Розен («альманашник», как его называл Пушкин) признал «Песню Мери» слабейшими куплетами. «Зачем же вы не исключили этих стихов?» — обезоруживающе реагировал автор. И. И. Панаев рассказывал в «Литературных воспоминаниях», что барон Розен «гордился тем, что, когда Гоголь на вечере у Жуковского в первый раз прочел своего «Ревизора», он один из всех присутствующих не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся и сожалел о Пушкине, который увлекся этим оскорбительным для искусства фарсом и во все время чтения катался от смеха».

Пушкин печатал в «Современнике» прозу Розена. В первой книжке журнала — статью «О рифме». 4 февраля 1836 года Розен писал издателю: «Что касается поэтических статей, которые Вы у меня просите, я серьезно о них подумываю». В его планы входило написать для «Современника» статью о Н. В. Кукольнике, а также краткий обзор журнала «Сын отечества» (за 1836 год). Последнюю статью он, очевидно, написал, судя по его письму В. Ф. Одоевскому от 19 мая 1836 года: «Я обе-

шал Пушкину статью для второй книжки «Современника». Вот Вам статья. Если годится, напечатайте». Но во втором номере журнала был напечатан лишь драматический отрывок Розена «Иван III и Аристотель».

Осознавая, что в журнальном деле необходимо участие не одних только выдающихся поэтов и писателей, Пушкин стремился заручиться поддержкой литераторов второстепенных, но получивших известность в литературных кругах Петербурга. Весьма резкий в своих оценках И. И. Панаев в воспоминаниях о Пушкине писал: «Пушкин, действительно, по словам всех литераторов, имевших с ним сношения, был очень прост, любезен и до утонченности вежлив в обхождении, никому не давал чувствовать своего авторитета». Панаев привел в качестве примера великодушия Пушкина отношение его к поэту Лукиану Андреевичу ЯКУБОВИЧУ, который, по его свидетельству, «гордился тем, что Пушкин всегда выпрашивал у него стихов для своих изданий». Это был поэт скромного дарования, хотя и популярный в 1830-е годы. Он печатался в «Атенее», «Телескопе», «Молве», «Северных цветах на 1832 год», «Литературной газете».

Л. А. Якубович был племянником лицейского друга Пушкина М. Л. Яковлева, который в письме от 16 января 1837 года просил Пушкина: «Племянник мой, многоизвестный тебе человек, желает тебе помочь в издании „Современника“. Малый он с понятием, глядит на вещи прямо, суждение имеет свое, не дожидая: что скажет такой-то, а всего более трудолюбив. С такими качествами может он быть тебе полезен трудами, а ты ему деньгами».

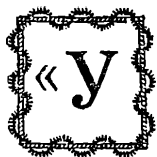
В четвертом, последнем при Пушкине номере «Современника» были напечатаны стихотворения Якубовича: «Подражание Саади», «Предназначение», «Урал и Кавказ».

В писательских кругах Петербурга любили его за добросердечие и бескорыстие. Умер он рано, в нужде, где-то в каморке на чердаке в Семеновском полку.

Пушкин выпустил четыре тома «Современника» и частично подготовил пятый. Утром 27 января 1837 года, накануне дуэли, в своем кабинете он написал писательнице А. О. Ишимовой письмо, отменяющее их встречу: она переводила из современной английской поэзии стихи для пятой книжки журнала «Современник».

За короткий срок поэт сумел показать себя одаренным журналистом. Он открыл для русской публики новые таланты: на страницах его журнала стали печататься малоизвестные тогда Ф. И. Тютчев и А. В. Кольцов. Не вполне удовлетворенный слишком осторожным тоном большинства критических статей в журнале, Пушкин сделал практические шаги к привлечению в журнал В. Г. Белинского. 27 мая 1836 года он писал П. В. Нащокину: «Я оставил у тебя два порожних экземпляра „Современника“. Один отдай князю Гагарину, а другой пошли от меня Белинскому (тихонько от наблюдателей, №) и вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел увидеться». «Он талант обличает, подающий большую надежду», — говорил Пушкин о критике. Согласие Белинского сотрудничать в «Современнике» не могло быть осуществлено в связи с гибелью Пушкина.

Оценивая роль «Современника» в русской журналистике, Белинский считал невозможным какое бы то ни было сравнение журнала с «очень сомнительной славой» издания типа болгаринского. По его мнению, «„Современник“ Пушкин стал издавать <...> для того, чтобы Россия имела хоть одно издание, где находили бы себе место талант, знание, достоинство и независимое от торговых соображений литературное мнение».



жели нельзя хоть помечтать о будущем? Этим богатством я всегда буду наделен. Оно не оставит меня во все дление жизни», — писал Гоголь своему приятелю из Нежина накануне отъезда в Петербург. Юношеские мечты о своем предназначении, о жизненном поприще, «истинно полезном для человечества», ассоциировались у Гоголя с Петербургом.

В конце декабря 1828 года он приехал в Петербург с рекомендательными письмами, с рукописью юношеской поэмы «Ганц Кюхельгартен», с надеждой прекрасным делом «означить свое существование», «сделать жизнь свою нужною для блага государства». В Петербург Гоголь привез и восхищение Пушкиным, своим любимым поэтом, стихотворения и поэмы которого он хорошо знал еще в гимназии. По свидетельству П. В. Анненкова, вскоре по приезде Гоголь предпринял попытку познакомиться с поэтом. Она оказалась неудачной, но характерной для молодого Гоголя и его восторженного отношения к Пушкину. «Чем ближе подходил он к квартире Пушкина (на набережной Мойки, у Полицейского моста, в гостинице Демута. — *Авт.*), тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин», услышал ответ слуги: «почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «верно всю ночь работал?» — «Как же, работал, — отвечал слуга, — в картишки играл». Гоголь признавался, — пишет Анненков, — что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянным облаком вдохновения».

Но преклонение перед гением Пушкина Гоголь сохранил на всю жизнь. Высоким чувством благоговения проникнуты его петербургские встречи с Пушкиным и поздние воспоминания о них, дружеские и литературные контакты с поэтом.

Первые годы Гоголя в Петербурге связаны с поисками службы, с попытками заняться литературным трудом, с первыми публикациями в «Сыне отечества», «Отечественных записках», в «Литературной газете», «Северных цветах на 1831 год». Одновременно Гоголь интенсивно работал над первым томом «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В начале 1830 года в «Отечественных записках» была опубликована его повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», в альманахе «Северные цветы на 1831 год» — глава из исторического романа «Гетьман», в «Литературной газете» — глава из мало-российской повести «Страшный кабан» (подписанная псевдонимом П. Глечик), статья «Несколько слов о преподавании детям географии» (под псевдонимом Г. Янов), статья «Женщина» (за подписью: «Гоголь»), отрывок из повести «Страшный кабан» (без подписи).

Ко времени знакомства с Пушкиным Гоголь был еще начинающим литератором, полным разнообразных творческих замыслов и планов. Но его уже заметили в критике. О. Сомов, автор рецензий на «Ганца Кюхельгартена», увидел в Гоголе «талант, обещающий в нем будущего поэта». На Гоголя обратили внимание известные писатели.

С 1831 года Гоголь постоянно посещал литературные «среды» П. А. Плетнева и «субботы» В. А. Жуковского.

В письме от 22 февраля 1831 года Плетнев усиленно рекомендовал Гоголя Пушкину, охарактеризовав его благожелательно как человека и как начинающего литератора. «Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее, — писал он. — Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» от-

рывок из исторического романа, с подписью 0000, также в «Литературной газете» — «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский... Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена: он перешел также в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает». В это время Пушкин, занятый хлопотами, связанными с предстоящей женитьбой, жил в Москве и о Гоголе еще ничего не знал. «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царского Села», — отвечал он Плетневу в апреле 1831 года.

Гоголь же следил с пристальным вниманием за каждым литературным выступлением Пушкина. В двадцатых числах декабря 1830 года, вскоре после выхода в свет «Бориса Годунова», он начал писать статью о трагедии Пушкина, в которой назвал «Бориса Годунова» «великим», «вечным творением». Написанная в форме диалога, статья Гоголя предвосхитила журнальную полемику, развернувшуюся вокруг трагедии. Первый критический опыт молодого писателя (не опубликованный при его жизни) проникнут благоговейным восторгом перед творением Пушкина. Та же высокая оценка, данная творчеству Пушкина («необъятный»), заключалась в другой неопубликованной статье — «О поэзии Козлова», над которой Гоголь начал работать, очевидно, до знакомства с Пушкиным. Нравственно Гоголь был подготовлен к встрече с поэтом и с нетерпением ждал ее.

В Петербург Пушкин приехал 18 мая 1831 года и до своего отъезда в Царское Село (25 мая) был на вечере у Плетнева, где, по свидетельству Анненкова, 20 мая ему был представлен Гоголь. Летом этого же года Пушкин



жил в Царском Селе, Гоголь — в Павловске, на даче у Васильчиковой, занимаясь с ее сыном. Встречи Гоголя с Пушкиным и Жуковским участились. Польщенный знакомством и сближением с Пушкиным, Гоголь не без юношеской гордости в летних корреспонденциях к матери просит адресовать письма к нему «на имя Пушкина, в Царское Село».

«Все лето я прожил в Павловске и Царском Селе, — с восторгом писал он позднее своему другу А. С. Данилевскому. — Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если б ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть октавами писанная «Кухарка», в которой вся Коломна и петербургская природа живая. — Кроме того, сказки русские народные — не то, что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая». Из письма видно, что в период общения с Пушкиным в Царском Селе Гоголю стали известны поэма «Домик в Коломне», первоначально называвшаяся «Кухарка», сказки «О попе и о работнике его Балде», «О царе Салтане» и статья «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», направленная против Булгарина.

В письме к Пушкину от 21 августа 1831 года Гоголь набрасывает начало своей статьи, близкой по тону к пушкинской, в которой иронически сопоставляются Ф. Булгарин и А. Орлов.

Возможно, этим же летом Гоголь был посвящен и в историю создания «Повестей Белкина», рукопись которых («посылка») Пушкин переслал с ним в Петербург для передачи Плетневу. По-видимому, в Царском Селе Пушкин познакомился с первыми литературными опытами молодого Гоголя, о них ему писал накануне Плетнев. Очевидно, во время летних встреч Гоголь читал Пушкину в рукописи повести первого тома «Вече-

ров на хуторе близ Диканьки», которые он готовил к печати под псевдонимом Пасичника Рудого Панька. В письме к Пушкину Гоголь сообщал о своем посещении типографии и о впечатлении наборщиков от «Вечеров» как о предмете, хорошо известном Пушкину: «У Плетнева я был, отдал ему в исправности вашу посылку и письмо. Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в дверь, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору (распорядителю работ.—Авт.) и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву.* Из этого я заключил, что я писатель совершенно во вкусе черни».

В ответном письме Пушкин поздравил Гоголя с безусловным успехом «Вечеров»: «Поздравляю Вас с первым Вашим торжеством, с фырканьем наборщиков и изъяснениями факторов». Эпизод же с «прыскающими» и «фыркающими» наборщиками Пушкин полностью включил в свой одобрительный отзыв о первой книжке «Вечеров», предвосхитивший другие журнальные отклики (напечатан как «Письмо к издателю „Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“» (1831, № 79). «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился», — писал Пушкин в краткой рецензии на «Вечера», одним из первых отмечая новаторство Гоголя-прозаика, его подлинный юмор и поэзию — черты дарования, которые дали возможность даже в кратком отзыве сравнить имя Гоголя с именами Мольера и Филдинга. Пушкин не только поддержал и высоко оценил незаурядное дарование молодого писателя, но и увидел в нем своего литературного соратника. Говоря

о возможных нападках журналистов («смешных жеманниц») на «неприличие выражений», «дурной тон», Пушкин имел в виду и нападки критики на него самого, в частности в связи с поэмой «Граф Нулин».

Общение Пушкина с Гоголем продолжалось и по их возвращении в Петербург. Они встречались на литературных раутах у общих знакомых — Плетнева, Жуковского, П. А. Вяземского, возможно, и у А. О. Смирновой. Гоголь мог быть и среди посетителей квартиры Пушкина. Чаще всего он бывал вместе с Пушкиным у Плетнева. Некоторые из этих встреч запечатлены в дневниковых записях А. В. Никитенко, П. А. Вяземского и в других мемуарных источниках. Автор «Вечеров» виделся с Пушкиным 10 февраля 1832 года на литературном обеде у А. Ф. Смирдина по случаю новоселья его книжной лавки.

На протяжении 1831—1834 годов имя Пушкина неоднократно упоминается в письмах Гоголя к М. П. Погодину, А. С. Данилевскому, В. А. Жуковскому. Все, связанное с Пушкиным, представляло для Гоголя особый интерес и важность, поэтому он делился со своими корреспондентами содержанием бесед с поэтом, упоминал о встречах с ним, проявлял живую заинтересованность в его литературных планах.

10 сентября 1831 года Гоголь сообщал Жуковскому об августовском свидании с поэтом в Петербурге («Это была радостная минута») и об окончании им «Сказки о царе Салтане». В этом же месяце Гоголь отправил Пушкину экземпляр «Вечеров». В январе 1832 года он послал А. С. Данилевскому альманах «Северные цветы на 1832 год» с рекомендацией прочитать «Пушкина чудную пьесу „Моцарт и Сальери“». А в марте Гоголь отправил ему «вторую книгу „Вечеров“ и наудачу „Онегина“»: «Может быть у вас в глуши его еще не читали. В таком случае ты обомлешь от радости...»

30 ноября 1832 года Гоголь сообщает И. И. Дмитриеву

ву о недавней встрече с поэтом и о полученном им отказе на издание газеты «Дневник». В письме к М. П. Погодину от 20 февраля 1833 года упоминается о свидании с Пушкиным и разговоре с ним по поводу работы над историей Петра I. А в мае Гоголь пишет Погодину: «Пушкин уже почти кончил историю Пугачева. Это будет единственное у нас в этом роде сочинение. Замечательна очень вся жизнь Пугачева. Интересу пропасть! Совершенный роман!»

Одновременно и Гоголь делился с Пушкиным своими творческими планами, встречая неизменную благожелательную поддержку поэта. К осени 1833 года относится попытка литературного сотрудничества в задуманном В. Ф. Одоевским альманахе, который должен был объединить трех участников: Пушкина (автора «Повестей Белкина»), самого организатора (создателя «Пестрых сказок»), Гоголя (Рудого Панька). Альманах предполагалось построить по типу бытовавших во французской литературе физиологических сборников, представляющих «разрез дома в 3 этажа». Судя по письму В. Ф. Одоевского к Пушкину, название альманаха «Тройчатка, или Альманах в три этажа» принадлежало Гоголю.

28 сентября 1833 года В. Ф. Одоевский писал по этому поводу Пушкину в Болдино: «Что делает наш почтеннейший г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко (Одоевский. — Авт.) и Рудый Панько по странному стечению обстоятельств описали: первый — гостиную, второй — чердак; нельзя ли г. Белкину взять на себя ответственность — погреб, тогда бы вышел весь дом в три этажа и можно было бы к тройчатке сделать картинку, представляющую разрез дома в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панько даже предлагал самый альманах назвать таким образом: Тройчатка или Альманах в три этажа, сочинение и проч.— что на это скажет г. Белкин?»

В ответном письме, написанном в шутливо-ирониче-

ском тоне, Пушкин отклонил эту затею, сославшись на «лень» и «хозяйственные хлопоты». В действительности же в это время поэт активно работал над «Медным всадником», подготавливал «Историю Пугачева», и замысел альманаха, по-видимому, утратил для него новизну и актуальность. Отказ Пушкина определил судьбу альманаха — он не состоялся. Безуспешной оказалась и попытка Одоевского организовать вместе с Гоголем альманах «Двойчатку». Тем не менее этот эпизод показателен для истории литературных отношений Пушкина и Гоголя, возможных сотрудников и соратников, так как альманах замышлялся в противовес болгаринской нравописательной литературе, проникнутой верноподданническими настроениями.

Пушкин высоко ценил талант Гоголя и был заинтересованным читателем многих его произведений до их публикаций. В письме к Одоевскому по поводу альманаха «Тройчатка» он интересовался комедией «Владимир III степени» как сюжетом, хорошо ему известным: «Что его комедия? В ней же есть закорючка». В дневнике поэта от 3 декабря 1833 года содержится запись: «Вчера Гоголь читал мне сказку «Как Ив. Ив. поссорился с Ив. Тимоф.». Очень оригинально и очень смешно». 3 мая 1834 года Пушкин присутствовал на чтении Гоголем у Д. В. Дашкова комедии «Женихи».

В 1833-м — начале 1834 года Гоголь усиленно изучал всеобщую историю. Занятый преподаванием в женском Патриотическом институте, он задумал написать историю Украины, всеобщую историю и всеобщую географию под названием «Земля и люди». Мечтал получить кафедру истории в Киевском университете. По его просьбе Пушкин взялся помочь ему в этом деле. Судя по письмам Гоголя этого периода, он часто встречался с Пушкиным, выполнявшим роль посредника между ним и министром просвещения С. С. Уваровым. Несмотря на хлопоты друзей, кафедру истории в Киевском университете

Гоголь не получил, но был утвержден в должности адъюнкт-профессора Петербургского университета по кафедре всеобщей истории и с сентября 1834 года начал читать лекции по истории средних веков и древней истории для студентов второго курса. На одной из них, состоявшейся в октябре 1834 года, по приглашению Гоголя присутствовали Пушкин и Жуковский. Гоголь читал лекцию об арабском калифе Ал-Мамуне. Тема государственного реформатора была, очевидно, предметом разговоров Пушкина с Гоголем и имела прямое отношение к историческим интересам Пушкина, увлеченно работавшего в то время над историей Петра Великого.

По воспоминаниям студента Петербургского университета Н. Иваницкого, «лекция была блестящая» и вызвала одобрение поэта. «После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем,— вспоминает Н. Иваницкий,— но я слышал одно только слово: увлекательно...»

Одновременно с занятиями историей Гоголь по совету Пушкина «начал историю русской критики». Запись, сделанная в дневнике Пушкина от 7 апреля 1834 года, отражает, по-видимому, разговоры Пушкина во время встреч с Гоголем о современной литературной критике и журналистике.

Исторические «штудии» Гоголя, так же как и его литературно-критические опыты, вошли в сборник «Арабески». Пушкин принимал активное участие в подготовке его к печати (конец 1834 года) и, возможно, в связи с этим не раз виделся с Гоголем. Между 15 октября и 9 ноября 1834 года Пушкин «перечел с большим удовольствием» рукопись «Невского проспекта». Незадолго до выхода в свет «Арабесок», в начале января 1835 года, Гоголь послал ему для просмотра предисловие с просьбой внести коррективы и сообщал о цензурных затруднениях в связи с «Записками сумасшедшего».

Сразу же по выходе в свет «Арабесок» Гоголь отправил Пушкину (около 22 января 1835 года) два эк-

земпляра, один из них разрезанный, с просьбой «вычтывать... ошибки». «Мне это очень нужно», — писал он. В этом же письме Гоголь приглашал Пушкина к себе: «Я до сих пор сижу болен, мне бы очень хотелось видеться с вами. Заезжайте часу во втором». Настойчивость, с которой Гоголь просил Пушкина прочитать «Арабески» с карандашом в руках, была не случайной. В состав сборника входила небольшая статья — «Несколько слов о Пушкине». В ней развивались оценки поэта и отдельных его произведений, высказанные Гоголем ранее, в начале 1830-х годов, в неопубликованных статьях «Борис Годунов», «О поэзии Козлова», в некоторых его письмах. Здесь впервые в русской критике утверждалась мысль о Пушкине как о великом русском национальном поэте. Пушкину были известны и некоторые повести, входившие в состав «Арабесок», поэтому его мнение было для Гоголя не только небезынтересным, но важным и «очень нужным».

Осенью 1835 года дружеские и литературные контакты Гоголя и Пушкина становятся особенно тесными. Об огромном нравственном авторитете Пушкина в период напряженной работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором» Гоголь писал позднее в «Авторской исповеди»: «Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение... и в заключение всего отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». (Мысль «Ревизора» принадлежит также ему.)».

Конкретные обстоятельства «передачи сюжетов» Гоголь не объясняет. В письме от 7 октября 1835 года он сообщает Пушкину о начале работы над «Мертвыми душами» как о предмете известном и близком адресату. Здесь же Гоголь обращается с просьбой дать «какой-нибудь сюжет» для комедии, «смешной или не смешной,

но русский чисто анекдот»: «Рука дрожит написать тем временем комедию».

Очевидно, в начале сентября, до своего отъезда из Петербурга, Пушкин виделся с Гоголем. Разговор шел о «Мертвых душах», возможно, тогда и произошла «передача сюжета». По окончании первых глав «Мертвых душ» Гоголь вновь встретился с поэтом и прочел ему написанное.

18 января 1836 года Пушкин на вечере у Жуковского услышал, как Гоголь читал «Ревизора». По свидетельству П. В. Нащокина, присутствовавшего во время чтения, Пушкин высоко оценил комедию: «..во все время чтения катался от смеха». Спустя несколько месяцев, в мае 1836 года, поэт выполнил поручение М. С. Щепкина, связанное с московской постановкой «Ревизора». В письме к жене (от 6 мая) Пушкин просил «послать за Гоголем», с тем чтобы он приехал в Москву и прочитал бы актерам «Ревизора»: «Без него актерам не спеться».

Общение Пушкина с Гоголем продолжилось в журнале «Современник» (1836), активным сотрудником которого был Гоголь. В первом же томе «Современника» Гоголь по приглашению Пушкина поместил «Коляску», «Утро делового человека», несколько рецензий, статью «О движении журнальной литературы 1834 и 1835 гг.», в работе над которой писатель пользовался советами Пушкина. Не все в статье Гоголя совпадало с мнением Пушкина, и он выступил с поправками к ней в «Письме к издателю», опубликованном в третьем томе «Современника» за подписью: «А. Б.».

В первом же томе «Современника» была напечатана рецензия Пушкина на второе издание «Вечеров», в которой подводились итоги развития и совершенствования таланта Гоголя от его литературного дебюта до предстоявшей первой постановки «Ревизора» в Петербурге. В третьем томе «Современника» Пушкин поместил повесть Гоголя «Нос», отклоненную «Московским наблю-



дателем», снабдив ее редакционным примечанием, которым предполагал оградить Гоголя от нападков критики. «Мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального...» — писал он в примечании от редакции.

В марте 1836 года Гоголь послал Пушкину для представления в цензуру «Утро чиновника».

А через месяц состоялось первое представление «Ревизора» на сцене Александринского театра в Петербурге, вызвавшее много толков и критических откликов. На защиту Гоголя выступил пушкинский «Современник». Здесь во втором томе была напечатана статья П. А. Вяземского о «Ревизоре», в которой комедия Гоголя ставилась в один ряд с классическими произведениями Фонвизина, Капниста, Грибоедова. П. А. Вяземский защищал автора «Ревизора» от обвинений «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения» в «грязности» и «безнравственности» пьесы.

Потрясенный всеобщей бурной реакцией на появление «Ревизора» на сцене и в печати («...грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу... Грустно, когда видишь в каком еще жалком положении находится у нас писатель»), Гоголь поспешно собрался за границу. 6 июня 1836 года он уехал вместе с А. С. Данилевским из Петербурга. В письме к Жуковскому 16 июня из Гамбурга он писал: «Даже с Пушкиным я не успел и не мог проститься». Не простился он и с Жуковским. Однако Гоголь не оставил намерения сотрудничать в «Современнике» и предполагал прислать для пушкинского журнала «кое-что... из немецкой жизни».

Больше Гоголь с Пушкиным не виделся. Известие о гибели поэта застало его за границей. Писатель воспринял ее как личную катастрофу и невозполнимую национальную утрату. «Боже, как странно. Россия без Пушкина...» — писал он, потрясенный, Плетневу. Во многих письмах из-за границы в «Авторской исповеди» и «Пе-

реписке» Гоголь сказал о значении Пушкина-мастера в своей литературной судьбе емко и выразительно: «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего я не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что он скажет, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое, вот что меня только занимало и одушевляло мои силы». «Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина... мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему... Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первую наградою».

### „Ириной Модестович Гомозейка“



В сентябре 1861 года Владимир Федорович Одоевский, готовясь к переезду из Петербурга в родную Москву и разбирая домашний архив на своей знаменитой мызе «Ронгас», писал оттуда служащему императорской Публичной библиотеки С. И. Лапшину: «Нашел у себя вещи преинтересные, о коих чуть было не забыл: мою переписку с Пушкиным, его письма...» Примерно тогда же подвел он и своеобразный итог своим отношениям с великим поэтом.

«Мы познакомились не с ранней молодости...—а лишь перед тем временем, когда он задумал издавать «Современник» и пригласил меня участвовать в этом журнале; следовательно я, что называется, товарищем детства Пушкина не был; мы даже с ним не были на «ты» — он и по летам и по всему был для меня *старшим*; но я питал к нему глубокое уважение и душевную

любовь и смёю сказать гласно, что эти чувства были между нами взаимными».

Один из своеобразнейших — даже в блистательном созвездии тогдашних имен — современников Пушкина, В. Ф. Одоевский и в самом деле не принадлежал к кругу интимных друзей поэта; он действительно не мог бы похвастать ни той нежной привязанностью, какую питал Пушкин к «ленивцу» Дельвигу, ни короткостью, существовавшей в его отношениях с Жуковским. Но чудакватый, «добрейший и честнейший» князь был отмечен пушкинской дружеской приязнью, тесно связывавшей их так же, как и чувство литературного товарищества...

Знакомство их состоялось в конце 1827-го или в 1828 году в Петербурге, куда Одоевский, коренной москвич, переехал, женившись на Ольге Степановне Ланской. Однако заочно они знали друг о друге давно. Одоевский внимательно следил за растущей славой молодого поэта, и его стихи украшали уже новый московский альманах «Мнемозина», рожденный в 1824 году усилиями самого Одоевского и лицейского товарища Пушкина Кюхельбекера. Чуть позже вошел Одоевский и в число ближайших сотрудников затеянного его друзьями журнала «Московский вестник», и Пушкин, только что прибывший в первопрестольную столицу из михайловской ссылки и обласканный московскими литераторами, обещал «любомудрам» свое участие.

Однако в этот приезд поэта в Москву, осенью 1826 года, Одоевский с ним разминулся — он был уже в Петербурге и, лично еще не знакомый с Пушкиным, выпрашивал в письме к Погодину хоть ненадолго «Бориса Годунова». Весть о новой трагедии достигла северной столицы: было известно, что Пушкин читал ее в Москве «своим» — Соболевскому, Вяземскому, у Веневитиновых — и что отрывок из нее предназначается в «Московский вестник».

Знал у же, должно быть, имя Одоевского и Пушкин—

хотя бы по статьям и апологам в «Мнемозине», доходившей в Михайловское. Один из них прозвучал даже неожиданным отголоском на помещенное в альманахе пушкинское стихотворение «Демон», которое Одоевский, увлеченный в ту пору «немецкой метафизикой», прочитал с «сумрачным наслаждением».

В те дни, когда мне были новы  
Все впечатленья бытия...

Стихотворение поразило его глубиной проникновения в «сокровищницу сердца человеческого», разъедаемого «злым гением» рефлексии и сомнения:

Не верил он любви, свободе;  
На жизнь насмешливо глядел —  
И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел.

Легкие и грустные пушкинские строки навели пламенного искателя истины на философские раздумья о демонах «внутри» и «вне» нас — в следующем номере «Мнемозины» появился его аполог «Новый Демон».

В Москве просматривал Пушкин и статью Одоевского для «Московского вестника», отметив не в меру пылкий темперамент молодого критика, готового крушить «стариков». Поэт вступился за литературный авторитет Державина и Карамзина, и его упрек, переданный Одоевскому Погодиным, доставил молодому литератору «горькие минуты». А спустя несколько лет Одоевский сам будет резко выговаривать тому же Погодину, редактору «Московского вестника», по поводу напечатанных в его журнале статей против «Истории» Карамзина, и в «Пестрых сказках», появившихся в 1833 году, восточный мудрец будет благословлять русскую красавицу поэзией Байрона, Пушкина и «старика» Державина.

...Одоевский, привыкший к уединению и патриархальной московской жизни, к долгим ученым беседам с лю-

безными сердцу «любомудрами» постепенно свыкался с северной столицей. Они с Ольгой Степановной занимали флигель в доме Ланских, в Мошковом переулке. Одоевский начинает принимать у себя по субботам, и литературный его салон становится вскоре знаменитым.

Один из последних отпрысков древнего Рюрикова рода, Одоевский ласково принят не только в петербургском свете, но и при дворе. Его небольшая худощавая фигура, его лицо, походившее на потемневшие старинные портреты, с выражением спокойной энергии во взгляде, становились все более приметными. Глубокая, разносторонняя образованность, добродушный нрав и простота в общении, наивная, почти детская доверчивость и столь же естественная доброта — все это располагало к нему. Завязывались и литературные связи: Одоевский быстро сходится с пушкинскими друзьями, хотя еще недавно петербуржцы незло подшучивали над московским «четверогранным альманахом» — четырехтомной «Мнемозиной», изрядно сдобренной тяжеловатой философской премудростью. «Воздух» Петербурга был иным — и здесь кипела литературная жизнь, и здесь издавались альманахи — но какие! Ошеломила неслыханным успехом «Полярная звезда» Рылеева и Бестужева. Дельви́г, поддавшись на уговоры книгопродавца Слёнина, при ближайшем участии Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского, Языкова принялся издавать другой, не менее блистательный альманах — «Северные цветы», представивший читателю не только яркую плеяду молодых, но и «старших» — Крылова, Гнедича, Федора Глинку... Жизнь «Мнемозины» была коротка, дельвиговское же детище процветало, и вокруг его издателя сосредоточились лучшие литературные силы не только Петербурга — пишущей России.

А 1 января 1830 года увидела свет «Литературная газета». Официальный издатель — тот же Дельви́г, но Пушкин — ее душа, нерв. Усилиями поэта и его друзей

стягиваются к «Литературной газете» единомышленники — «антипчелисты». «Титов и Одоевский тоже нашего полку», — сообщал О. Сомов, один из сотрудников газеты, в Москву своему приятелю Максимовичу 12 декабря 1829 года. Одоевский и в самом деле среди первых, кто усердно трудится для нового издания, — пишет, переводит, консультирует. Имя Пушкина начинает постоянно мелькать в его переписке с Соболевским, Сомовым. Еще осенью 1827 года улаживал Одоевский, уже из Петербурга, финансовые недоразумения, возникшие у Пушкина с «Московским вестником». Спустя год — он возмущен нападками журнала «Атеней» на появляющиеся в печати главы «Евгения Онегина»: «Что за пакость во 2-й книжке „Атеней“!» Пушкин в это время в разъездах, однако в краткосрочные его появления встречаются они, очевидно, и лично: в петербургских гостиных, более тесно — у Дельвигов, у Жуковского, у прелестной «черноокой Россети» в ее скромной фрейлинской келье на четвертом этаже Зимнего дворца, где собирается цвет литературного Петербурга. Видят их вместе и на вечерах Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы историкографа.

...В последних числах декабря 1830 года в книжных лавках появляются «Северные цветы на 1831 год». В отделе прозы рядом с московскими друзьями В. П. Титовым, Зинаидой Волконской, рядом с Гоголем — Одоевский, его «Последний квартет Бетховена» — романтическое повествование о трагическом конце гениального безумца, оглохшего музыканта, погибающего в мире им же созданных звуков. Пушкин в Москве, но «Северные цветы» прочитаны, и новелла Одоевского приводит его в восторг, — Одоевскому спешит сообщить об этом их общий знакомый А. И. Кошелев. Пушкин говорил с ним о «Последнем квартете Бетховена» на балу, где поэт появился с молодой женой спустя несколько дней после свадьбы. Он считает, писал Кошелев, «что это не толь-

ко лучшая из твоих печатных пьес... но что едва когда-либо читали на русском языке статью столь замечательную и по мыслям и по слогу. Он бесится, что на нее обращают мало внимания». Пушкин прочит автору европейскую славу. Это — первый серьезный писательский успех.

Лето 1831 года поэт проводит с Натальей Николаевной в Царском, а к середине октября окончательно перебирается в Петербург, на Галерную, в дом сенаторши Брискорн. Между радостными событиями этого года произошло и трагическое — скоропостижная, неожиданная кончина Дельвига. Друзья его, не сговариваясь, сошлись на том, что «Северные цветы» должны быть продолжены — в память об ушедшем и в пользу его семейства. Так же, не сговариваясь, главенствовать в этом деле предоставили Пушкину. Обсуждение подробностей — у Жуковского, в Зимнем, узким кругом: Пушкин, Гнедич, приехавший из Москвы Погодин и Одоевский. Он дает в посмертные «Северные цветы» одну из лучших своих новелл, продолжающую его рассказы о гениальных безумцах, — „Opere del cavaliere Giambattista Piranesi».

После смерти Дельвига Пушкин начинает подумывать и о собственном издании. Вяземский намечает даже возможных сотрудников — Жуковского, Александра Тургенева, Баратынского, Ивана Киреевского. Среди них мы вновь видим и имя Одоевского. По субботам, после театра, Пушкин теперь нередко появляется в Мошковом переулке. Современники оставили немало восхищенных свидетельств об этих удивительных вечерах. По остроумному замечанию Шевырева, на диване у Одоевского пересидела вся русская литература. Здесь можно было встретить писателей знаменитых — Крылова, Пушкина, Жуковского — и только вступающих на литературное поприще Гоголя, Кольцова... Сюда запросто захаживали Грибоедов, Лермонтов... Позже нашли у Одоевского

поддержку и ласковый прием Достоевский и Белинский. Здесь бывала «вся аристократия рода и таланта» — ученые, музыканты, дипломаты. Известный знаток Китая отец Иакинф сходил с веселым Пушкиным, только что вернувшийся из Сибири путешественник тяжелый немец Шиллинг — с живой и миловидной графиней Ростопчиной, Глинка, не раз пользовавшийся советами Одоевского, тонкого знатока музыки, Даргомыжский — и профессор химии Гессе, французский посланник — и собиратель русского фольклора И. П. Сахаров в длинном гороховом сюртуке... — все чувствовали себя свободно и ровно, в одинаковой мере, без чинов и различий, отмеченные добросердечием и участием хозяина, привлеченные сюда его незаурядной личностью. Представители света собирались обычно вокруг Ольги Степановны, величественно восседавшей перед большим серебряным самоваром и самолично разливавшей чай, остальные же переходили в «львиную пещеру» — кабинет Одоевского, уставленный причудливыми столиками, этажерками с таинственными ящичками, химическими ретортами, черепами, необыкновенной формы склянками, окруженными — на полках, на столах, на диванах — книгами, бесконечным количеством книг, иными в старинных пергаментных переплетах...

Пытливость Одоевского не знала границ. Его интересовало все: литература, положительные науки — и средневековые мистические учения, он возился с химическими ретортами — и писал фантастические повести, изобретал неслыханные музыкальные инструменты — и под именем «доктора Пуфа» выдумывал непостижимые кулинарные рецепты, интересовался новейшими техническими достижениями — и, назвавшись «дедушкой Иринеем», сочинял детские сказки... Над его «мистическими» увлечениями и фантастическими повестями подшучивал Пушкин, будто даже называя Одоевского, посмеиваясь, «Гофманской каплей»... Это, однако, не мешало их сбли-



жению — не только на почве литературного и светского общения...

...Осенью 1833 года Пушкин собирался в Оренбург, в пугачевские места — за материалом для «Истории Пугачева». Намеченный путь — через Симбирск, к которому волею судьбы было тогда приковано и беспокойное внимание Одоевского: именно там, в Симбирске, разыгрывалась в это время таинственная и скандальная история — его отчим Павел Дмитриевич Сеченов был обвинен в «похищении» девицы, якобы бежавшей с его помощью из родительского дома в монастырь. Одоевский, поддерживавший с отчимом семейные и деловые отношения, невольно оказался втянутым в мутный водоворот этой коллизии. Разбирательством же ее занимался симбирский губернатор А. М. Загряжский, родственник Натальи Николаевны, в доме которого предполагал остановиться Пушкин. Пользуясь стечением обстоятельств, Одоевский поверяет ему щекотливое семейное дело, просит выяснить на месте истинные обстоятельства происшествия, и Пушкин, уже из Болдина, весело успокаивает князя сообщением о благополучном конце истории незадачливого донжуана и «скромной отшельницы»...

А незадолго до этого возникла у Одоевского идея совместного литературного сотрудничества: они с Гоголем задумали альманах «Тройчатка», в котором Гомозейке предоставлялось описать «гостиную», Рудому Паньку — «чердак», а господину Белкину — «погреб». «Трехэтажный» альманах не состоялся, но все более сближающие их творческие и издательские замыслы возникают один за другим.

3 марта 1834 года. Запись в дневнике Пушкина: «Был вечером у князя Одоевского». 16 марта — Пушкин и Одоевский, вместе, на примечательном совещании у Греча, куда оба получили приглашение. Собрание у литературных неприятелей — «мирская сходка всей респуб-

лики», но повод слишком важен: затевается первый русский энциклопедический словарь. Пушкин, получивший «разрешение» на участие в этом совещании у Плетнева, «который есть впложенная совесть», уговаривает Одоевского не отказываться от приглашения. Он согласен, что предстоящий вечер «имеет свою гадкую и любопытную сторону», но: «...поедем, что за беда? <...> Всего на-смотримся и наслышимся, а в воровскую шайку не вступим», — и предлагает отправиться вдвоем, так как «одному ехать страшно: пожалуй, побьют». Пушкин и Одоевский держатся на «сходке» единомышленниками: предлагаемые условия издания для них одинаково неприемлемы — дело попало явно не в те руки... 2 апреля, размышляя над тем, что новый Лексикон «будет не что иное, как «Северная пчела» и «Библиотека для чтения» в новом порядке и объеме», Пушкин заносит в дневник слова Одоевского: «...честный человек, говорит Одоевский, может быть однажды обманут; но в другой раз обманут только дурак».

...В начале 1835 года оба вынашивают новую идею — издание «Современного летописца политики, наук и литературы», на манер английских «Review». Одоевский подготавливает даже подробный его проект, Пушкин хлопочет о разрешении. В конце того же года поэт дает согласие на участие в другом начинании, также связанном с Одоевским, — журнале «Северный зритель». Несмотря на неудачи, постигшие эти замыслы, они не оставляют своих издательских планов: Пушкин по-прежнему мечтает о собственном печатном органе, Одоевский — об обстоятельном энциклопедическом журнале, в котором он мог бы дать выход своим разносторонним интересам. Кроме того, Одоевский не богат; его небольшое имение — 443 души в селе Никольском Костромской губернии — давно заложено; он служит и живет жалованьем. Литературный заработок для него — «вещь важная». «...А ведомо вам буде, — писал он как-то

С. П. Шевыреву, — что я книги могу покупать только за те деньги, которые выручаю за свои сочинения».

...Новый, 1836 год Пушкин встречал у Одоевского, в обществе близких обоим людей — Жуковского, Соболевского, Ив. Киреевского, Глинки, старинного приятеля Пушкина Н. И. Кривцова — друга «арзамасцев» и брата декабриста, Н. И. Любимова — чиновника Министерства иностранных дел, доброго знакомого поэта, назвавшего через год его убийцу «новым Геростратом»...

Год начался с удачи: Пушкину наконец разрешили издавать журнал, и друзья поэта объединили усилия вокруг нового пушкинского детища — «Современника». Среди них — Одоевский. Он становится ближайшим помощником нового издателя — принимает горячее участие в организационных делах, хлопочет о типографии, предварительно просматривает и готовит к печати статьи. Отношения с Пушкиным — непринужденные и дружеские. «За все труды я Вас как издателя прижимаю и требую баночку шиповника», — пишет ему Одоевский незадолго до выхода первого номера журнала. «У меня в I № не будет ни одной строчки Вашего пера, — сетует Пушкин в апрельском письме к Одоевскому. — Грустно мне; но времени нам не достало...» Зато второй номер думает он начать статьей Одоевского, «дельной, умной и сильной», для которой сам придумал название — «О вражде к просвещению». Пушкин явно ценит в нем публициста — и вместе с тем под благовидным предлогом, но ловольно определенно отклоняет два его философских «отрывка» из «психологической комедии» о Сегелнеле и «Разговор Недовольных». Оба произведения грешат холодноватой, умозрительной аллегорией и дидактизмом и чужды Пушкину, как, впрочем, и фантастическая повесть «Сильфида». Зато замысел другой повести — «Княжна Зизи» — Пушкину нравится, он называет ее «славной вещью» и торопит Одоевского с окончанием

для следующего номера: «Без Вас пропал „Современник“...»

В мае Пушкин уезжает в Москву, отдав журнал на попечение верного Плетнева и Одоевского. «Бог поможет, «Современник» и без меня выйдет», — пишет он жене, уверенный в своих помощниках. На усмотрение Одоевского предоставил он фактически окончательное формирование второго тома. Одоевский следит за набором, улаживает хозяйственные и финансовые неполадки и, «оградив себя крестным знаменем... дабы бес не радовался и пес хвостом не вертел», просматривает и подписывает к печати корректуру.

И все же Одоевский не чувствует себя в пушкинском журнале «дома». Слишком мало здесь его «пространство», да и тем он распоряжаться не вправе. К тому же журнал Пушкина чисто литературный, а Одоевский — «о многих лицах»... Нередко облачается он в своей «львиной пещере» в длинный, до пят, сюртук, в черный острый колпак и, похожий на средневекового астролога, садится за изучение старинных, таинственных фолиантов, за химические опыты или за новейших английских экономистов. И все это требует выхода... Он по-прежнему не оставляет надежд на собственное издание, на энциклопедический журнал, и даже предпринимает такую попытку вместе с молодым, напористым журналистом Краевским, которому, по своему обыкновению, покровительствует. Однако обстановка в журналистике царит «свинцовая». И на представленный проект — для начала даже не журнала в точном смысле, а «квартильника» по типу «Современника» — ложится запрещающая резолюция Николая: «И без того много».

...Этот державный окрик коснулся не только начинания Одоевского и Краевского — под угрозой оказался и «Современник». Перед ее лицом Пушкин и Одоевский вновь объединяют свои усилия в поисках журнальных «резервов»; Одоевский от лица пушкинского круга ведет

даже переговоры с «братней московской» — редакцией «Московского наблюдателя»... Параллельно усиливаются, становясь все более откровенными и циничными, нападки на Пушкина из болгаринского лагеря. Одоевский безуспешно пытается выступить в защиту поэта и его журнала, но гневную статью его «О нападениях петербургских журналов на русского поэта Пушкина» не печатают, она увидела свет лишь спустя тридцать лет...

И концу 1836 года Пушкин, не имея официального разрешения на продолжение «Современника», дозволенного лишь на год, на свой страх и риск начал готовить пятый его том — уже для будущего, 1837 года. Одоевский деятельно помогает ему, добывая материал. Он рекомендует Пушкину то отрывки из «Сказаний русского народа» молодого ученого-энтузиаста И. Сахарова, которому протезирует, то статью талантливого инженера М. Волкова о железных дорогах в России... Радостно встречают оба долгожданное и знаменательное событие — постановку «Ивана Сусанина» — первой русской национальной оперы. 13 декабря, вскоре после премьеры, собираются на дружеском обеде у А. В. Всеволожского, общего старинного и доброго знакомого, Пушкин, Жуковский, Вяземский, М. Виельгорский, Одоевский. Здесь сообща соображают они знаменитый шуточный «Канон в честь Глинки»:

Пой в восторге, русский хор,  
Вышла новая новинка.  
Веселися, Русь! наш Глинка —  
Уж не Глинка, а фарфор!

Под самый Новый год Пушкин и Одоевский еще обмениваются деловыми, но легкими, как живой и дружеский разговор, записками. Одоевский пытается привлечь поэта к изданию «Детского журнала». В ответ — исполненная комического ужаса мольба: «Батюшка, Ваше сия-

тельство! Побойтесь бога... уж и так говорят, что я в детство впадаю. Разве уж не за деньги ли? О, это дело не детское, а дельное». Между 22 и 29 декабря Пушкин интересуется, «доволен ли» Одоевский четвертым номером «Современника». Тотчас — отклик на главное в нем: «...„Капитанскую дочь” я читал два раза сряду и буду писать о ней особо...» 29 декабря Пушкин рассчитывает увидиться с Одоевским на годовичном акте в Академии наук: «Не увидимся ли в Академии Наук, где заседает князь Д <ундук>?»

...А 28 января вечером, на следующий день после роковой дуэли, Одоевский, взволнованный, писал на Мойку находившимся там друзьям: «Карамзину, или Плетневу, или Далю. Напиши одно слово: лучше или хуже. Несколько часов назад Арендт надеялся...»

Одоевский был среди ближайших друзей поэта, на протяжении многих лет ревностно заботившихся обо всем, что было связано с творениями его, делами, с именем. Вместе с Жуковским, Вяземским, Плетневым издавал он посмертный «Современник», собрание сочинений Пушкина, писал статьи, в которых одним из первых назвал его поэтом народным и гордостью России... Ему же принадлежало едва ли не самое проникновенное и скорбное слово о Пушкине — знаменитый некролог, вызвавший резкое неудовольствие правительства. В нем Одоевский писал:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!... Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужли в самом деле нет уже у нас Пушкина?.. К этой мысли нельзя привыкнуть!»

## „Геннальнейший дилетант“



а смертном одре, прощаясь с ближайшими друзьями — Жуковским, Вяземским, Александром Тургеневым, Карамзиными, Пушкин успел пожать руку и старинному своему приятелю Михаилу Виельгорскому, также почти неотлучно находившемуся в эти дни на Мойке, и сказал, что любит его...

Михаил Юрьевич Виельгорский был богат, знатен, близок ко двору. Сын польского посланника при екатерининском дворе, перешедшего затем на русскую службу и пользовавшегося расположением государей, он, что называется, «родился в рубашке»: с детства был отмечен удачей, царскими милостями. Милости были разные: и вполне ощутимые, «земные» — крупные денежные субсидии, короткое общение с царствующими особами, что давало высокое положение в свете, и порой, на наш нынешний взгляд, причудливые. Так, повелением императора Павла Михаил Виельгорский и брат его Матвей еще детьми были пожалованы в кавалеры Мальтийского ордена, к которому принадлежал и сам Павел. Знак высшего расположения.

Неизвестно, это ли или что другое повлияло на сознание юного графа, но среди разнообразных его интересов интерес к нравственно-этическим религиозным движениям оказался устойчивым: Виельгорский увлекся масонством и до официального его запрещения в России даже возглавлял одну из масонских лож. Однако решающего влияния на его судьбу это обстоятельство все же не возымело — эпикурейский нрав «вольного каменщика» взял свое. Виельгорский, по свидетельству его родственника В. Соллогуба, любил пользоваться «не только всем хорошим, но и всем грешным». Истинный баловень судьбы... Весельчак, острослов, гурман... Пушкин любил потом весело обыгрывать эту последнюю страсть графа.

В шутовом его послании к Жуковскому «Надо помянуть...» среди «помянутых» и Виельгорский:

Уж как ты хочешь, надо помянуть  
Графа нашего приятеля Велегорского  
(Что не любит вина горского).

Впрочем, тот же Соллогуб сказал о «необыкновенной личности» Виельгорского полнее: «Философ, критик, лингвист, медик, теолог, герметик, почетный член всех масонских лож, душа всех обществ, семьянин, эпикурец, царедворец, сановник, артист, музыкант, товарищ, судья,— он был живой энциклопедией самых глубоких познаний, образцом самых нежных чувств и самого игривого ума». Пожалуй, последнее — серьезная образованность в сочетании с «игривым умом» — должно было быть особенно привлекательно для Пушкина.

Современники вспоминают, например, как Михаил Виельгорский изучил древнееврейский язык только для того, чтобы глубже понять библию, вспоминают его богатейшую библиотеку по самым разным областям знаний — след интересов хозяина — и помнят также его изысканные и шумные обеды, на которых частенько бывал и Пушкин, помнят его искреннюю, безудержную веселость на дружеских вечеринках и балах, где сановный граф любил потанцевать иногда до упаду.

С Жуковским чокался он пенистым бокалом  
И с Пушкиным в карман он за словом не лез,—

вспоминал о нем в конце жизни друг его П. А. Вяземский. Словом, это был «тип барина — доброго малого».

Однако вряд ли бы мы вспоминали о нем теперь, не будь этот «добрый малый» одержим одной, над всем господствовавшей страстью, которая оставила заметный след в отечественной культуре.

...Из наслаждений жизни  
Одной любви музыка уступает;  
Но и любовь — мелодия...



Эти строки, вписанные Пушкиным в 1828 году в альбом знаменитой пианистке Марии Шимановской (потом они появились в «Каменном госте»), с равным успехом могли быть адресованы и Михаилу Виельгорскому.

...Музыкальный салон Виельгорских в 1830-е годы составил целую эпоху в культурной жизни Петербурга. Его называли «*La maison du bon dieu*» — «универсальной Академией наук», «академией музыкального вкуса», хозяина — «меценатом муз и музыкального искусства». Все лучшее, что было в музыкальной жизни России того времени, сосредоточивалось в доме на углу Большой Итальянской улицы и Михайловской площади (ныне пл. Искусств, 3). Два раза в неделю, а то и чаще, устраивались здесь музыкальные вечера, неизменно отмеченные новизной, серьезностью репертуара и безупречным вкусом. Уцелевшие программы домашних концертов сохранили имена классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена — и молодых романтиков, едва еще знакомых в России. Здесь звучала музыка не только камерная, но и симфоническая. Концерты собирали подчас по нескольку сот слушателей.

В салоне Виельгорского получали первую известность отечественные музыканты и композиторы, здесь определялся успех зарубежных гастролеров: первые их выступления, до начала публичных концертов, неизменно проходили у Виельгорского. Эта «апробация» была потом узаконена, производилась часто по просьбе театрального начальства, и Виельгорский получал даже на то специальную субсидию от правительства, — авторитет его как тончайшего знатока музыки был непререкаем. Он дружил с Россини, любимым композитором Пушкина, и, будучи в Вене, имел счастье познакомиться с Бетховеном, мало известным тогда у нас. Перед гением его Виельгорский преклонялся. Спустя несколько лет в своем подмосковном имении Луизино организовал он первый «бетховенский цикл»: силами домашнего симфони-

ческого оркестра были исполнены семь симфоний великого вѣнца.

Позже, в Петербурге, в доме Виельгорского репетировался «Иван Сусанин». Здесь получили первую поддержку братья Рубинштейны... В 1840-е годы он принял у себя Листа, Берлиоза, Шумана, назвавшего его «настоящей художественной натурой, гениальнейшим дилетантом».

И страсть эта к музыке, и сама музыкальность были у Виельгорских наследственные: в их доме господствовала стихия звуков, в детстве — семейное музицирование, домашний квартет. Михаил Виельгорский был прекрасным исполнителем — пианистом, певцом — и, сверх того, композитором. В 1820-х годах в Москве, где он жил в то время, стали знаменитыми его музыкальные утра, о которых восторженно писал в «Московском телеграфе» другой знаток музыкального искусства — В. Ф. Одоевский: «Едва ли можно встретить в России что-либо подобное сим концертам»...

Именно в это время имя Виельгорского появляется в пушкинской орбите. 6 сентября 1825 года Вяземский писал поэту в Михайловское: «Виельгорский сделал прекрасную музыку на твой: «Режь меня! Жги меня!»...» Пушкин выразил удовольствие. «Радуюсь, однако, участи моей песни: «Режь меня». Это очень близкий перевод. Посылаю тебе дикий напев подлинника. Покажи это Вьельгорскому», — отвечает он вскоре. «Цыганская песня» — песня Земфиры — с приложенными к ней нотами «дикого напева» позже появилась в «Московском телеграфе». Свою же «Песню» Виельгорскому довелось вскоре петь при Карамзине. Вольный ее разгул, видно, смутил сдержанного историка. Когда дело дошло до слов: «Режь меня, жги меня», — он, не выдержав, воскликнул: «Как можно класть на музыку такие ужасы, и охота вам их петь?» Однако Виельгорскому, видно, была «охота». Романтические стихи опального поэта

явно притягивали к себе: не случайно Виельгорский обратился потом, вслед за Верстовским, и к «Черной ша-ли», и не только к ней.

Насколько нам известно, лично Пушкин и Виельгорский встретились в Москве той памятной осенью 1826 года, когда Пушкин был вызван из михайловской ссылки только что коронованным царем: Виельгорский был среди слушателей «Бориса Годунова», читанного поэтом у Соболевского. Однако окончательное их сближение произошло позже, в Петербурге, куда Виельгорский вернулся после десятилетнего перерыва и где вновь занял высокое положение при дворе. Здесь сановного мецената и известного уже поэта тотчас сблизил общий литературный и светский круг, общие друзья. Они сходятся накоротке у Жуковского, Одоевского, Вяземского, Карамзиных. Их прочно связывают и общие «корни». Еще в те времена, когда юный Александр Пушкин только осваивался с лицейской жизнью, Виельгорский в Москве постоянно посещал литературный кружок Вяземского, где встречался с будущими «арзамасцами» — Жуковским, Батюшковым, Василием Львовичем Пушкиным. Александр Пушкин слушал под царскосельским небом, как «ловко певал» его лицейский товарищ Яковлев свои романсы; в Москве в это время другой «аматер», Виельгорский, сочинял музыку к куплетам, которые распевались за веселыми ужинами у Вяземского.

Музыкой, однако, Пушкин одержим не был, и не она одна влекла его позже в дом Виельгорских.

27 марта 1828 года Вяземский сообщал жене: «Имели мы приятный обед у Виельгорского, с Грибоедовым, Пушкиным, Жуковским». С Грибоедовым Виельгорский дружил давно. Блестящий дипломат только что появился в Петербурге на гребне успеха и славы — гонцом победы российского оружия в войне с Персией. Он моден и в петербургских гостиных нарасхват. Но у Виельгорского собрались узким, дружеским кругом. Обед —

«приятный». Хозяин славен гостеприимством и радушием, собравшиеся — веселостью и остроумием. Однако Грибоедов, вот-вот посланник, был печален и полон странных предчувствий, рассеять которые не удастся даже Пушкину... Грибоедов слишком хорошо знает нравы страны, куда его отправляют — возможно, в почетное изгнание. Или он рвался туда, на юг, сам — навстречу своему счастью — и гибели? «Я все знаю. Вы не знаете этих людей. Шах умрет — в дело пойдут ножи...»

Разговор этот горько всплыл в памяти Пушкина спустя год, на другом конце страны, на южной дороге, по которой навстречу ему, направлявшемуся в Арзрум, поскрипывая, тащилась арба с растерзанным телом «Грибоеда». Тогда, наверное, легли на бумагу, между другими, воспоминания и об этом «приятном» обеде — может быть, одной из последних их встреч. Тогда родился под пером Пушкина образ ушедшего — человека «необыкновенного», достоинств и пороков равно притягательных, ума озлобленного, храбрости «холодной и блестящей», судьбы яркой, но трагической. «...Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов...»

Меньше чем через десять лет судьбой было назначено и самому Пушкину пасть жертвой «пылких страстей и могучих обстоятельств». И он был мучим мрачными предчувствиями; и его друзья оказались бессильными свидетелями разразившейся катастрофы... Среди них — и Михаил Виельгорский...

Но тогда, в 1828 году, еще не ведая беды и не думая о пророчествах, беспечно положил он на музыку только что сочиненную Пушкиным «Шотландскую песню»:

...В чистом поле под ракитой  
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,  
Знает сокол лишь его,

Да кобылка вороная,  
Да хозяйка молодая...

Один из современников вспоминает, что видел Пушкина почти на всех музыкальных вечерах Виельгорского. Поэт охотно помогает ему разработать сюжет оперы «Цыгане» из времен Отечественной войны и даже пишет по его просьбе «Песню цыганочки». Появляется Пушкин и на пышном благотворительном концерте в зале Энгельгардта, где присутствуют император и двор и где Матвей Виельгорский, превосходный виолончелист, исполнял вариации сочинения своего брата. «Двор в концерте — 800 мест и 2000 билетов», — записал Пушкин в своем дневнике 14 апреля 1834 года. Тогда же петербургский почтовый директор К. Я. Булгаков, приятель Пушкина и Виельгорского, рассказал в письме к брату о царившей на концерте невыносимой «жаре и давке».

Впрочем, музыка была неотъемлемой частью жизни тогдашних гостиных, где светские «аматеры», как называли тогда любителей, свободно музицировали наравне с профессионалами. Так было и в доме Одоевского, и на вечерах Жуковского, где, по воспоминаниям М. И. Глинки, «иногда вместо чтения пели, играли на фортепиано».

В последние годы Виельгорский стал одним из близких поэту людей. О тесном их общении свидетельствуют письма, дневники, воспоминания.

9 июня 1832 года. Лаконичная дневниковая запись Александра Тургенева: «Обедал у графа Велгурского с Вяземским, Бобринским, князем Адуевским, Пушкиным...» Или веселое приглашение на именины, посланное Пушкину Жуковским 29 января 1834 года и извешавшее, между прочим, что среди приглашенных — «два изрядных человека графы Виельгорские»... 16 апреля 1835 года — письмо К. Я. Булгакова к брату в Москву: «Ну обед был вчера славный у Велеурского. Меньшому стукнуло 40 лет. Были все народ веселый:

Вяземский, Мансуров, Кочубей Александр, Жуковский, Перовский, Пушкин, Шувалов, да всех не пересчитаешь, человек с 15. Ели, пили, смеялись, курили, и я попал домой только в 9 часов...» 30 июня 1836 года, в 10 часов утра, П. А. Вяземский — жене: «Сейчас разбудил меня Вьельгорский... Он сегодня крестит у Пушкина» (это о крестинах новорожденной дочери Натальи). Наконец, письма самого Пушкина. В мае 1834 года он пишет Наталье Николаевне в Полотняный завод: «Вчера видел я Сперанского, Карамзиных, Жуковского, Вьельгорского, Вяземского — все тебе кланяются». Через неделю — ей же, между петербургскими новостями: «Вьельгорский едет в Италию к больной жене». Еще через три дня: «Еду на пироскафе провожать Вьельгорского...»

За частыми дружескими сходками, почти ежедневным общением угадываются взаимное тяготение, симпатия и общность интересов. Виельгорский — человек острого ума, прекрасно образован и превосходный собеседник и рассказчик. Правда, злободневных политических разговоров он не любил и всячески от них уклонялся. История же, в том числе русская, интересовала его немало. Пушкин в эти годы и сам погружен в историческое прошлое, и беседы с Виельгорским не могут не занимать его. Следы их хранят пушкинские записи. Со слов Виельгорского появился в его «Table talk» анекдот о Екатерине II — вспыльчивой и лукавой императрице, появился, возможно, после обеда у общих их друзей Смирновых 20 мая 1834 года. Рядом с историческим анекдотом в пересказе Виельгорского записан позже и злободневный — о недавней неловкости французских принцев при прусском дворе, остро подмеченной старым принцем Витгенштейном, министром прусского короля.

Иногда рассказы Виельгорского окутаны флером мистики и загадочности, — похоже, легкую страсть к «та-

инству» он сохранил со времен масонских увлечений на всю жизнь. Пушкин и сам по части «знамений» и предчувствий становился неожиданно и суеверно серьезен, и подобные рассказы производили на него впечатление... Осталось предание, что именно Виельгорский поведал Пушкину историю об ожившей статуе Петра. Произошло это будто во время Отечественной войны. Под угрозой вторжения Наполеона задумано было «медного всадника» увезти и сохранить в безопасном месте. Вот и стал якобы преследовать некоего майора Батурина вещий сон, в котором являвшаяся ему статуя предупреждала, что Петербургу ничего не будет угрожать до тех пор, пока она будет стоять на месте. Напуганный майор рассказал свой сон суеверному князю А. Н. Голицыну, тот — царю, и статую оставили в покое... Эпизод этот — еще один отголосок разговоров Пушкина и Виельгорского об «участи России», разговоров, возникших, очевидно, в пору глубокого и взволнованного интереса поэта к истории Петра, когда, во вторую болдинскую осень 1833 года, и появился «Медный всадник».

А незадолго до этого — другая совместная «дань» русской истории, вернее — русскому историку, свято почитаемому обоими. 19 июня 1833 года Вяземский сообщил Александру Тургеневу: «На днях Вьельгорские братья, Пушкин и я давали обед Дмитриеву, и после заздравного и прощального тоста ему... Блюдов предложил тост за благополучное окончание предприятия, задуманного симбирскими дворянами...» Речь в письме шла о сооружении памятника Карамзину в Симбирске, и организаторы обеда единодушно поддержали этот проект. В те же дни «Северная пчела» поместила заметку Плетнева и об обеде, и о памятнике, и в ней, между прочим, говорилось, что среди тех, кто изъявил в столице «нетерпеливое желание участвовать в предполагаемом для сего сборе», первыми были участники чествования Дми-

триева: «Общество состояло из 20 особ, денег собрано при сем случае 4525 рублей».

...Последняя пушкинская осень, последние месяцы жизни поэта — также на глазах у Виельгорского.

17 сентября в Царском Селе — встреча у Карамзинных на праздновании именин Софи. Вечер был домашний, но собрались Пушкин с тремя Гончаровыми, соседи — Трубецкие, графиня Строганова, Михаил Виельгорский. Здесь же и Дантес. Все веселы, Виельгорский «любезен до крайности» и танцует «как сумасшедший», не замечая, что веселы-то все, кроме Пушкина, который «все время грустен, задумчив и чем-то озабочен».

4 ноября Виельгорский, как и другие ближайшие друзья Пушкина, получает по почте анонимный пасквиль на поэта.

В заметках Жуковского — свидетельства близкого участия Виельгорского в предотвращении едва не состоявшейся уже тогда дуэли с Дантесом. Запись от 6 ноября: «Гончаров у меня. Моя поездка в Петербург к Пушкину. Явление Геккерн. Мое возвращение к Пушкину. Остаток дня у Виельгорского и Вяземского...»

7 ноября: «Свидание с Геккерном. Извещение его Виельгорским».

27 ноября Пушкин и Виельгорский — на долгожданной премьере оперы «Жизнь за царя». Пушкин сидит в одиннадцатом ряду кресел, у прохода, с удовольствием выслушивает похвалы Глинке, а затем принимает участие в знаменитом обеде у А. В. Всеволожского, где чествовали композитора и где общими усилиями был сочинен известный канон, начинавшийся куплетом Виельгорского: «Пой в восторге, русский хор...» и кончавшийся — пушкинским:

Слушая сию новинку,  
Зависть, злобой омрачась,  
Пусть скрежещет, но уж Глинку  
Затоптать не может в грязь.



Встречи их по-прежнему часты, может быть, ежедневны. Известно, что они постоянно видятся у Карамзинных.

Трудно сейчас с абсолютной достоверностью судить о степени осведомленности и участия Виельгорского в трагическом разворачивании событий, но думается, входя в ближайшее пушкинское окружение, знал он все. Ощущал ли Виельгорский весь драматизм, всю трагическую предначертанность ситуации или, подобно другим, доверился пушкинскому самообладанию и дал убедить себя надежде?

За несколько дней до дуэли — еще одно непреднамеренное, но настораживающее свидетельство Софи Карамзиной: 24 января — вечер у Мещерских, на котором — Пушкины, Геккерны, Александр Тургенев, Виельгорский. Как тогда, в Царском Селе, Пушкин мрачен, «скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра», глядя, как Натали «опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя» (Дантес уже женат на Екатерине Гончаровой). Виельгорский же, похоже, безмятежен — «будучи немного навеселе, говорил, пел и, наконец, стал исполнять китайский танец».

Незадолго перед этим, по другому поводу, едкий и пронизательный Александр Тургенев записал в своем дневнике о Михаиле Виельгорском: «...вредно равнодушен». Так или иначе, он оказался одним из немногих друзей поэта, не оставивших о его гибели никаких свидетельств...

Еще в 1834 году в дневнике Пушкина появилась запись: «Соболевский говорит о графе Виельгорском: „Il est du juste milieu, car il est toujours entre deux vins“» («Он держится середины, потому что всегда навеселе»).

Однако остается коварная разноголосица фактов, нередко вызывающая недоумение потомков:

почему-то все же вечером 27 января убитый вестью о дуэли Жуковский, несясь сломя голову на Мойку, не мог не остановиться у Михайловского дворца, где в это время находился у великой княгини Елены Павловны Виельгорский, и не оповестить его о случившемся;

почему-то все же Михаил Виельгорский был почти неотлучно возле умирающего поэта и в полночь среди самых близких присутствовал при выносе тела в Конюшенную церковь, а потом по просьбе Натальи Николаевны был назначен одним из опекунов;

почему-то все же измученный Пушкин дружески пожал перед смертью Виельгорскому руку и сказал, что любит его...

### Три встречи с Владимиром Далем



ути их шли рядом, или почти рядом, но, по прихоти случая, не пересекаясь: в годы ученичества — Петербург и Царское Село, затем юг — Крым, Одесса, позже — Кавказ, Турецкая война... Они были почти ровесниками. Даль двумя годами моложе...

Судьба свела их лишь в 1832 году. За плечами у одного была уже громкая поэтическая слава и почти вся жизнь — впереди оставалось только пять недолгих лет... У второго — многотрудный и многомерный жизненный опыт: Морской кадетский корпус, нелегкая служба на Черном и Балтийском морях, затем — отставка и снова годы студенчества — на этот раз на медицинском факультете знаменитого Дерптского университета. Три года вольного житья...

Мы вольно, весело живем,  
Указов царских не читаем... —

писал о дерптской жизни другой тамошний студент — друг Даля и приятель Пушкина поэт Николай Языков...

И вновь военный мундир, на этот раз — «сухопутный». Два похода, в которых Даль участвовал уже военным лекарем. Даля ждала новая стезя, ждали долгие годы подвижнического труда. И трудами этими заслуженный авторитет первейшего знатока великорусского языка, слава автора «Толкового словаря»...

Началось это давно, лет за десять до первой встречи с Пушкиным. Еще молодым мичманом, мчась зимним путем по Новгородской губернии в Москву, впервые поразился Даль оброненному ямщиком слову — «замолаживать» (по-местному — «пасмурнеть») — и записал его. Потом количество тетрадей, наполненных живым народным говором, народной меткостью и мудростью, начало стремительно расти... В турецкую кампанию был знаменитый верблюд, ходивший в обозе за доктором Далем и навьюченный «словами»... Однако пока все это оставалось под спудом.

Весной 1832 года Даль приехал в Петербург хотя и бывалым уже человеком, но начинающим литератором. Из опубликованного несколько лет назад была лишь повесть «Цыганка», замечательная подробностями жизни молдаванских цыган, но оставшаяся незамеченной. Даль привез ее из Бессарабии, так же как некогда замысел своих «Цыган» — Пушкин. И вот только что вышедшая первая книжка «Русские сказки. Пяток первый». Однако не просто сказки, а щедро «разукрашенные» «ходячими» поговорками и «к быту житейскому приноровленные» народные сказания в изложении Казака Владимира Луганского. Давний и страстный интерес Даля к народному слову впервые был явлен печатно, и стало ясно, что это огныне — дело жизни. С этим уже можно идти к Пушкину.

...Пушкин вошел в сознание Даля давно — и не только как почитаемый поэт. Еще в Дерпте Даль тесно сблизился с друзьями Пушкина — Жуковским, Языковым. Имя поэта, находившегося тогда рядом, в михай-

ловской ссылке, произносилось здесь постоянно, особенно в доме профессора хирургии Ивана Филипповича Мойера — учителя Даля и родственника Жуковского. Дом этот, открытый и гостеприимный, был средоточием культурной жизни Дерпта, и Даля здесь принимали как своего. К хозяину его, «человеку знаменитому и другу Жуковского», пытался вырваться из Михайловского Пушкин для операции «аневризма» — увы, безуспешно. Сюда же, в Дерпт, писал он и Языкову:

Давно б на Дерптскую дорогу  
Я вышел утренней порой  
И к благосклонному порогу  
Понес тяжелый посох мой.

...Позже, в турецком походе, Даль сдружился с Александром Фомичом Вельтманом, будущим известным писателем и кишиневским знакомым Пушкина, от которого слышал, наверное, немало о поэте. От него, быть может, узнал он «в подробности» и кишиневскую дуэльную историю Пушкина с полковником Старовым (у Даля ошибочно — Старковым), о которой рассказал в своих воспоминаниях, ссылаясь на «людей, бывших в то время на месте».

В Петербурге познакомить Даля с Пушкиным обещался Жуковский, однако все было недосуг. Тогда Даль просто взял свою книжку и пошел представиться знаменитому поэту. Пушкин, должно быть, тоже слышал уже и о Дале-враче, и о Дале — искусном рассказчике от того же Жуковского, Языкова, от Плетнева или Одоевского, — общих знакомых набралось к тому времени немало, да и история со сказками слишком нашумела. Заключалась же она в том, что Даль, не успев еще толком снискать звание литератора, успел, однако, побывать уже в этом звании под арестом и тем завоевать широкую известность. «Сказки» его, в которых вольно расположились и молодец Иван, побивающий царя

Дадона, и «судья правдивый» Шемяка, и черт-послушник со своими похождениями, против всяких ожиданий, были признаны крамольными. Друзья удивлялись, что их пропустила цензура. Цензор Никитенко записал в своем дневнике: «Нашли в сказках Луганского какой-то страшный умысел против верховной власти». Суть «страшного умысла» объяснял в докладе шефу жандармов Бенкендорфу, находившемуся в тот момент в Ревеле, директор канцелярии III отделения статс-секретарь Мордвинов. По его мнению, «умысел» этот заключался в том, что «книжка напечатана самым простым слогом, вполне приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги» и что «в ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и проч.». По приказу царя сочинителя велено было арестовать, а бумаги его — «взять для рассмотрения». Утверждение Мордвинова, что книжка Казака Луганского «наделала шуму», соответствовало действительности. Он лично распоряжался арестом и изъятием «Сказок» из продажи — не успев выйти, в один день сделались они библиографической редкостью... Однако история закончилась столь же стремительно, как и разыгралась. Очевидно, по чьему-то заботливому напоминанию — может быть, министра народного просвещения князя Ливена, благосклонного к Далю еще со времен Дерпта, — были воскрешены в памяти императора недавние военные заслуги арестанта. «Даля спасли, без сомнения, его нелитературные подвиги в Турции... известные государю; а цензору — бедняку миролюбивому — нагоняй!» — писал историк Комовский Языкову. Николай простил литератора за «нелитературные подвиги» его. В тот же день Даля освободили из-под ареста. Мордвинов, встретивший его утром «площадными словами», вечером рассыпался в извинениях. Однако, несмотря на столь благополучный исход, толки о том, что «Сказкам» «снова позволено будет явиться на белый

свет в торжестве и славе», казались невероятными... Так или иначе, известность Даля-врача в несколько дней была перекрыта шумной известностью писателя Казака Луганского.

...После этих-то событий и предстал Даль перед Пушкиным, держа наготове главное, из-за чего пришел,— «Русские сказки». Пушкин встретил гостя, слегка прихрамывая и опираясь на палку: в ту осень его замучил «рюматизм» — болела нога. Даль волновался. Искал он отнюдь не покровительства, нет, скорее — одобрение, нравственную поддержку новым своим занятиям. Да и Пушкин, должно быть, не проявил бы большого интереса к слишком уж затейливо «разукрашенным» сказкам, переложенным «на манер» народный, в которых, по жесткому, но справедливому определению Белинского, «творчества нет и не бывало», не будь в языке их свежести и неподдельности, не будь в них тонко схваченных жемчужин народного слова. Даль и сам потом признавался, что главной целью его в «Сказках» было именно оно — «русское слово». Все это Пушкин уловил тотчас, иначе не были бы так верны, так истинны короткие, но многочисленные его замечания, выражавшие как раз то, что, казалось, само собой разумеется, что у каждого на уме и вот-вот готово сорваться с языка. «Сказка сказкой,— говорил Пушкин,— а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать,— надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

Пушкина все это заинтересовало необыкновенно. Ведь он сам сказочник, да еще недавно записывал в Болдине песни для Ивана Киреевского и у Святогорского монастыря появлялся на ярмарках в красной рубахе, жадно впитывал бойкую народную речь. Той же осенью

внимательно изучал он «Слово о полку Игореве»... По свидетельству историка Бартенева, «за словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина». Поэт «дейтельно поддерживал его, перечитывая вместе с ним его сборник и пополняя своими сообщениями». На склоне лет, вспоминая о собирательской своей страсти, Даль еще раз подтвердил, что Пушкин в нем «горячо поддерживал это направление».

...А спустя год довелось им увидеться на другом конце России, в Оренбурге, куда приехал Пушкин, «нежданный и нечаянный», в поисках живых следов, оставленных в тех местах «бунтовщиком» Пугачевым. Пушкин испросил себе четырехмесячный отпуск, надеясь завернуть после путешествия в Болдино, — авось повторится та удивительная осень? Дорожа каждым днем, он торопился, ехал стремительно, везя с собой съестные припасы и мадеру. 2 сентября — Нижний, 5-го — Казань, оттуда — Симбирск с заездом в имение Языковых, а 18-го — уже Оренбург. После пустынной дороги («прескучной» — писал он жене), когда бескрайняя степь сливалась вокруг с небом, взгляду открылись вдруг лесистые холмы, неширокая, но быстрая река, на ней — паром, вдали — шпицы минаретов и крыши домов Татарской слободы... Вспомнился Вяземский: «Дорога ваша — сад для глаз...»

Еще за светло через северные Сакмарские ворота въехал Пушкин по ивовой аллее в город... Даль был в Оренбурге уже несколько месяцев — он служил здесь чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Василии Алексеевиче Перовском, друге Жуковского и добром знакомом Пушкина. Связывал Даля с Василием Алексеевичем и брат его — писатель, известный под именем Антония Погорельского. У Перовского в загородном доме и остановился Пушкин. Два дня провели Пушкин и Даль неразлучно. «Чиновник особых поруче-

ний» успел уже достаточно изучить историю и этнографию края — и оказался осведомленным проводником Пушкина по городу и его окрестностям, «толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым». Показал Даль Пушкину и остатки земляного вала, сооруженного, по преданию, восставшими, и зауральскую рощу, откуда Пугачев пытался ворваться по льду в крепость. От души хохотал Пушкин анекдоту, в котором рассказывалось, как Пугачев, ворвавшись в Берды и войдя в церковь, где собрался народ, в невежестве своем принял церковный престол за царский и уселся на нем со словами: «Как я давно не сидел на троне!..» Отголоски их бесед появились потом в «Истории Пугачева»: возникла там и Георгиевская колокольня в казачьем предместье, на которую «Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город», и «золотые» палаты самозванного царя в Бердах, бывшей его столице, — изба, обитая латуною. Бердинские старухи ее еще помнили. Пушкин отправился туда также в сопровождении Даля.

«В деревне Берде, где Пугачев простоял шесть месяцев, имел я une bonne fortune — нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал...» — писал Пушкин уже из Болдина жене. Оренбургские впечатления были еще живы и просились на бумагу. «А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю» — это в письме Наталье Николаевне, чуть раньше...

В Бердах Пушкин и в самом деле «не отставал» от старухи Бунтовой, помнившей и лихое время, и самого Пугачева. В сюртуке, плотно застегнутом на все пуговицы, — шинель с бархатным воротником и слегка примятая поярковая шляпа брошены рядом — сидел он в избе у стола и, выпрашивая с жаром, быстро записывал. Цела ему Бунтова и пугачевские песни и место указала, где «золотые» палаты стояли... Все это пригоди-



лось Пушкину, когда писал он о мятежной слободе. Пушкин провел здесь все утро и на прощанье одарил казачку червонцем. Червонец этот наделал немалый переполох. Миром решено было, что приезжал «подбивать под „пугачевщину“» не кто иной, как сам антихрист («собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый... вместо ногтей на пальцах когти» — и дарил золотом). С этим и снарядили на следующий день подводу в Оренбург, посадили старуху — и отправились доносить по начальству...

Вечер того дня провел Пушкин у Даля. Жена его весело вспоминала потом, как две барышни, желавшие во что бы то ни стало увидеть знаменитого поэта и зная, что вечером он будет у них, забрались на дерево против кабинета Даля, не имея других средств... И дома, и по дороге в Берды разговоров было много. Пушкин, преисполненный замыслов сам, убеждал и своего спутника приняться за роман. По странной ли ассоциации или так, сама по себе, бродила его воспламененная мысль вокруг «крутого и кровавого переворота, произведенного мощным самодержавием Петра», вокруг него самого — исполина, которого, как полагал поэт, он не в состоянии был еще обнять умом, но «постигал чувством», — и уверен был, что сделает «из этого золота что-нибудь». Уверенность была прочная: вскоре в Болдине явился из-под его пера «Медный всадник».

Осталась еще одна память о поездке Пушкина и Даля в Берды. Дорогой, весело пересыпая свою речь недавно слышанными татарскими словами, рассказал поэт спутнику своему сказку о Георгии Храбром и волке. Вскоре она, записанная Далем, появилась в печати. После же смерти поэта прибавил к ней Даль примечание: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга».

Бытует еще заманчивая легенда о том, что тогда же и Даль подарил Пушкину сюжет сказки — о рыбаке и рыбке. Сказку действительно Пушкин вскоре написал в Болдине и прислал Далю в рукописи с многозначительной надписью:

«Твоя от твоих!  
Сказочнику казаку Луганскому,  
Сказочник Александр Пушкин».

Но это — легенда...

Пушкин покинул Оренбург утром 20 сентября дорогой, которой двигались — лишь в обратном направлении — восставшие от Яицкого городка к Оренбургу. «Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором», — появится вскоре в «Истории Пугачева», а через три года, — то же — о Белогорской крепости в «Капитанской дочке», выросшей из анекдота, услышанного в этих краях. Многие еще на пушкинских страницах будут потом узнавать Даль из того, что было увидено вместе и рассказано поэту в те два оренбургских дня...

Даль проводил Пушкина до Уральска — и до последней их встречи в Петербурге, в роковом январе 1837 года...

Даль появился в Петербурге немного раньше, в декабре, по служебным делам. Трагическая развязка истории с Дантесом близилась неумолимо, но Пушкин, по единодушным утверждениям, сохранял удивительное спокойствие и внешнюю веселость. Наверное, радостно встретился он и с Далем — им было и что вспомнить, и о чем поговорить. Еще совсем недавно, 19 октября, в день двадцать пятой лицейской годовщины, закончил Пушкин «Капитанскую дочку». Мысли его вновь бродили там, в оренбургских степях, — и не вспоминать при

этом Даля он, конечно, не мог. А незадолго до того Даль и сам напомнил о себе, напомнил разгневанной статьей, присланной Пушкину в «Современник» — в защиту «Современника», появление которого до того приветствовал стихотворным посланием, против угрожающего русской словесности «бедствия», против «духа искажения, неправды, фиглярства, казарменного скомошества» — против Булгарина и «самовластия Хивинского хана» — Сенковского. И еще — рядом с Пушкиным и его друзьями — против коммерции в литературе: «Я возьму деньги за статью, которую написал; но я никогда не напишу статью за деньги».

Однако, как повелось, разговоры их, наверное, начались с увлечения Даля — собственно, уже не увлечения даже, а дела жизни. И мог ли Пушкин оставаться равнодушным к тем «словесным сокровищам», которыми щедро сыпал Даль? За несколько дней до дуэли поэт явился к нему в новом, только что сшитом сюртуке. Поворачиваясь перед зеркалом, сказал Далю лукаво: «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». Выползина — кожа, которую меняют змеи. Понравившееся это словцо, конечно, услышано было от него же, Даля, ему и возвращалось. Сюртук Пушкин действительно не снял — в нем он стрелялся; со смертельно раненного поэта его спорили.

Даль узнал о дуэли 28 января во втором часу полудни, тотчас кинулся на Мойку и уже оставался там до конца, ни на минуту не отлучаясь от умирающего.

Еще раз пригодились Далю медицинские его познания, богатый опыт полевого хирурга. Вместе с Арендтом и Спасским — врачами Пушкина, старался он облегчить, сколько мог, страдания поэта. Вечером 28-го ему вдруг показалось на мгновение, что не все потеряно. Даль робко «возгласил надежду» и обманул было себя и других... Дежурил он у постели Пушкина и в последнюю ночь. В эти тягостные, тягучие часы страда-

ний, которые переносил Пушкин с поразительным мужеством, сказал он впервые Далею «ты». Даль ответил ему тем же и, как написал потом, «побратался с ним уже не для здешнего мира». 29-го, к полудню, Даль видел уже опытным глазом, что жизнь его оставляет. В последние минуты, в предсмертном забытии, Пушкин рвался куда-то вверх — и звал с собой Даля... В два часа сорок пять минут пополудни Даль закрыл ему глаза... Друзья Пушкина, находившиеся все это время на Мойке, назвали тогда и его — другом и «ангелом-хранителем». Далею принадлежат бесценные записки о последних днях, часах, минутах поэта...

А «выползина»... Последний сюртук Пушкина подарила Наталья Николаевна Далею вместе с изумрудным пушкинским перстнем, который поэт считал талисманом. Заветный этот дар Даль свято хранил всю жизнь. «Как гляну на него,— писал он вскоре после кончины поэта В. Ф. Одоевскому,— так и пробежит во мне искорка с ног до головы, и хочется приняться за что-нибудь порядное...»

### Кавалерист-девица



алею, что изо ста тысячей способов достать 100 000 рублей ни один еще Вами с успехом, кажется, не употреблен...— Пушкин, верно, посмеивался вслед стремительно летящим на бумагу веселым строчкам письма к Василию Андреевичу Дурову — гуляке, жуиру, безудержному прожектору.

Был 16-й день июня 1836 года. Неожиданное письмо Дурова напомнило давнее забавное знакомство, мимолетную кавказскую жизнь на возвратном пути из Арзрума. Проигравшегося тогда в пух В. А. Дурова — сарапульского городничего, лечившегося на Кавказе от ка-

кой-то неведомой болезни,— Пушкин вез до Москвы в своей коляске. Дорогой попутчик его немало забавлял. Он был одержим фантастической страстью: во что бы то ни стало стать обладателем 100 000 рублей. Проекты строились самые невероятные: обокрасть полковую казну или выманить деньги у Ротшильда, написав ему веселое письмо с анекдотом, который стоил бы 100 000; Пушкин, развлекаясь, советовал попросить у государя,— оказалось, что и этот нелепый способ — так, безо всякого права — был уже Дуровым испробован. Царь не ответил. Последняя несообразность, о которой, горячась и под честное слово не воспользоваться тайной, поведал сарапульский городничий Пушкину, заключалась в том, чтобы удачно сыграть на национальном честолюбии англичан. «Господа англичане! — собирался обратиться к ним Дуров.— Я бился об заклад об 100 000 рублей, что вы не откажетесь мне дать займы 100 000. Господа англичане! Избавьте меня от проигрыша, на который навязался я в надежде на ваше всему свету известное великодушие». Дуров всерьез просил Пушкина посодействовать ему через английского посланника в Петербурге... И вот, спустя семь лет, в которые не виделись, унылое признание: «История моя коротка: я женился, а денег все нет». Однако это так, мимоходом. Письмо же о другом. О другом, изрядно забытом в быстротечности лет, но когда-то несравненно более загадочном и громком имени — Надежда Андреевна Дурова...

Русская амазонка, легендарная героиня наполеоновских войн, кавалер славной солдатской награды — Георгиевского креста, женщина-воительница, отчаянно бывшая при Гудштадте и Гейльсберге, при Фридланде, под Смоленском, при Бородине. Женщина, навсегда отрешаясь от своего пола и после бурной военной молодости скрывшаяся в глуши русской провинции под именем отставного штабс-ротмистра Александра Андреевича Александрова. Имя это, некогда данное молодому

воину императором Александром вместе с чином корнета Мариупольского гусарского полка, одно напоминало теперь о странной, удивительной судьбе.

Надежда Андреевна Дурова (она же Александр Андреевич Александров) доводилась Василию Андреевичу родной сестрой. О ней-то и шла речь в письме. Двадцать лет забвения отделяли от нынешней жизни боевую молодость юного тогда гусара. О прошлом, взявшись за перо, и решила теперь рассказать Дурова. Предложение издать записки сестры и содержалось в письме Дурова к Пушкину. После первых неудачных попыток Дурова желала вступить на новое для нее литературное поприще под «сиянием» имени знаменитого поэта.

Пушкин поспешил с ответом. «Судьба автора так любопытна, так известна и так таинственна,— писал он Василию Андреевичу,— что разрешение загадки должно произвести сильное, общее впечатление». В успехе он не сомневался.

Втайне гордая и счастливая радостным известием, Дурова вслед за братом решила теперь сама адресоваться к своему будущему издателю, однако даже и здесь не изменив давно усвоенной, вошедшей уже в привычку по-мужски резкой манере (и конечно же, как уже тридцать лет, о себе в мужском роде): «Не извиняюсь за простоту адреса, милостивый государь Александр Сергеевич! — писала она.— Титулы кажутся мне смешны в сравнении с славным именем вашим. Чтоб не занять напрасно ни времени, ни внимания вашего, спешу сказать, что заставило меня писать к вам: у меня есть несколько листов моих записок; я желал бы продать их и предпочтительно вам. Купите, Александр Сергеевич! Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц, тем более что происшествие, давшее повод писать их, было некогда предметом любопытства и удивления...

Итак, упреждаю вас только, что записки были писаны не для печати и что я, вверяясь уму вашему, отдаю вам их, как они есть, без перемен и без поправок».

...Почти год, путанными путями, через третьи руки шла к Пушкину обещанная рукопись. Лишь к концу зимы, так и не дождавшись первой, получил он вторую часть «Записок» — о 1812 годе — и тотчас известил Дурову, что намерен поместить их во второй книжке журнала, который теперь издает. Пушкин был явно доволен. «Прелесть! — отозвался он о «Записках», — живо, оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен».

Тем сильнее стало желание увидеть воочию таинственного автора, самолично собиравшегося в столицу, — хотя бог весть, как вести себя с отставным штабс-ротмистром, не допускающим никаких напоминаний о своем женском естестве. «Братец Ваш пишет, что летом будет в Петербурге, — сообщал Пушкин Василию Андреевичу, явно забавляясь ситуацией. — Ожидаю его с нетерпением... будьте счастливы, и дай бог Вам разбогатеть с легкой ручки храброго Александра, которую ручку прошу за меня поцеловать».

И вот, наконец, жарким июньским днем 1836 года тряский карандас с запыленным, обветренным дальней дорогой путником остановился у одного из захудалых петербургских трактиров, — искать более подходящего жилища не было сил. Уже немолодое, тронутое оспой, но живое лицо, стриженные и завитые по мужской моде волосы, строгий черный сюртук с Георгием в петлице, резкий голос, угловатые манеры — такой предстала Дурова перед петербургским светом, охваченным плохо скрываемым, порой бестактным любопытством. Такой увидел ее спустя несколько дней после приезда и Пушкин, когда в первом часу пополудни, легко взбежав на четвертый этаж Демугова трактира, очутился в номере долгожданной гостьи: она перебралась сюда, в лучшую из петербургских гостиниц, считая неудобным принимать

Пушкина в сомнительных мебелирашках, хотя денег хватило только на комнату в четвертом этаже!

...Пушкин чувствовал себя явно не в своей тарелке. С чувством неподдельным он расхвалил «Записки», печатавшиеся в «Современнике». Они ему действительно нравились, и в мае, будучи в Москве, он ревностно следил за их печатанием. «Что записки Дуровой? — спрашивал он в письме у жены, — пропущены ли цензурою? Они мне необходимы — без них я пропал». Однако сейчас он говорил о них в выражениях, приличных для беседы с дамой. Ответы же собеседницы — «был... пришел... увидел...» — приводили его в явное замешательство. Разговор становился все более неловким и затруднительным, и Пушкин поспешил прекратить визит. Прощаясь, он все же поднес к губам руку Дуровой — реакция последовала незамедлительно: вспыхнув, Дурова поспешно отдернула ее и, вконец смутившись, нелепо добавила: «Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого!» Пушкин и бровью не повел, но потом еще не раз, наверное, весело вспоминал в тесном дружеском кругу это диковинное свидание.

Однако о деле они все же успели поговорить, и Дурова отдала Пушкину первую часть своих «Записок», так и не нашедших его зимой. Здесь она рассказывала о детских годах и о первом своем, Прусском, походе. Пушкин собирался присоединить их к тем, что печатались в «Современнике», и издать все отдельной книжкой, с готовностью беря на себя хлопоты по изданию. Уходя, поэт оставил Дуровой предисловие, которое предпослал публикации в своем журнале. Мемуары были озаглавлены им просто: «Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным», в предисловии раскрыл он и полное имя автора. На следующий день последовало смятенное письмо. «...Вы называете меня именем, — писала в нем Дурова, — от которого я вздрагиваю, как только вздумаю, что 20-ть тысяч уст его прочитают и



назовут»; она просила найти средство «помочь этому горю» и изъять листы с «Записками» из отпечатанного уже тиража. Пушкин постарался успокоить, как мог, не в меру разволновавшегося и исполненного решимости Александра и советовал вступать «на поприще литературное столь же отважно», как и на то, которое его, Александра, прославило.

Между тем в предисловии своем писал он следующее:

«В 1806 году молодой мальчик по имени Александр вступил рядовым в Конно-Польский уланский полк, отличился, получил за храбрость солдатский Георгиевский крест и в том же году произведен был в офицеры в Мариупольский гусарский полк. Впоследствии перешел он в Литовский уланский и продолжал свою службу столь же ревностно, как и начал.

По-видимому, все это в порядке вещей и довольно обыкновенно; однако ж, это самое наделало много шума, породило много толков и произвело сильное впечатление от одного нечаянно открывшегося обстоятельства: корнет Александров была девица Надежда Дурова.

Какие причины заставили молодую девушку хорошей дворянской фамилии оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?.. Вот вопросы, ныне забытые, но которые в то время сильно занимали общество.

Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем издателями ее любопытных записок. С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенное; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимав-

шие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным...»

Тем временем, пока переписывалась привезенная Дуровой рукопись, пока сама она воскрешала в памяти забытое, пятнадцатилетней давности, петербургское житье, гуляя по дорогой сердцу Коломне, Козьему болоту, проходя к Аларчину мосту, оттуда — к Калинкину, к Триумфальным воротам, пока свыкалась вновь с жизнью петербургских гостиных, куда звали ее наперсбой, Пушкин продолжал выказывать госте все знаки внимания — не всегда, впрочем, ловкие. Он жил теперь на даче, на Каменном острове, и городская квартира его — в доме Баташева, на Дворцовой набережной, близ Прачечного моста, была свободна. Поэт предложил ее в распоряжение Дуровой. Как ни заманчиво было стать гостьей самого Пушкина, но заманчивости этой — увы! — не суждено было сбыться: оказалось, что контракт на квартиру кончился, не был возобновлен, и она сдана уже другим. То ли по рассеянности, то ли по всегдашней беспечности в делах, но Пушкин об этом позабыл! Однако расположение его к Дуровой было искренним, а общение хоть и непростым, но интересным, так что, приглашая ее на обед, чтобы представить близким, можно было и уважить провинциальные привычки к ранней трапезе и назначить обед к пяти — вместо укоренившегося в пушкинском доме обычая обедать часов в семь-восемь... По дороге на Каменный остров Пушкин указал Дуровой место, где десять лет назад у Петропавловской крепости несчастные достойно приняли мученическую казнь... Обедали в узком кругу: сестры Наталья Николаевна — Александра и Екатерина, сестра Пушкина Ольга Сергеевна, верный друг поэта Плетнев. Наталья Николаевна после родов еще не показывалась. Хозяин принимал гостью радушно, с какой-то болезненной деликатностью, боясь, что ее может задеть или обидеть даже детское неуклюжее слово: дочь Мария вме-

сте с другими за столом и смотрит на Дурову недоверчиво.

...Лето 1836 года было для Пушкина нелегким. Не ладилось с «Современником». Спешно и почти в одиночку приходилось готовить третий номер. Донимали хлопоты по имению. От всего этого голова шла кругом, и поэт мечтал лишь об одном — вырваться в Михайловское. Горячий же штабс-ротмистр начал проявлять все признаки нетерпения: проволочки казались неоправданными, а бездейственная жизнь — невыносимой. Ведь все, кажется, так просто. «Запискам» давно уже следовало быть переписанными. Цензурные затруднения — но это ерунда, когда цензор Пушкина — сам государь, ему и следует немедленно представить рукопись. Государь сейчас на маневрах? — но и это не препятствие, надо съездить к нему туда, там он, верно, в хорошем расположении духа. Нетерпеливый гусарский нрав взыграл не на шутку, и Дурова — как некогда в атаку — бесстрашно ринулась на своего издателя. «Своеручные записки мои прошу вас возвратить мне теперь же, если можно; у меня перепишут их в четыре дня, и переписанные отдам в полную вашу волю, в рассуждении перемен, которые прошу вас делать, не спрашивая моего согласия, потому что я только это и имел в виду, чтоб отдать их на суд и под покровительство таланту, которому не знаю равного, а без этого неодолимого желания привлечь на свои «Записки» сияние вашего имени я давно бы нашел людей, которые купили бы их и напечатали в мою пользу.

Вы очень обязательно пишете, — продолжала Дурова, — что ожидаете моих приказаний; вот моя покорнейшая просьба, первая, последняя и единственная: действуйте без отлагательства... Действуйте или дайте мне волю действовать; я не имею времени ждать. *Полумеры никуда не годятся!* Нерешительность хуже полумер; медленность хуже и того, и другого вместе!.. Думал ли

я когда-нибудь, что буду говорить такую проповедь величайшему гению нашего времени, привыкшему принимать одну только дань хвалы и удивления! Видно, время чудес опять настало, Александр Сергеевич! Но как я уже начал писать в этом тоне, так хочу и кончить: вы и друг ваш Плетнев сказали мне, что книгопродавцы задерживают вырученные деньги. Этого я более всего на свете не люблю! Это будет меня сердить и портить мою кровь, чтоб избежать такого несчастья, я решительно отказываюсь от них; нельзя ли и печатать, и продавать в императорской типографии? Там, я думаю, не задержат моих денег? Мне так наскучила бездейственная жизнь и бесполезное ожидание, что я только до 1-го июля обещаю вам терпение, но с 1-го, пришлете или не пришлете мне мои записки, действую сам».

В конце письма — полуизвинение: «Александр Сергеевич! Если в этом письме найдутся выражения, которые вам не понравятся, вспомните, что я родился, вырос и возмужал в лагере: другого извинения не имею».

Пушкин отвечал со всей возможной кротостью и терпением. «Очень вас благодарю за ваше откровенное и решительное письмо,— писал он.— Оно очень мило, потому что носит верный отпечаток вашего пылкого и нетерпеливого характера». Далее объяснял он своей корреспондентке, что «издать книгу нельзя в одну неделю; на то требуется по крайней мере месяца два», и почему невозможно ему ехать на маневры к государю, и что единственная его цель — доставить неопытному в литературных делах автору «как можно более выгоды» и не оставить ее «в жертву корыстолюбивым и неисправным книгопродавцам». Но тем не менее становилось ясно, что чужие дела Пушкину сейчас не под силу, и он уклончиво предоставил Дуровой свободу действий, обязательно предупредив при этом, что при любых условиях «все хлопоты издания» берет на себя. Да и Плетнев к тому же, кажется, доверительно советовал Дуровой

не обременять и без того загруженного сверх головы Пушкина, и объявившийся вдруг родственник Бутовский готов был к ее услугам. Все шло к скорому решению — отдать «Записки» на откуп новоявленному кузену и тем самым лишить их навсегда, по горькому и позднему признанию Дуровой, «блистательнейшего... украшения, их высшей славы — имени великого поэта!».

Однако, несмотря на фактический разрыв деловых отношений, Дурова продолжала занимать воображение Пушкина — он спрашивал о ней приятеля своего Дениса Давыдова, который знал гусара Александра в войну и видел его «во фронте, на ведетах, во всей тяжкой того времени службе». Давыдова также живо интересовали романтические легенды, окружавшие это имя, и он делился ими с Пушкиным...

Так или иначе, осенью 1836 года полные «Записки кавалерист-девицы» увидели свет, и автору их довелось пережить еще одну короткую, но яркую славу — на этот раз литературную. Новое дарование заметил и приветствовал Белинский, имя Дуровой вновь заиграло в лучах восторженного удивления толпы. Пушкин оказался прав! Сам поэт, помещая в четвертом номере своего журнала объявление о выходе «Записок» отдельным изданием, выражал твердое намерение «подробнее разобрать книгу, замечательную по всем отношениям».

Она и в самом деле была замечательна, эта книга — дневник, написанный спустя двадцать лет после описанных в нем событий; запах пороха, пыл сражений, бурные военные дни, воссозданные воображением и памятью в застывшей елабужской тишине. И — биография... Страстная, неумная, свободолюбивая натура сотворила ее наново, по законам вольной мечты, так причудливо перемешавшей все в этой удивительной судьбе, из которой на этот раз были устранены все лишние для нее темы: муж, сын, бедность, семейные невзгоды... Сотворена же эта романтическая жизнь была так талант-

ливо, что обаянию ее не могли противостоять ни Пушкин, ни Белинский. Последнему даже казалось, будто Пушкин отдал Дуровой «свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твердостью и силою, этою яркою выразительностью своего слога, этою живописною увлекательностью своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то скрытою мыслью...»

Однако действительность была, увы, неприглядной: выход «Записок» не поправил материальных обстоятельств почти бедствующего штабс-ротмистра, и в декабре Пушкин получил грустное письмо:

«Милостивый государь  
Александр Сергеевич,

Имею честь представить вам вторую часть моих «Записок»; извините, что не сам лично вручаю вам их, но я давно уже очень болен и болен жестоко. Дела мои приняли оборот самый дурной; я было понадеялся на милость царскую, потому что ему представили мою книгу; но, кажется, понадеялся напрасно: вряд ли скажут мне и спасибо, не только чтоб сделать какую существенную пользу.

Простите, будьте счастливы,  
Преданный слуга ваш  
Александр

Александров».

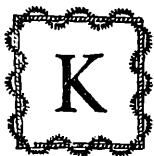
Это было последнее обращение Дуровой к Пушкину...

Еще несколько лет имя Дуровой не сходило с литературного небосклона. Появлялись новые сочинения, доходившие до обеих столиц из захолустной Елабуги, но ни одно из них не стало вровень с «Записками»... А затем она замолчала — внезапно и навсегда, ей еще раз суждено было пережить свою вторую славу почти на четверть века... Пришли иные времена, иные люди... И, когда мартовским днем 1866 года отставной штабс-ротмистр Александр Андреевич Александров навеки за-

крыл глаза, его проводил в последний путь лишь расквартированный в Елабуге резервный батальон, отдавший герою воинские почести с равнодушной торжественностью.

Несколько раз еще вспоминали потом о Дуровой люди «младых и незнакомых» поколений. Безвестная поклонница поставила на ее могиле каменную плиту; в 1890 году некий елабужский мещанин подновил ее — «по старой памяти к знаменитой некогда воительнице», — прибавив к надписи: «А поновил Фадихин Ф. П.». В 1901 году Литовский уланский полк вспомнил о доблестном своем однополчанине и соорудил на его могиле новый памятник, обнесенный железной оградой... Но во все времена над именем покоящейся в далекой Елабуге кавалерист-девицы витает тень великого поэта...

### Мимолетные встречи



Каждому грамотному жителю столицы было известно имя великого поэта. Само собой разумеется, что всякий, имевший хоть малейшую возможность увидеть Пушкина, перемолвиться с ним хотя бы несколькими словами, не преминул ею воспользоваться.

Природное человеколюбие и отзывчивость Пушкина определяли его образ жизни: он не был замкнут. Его интересовал человек как таковой, как объект его творчества, в особенности человек значительный — художник, писатель, ученый... Всякое проявление художественной натуры в человеке — русском ли, иностранце — всегда интересовало Пушкина. Жизнь сводила его не только с признанными, но и с начинающими писателями, которым он, как правило, не отказывал в поддержке.

Пушкин интересовался наукой, почитал ее, и общение с учеными было необходимо поэту в непрерывном процессе собственного становления.

Никита Яковлевич БИЧУРИН, в монашестве отец Иакинф, первый русский ученый-синолог. Пушкин познакомился с ним в 1828 году, когда Бичурин уже приобрел в Петербурге большую популярность. Бывший монах, ректор Иркутской, а затем Тобольской семинарий, Бичурин 14 лет (с 1807 по 1821) провел в Китае — был начальником пекинской православной духовной миссии. Между тем известно, что отец Иакинф был атеистом. Его внучка Н. С. Моллер вспоминала: «...не посетит, в церковь не ходит, даже лба не перекрестит, а монашеское все — просто ненавидит». До конца жизни и сам Бичурин, и его друзья безуспешно пытались освободить отца Иакинфа от монашеского сана. В январе 1822 года он приехал в Петербург.

Судьба его, однако, складывалась драматически: над ним был учинен суд, причины и обстоятельства которого оставались неясными, — слухи приписывали Бичурину разные прегрешения, вплоть до безнравственного образа жизни в Китае. Следствием суда было лишение Бичурина священного сана, заточение в монастырь на острове Валаам и строгая епитимья на пять лет.

Насколько духовная и светская власти ненавидели Бичурина, настолько его широкая образованность привлекала к нему умы просвещенных людей. Глубокое знание Востока внушало уважение к нему в ученом мире. Востоковед П. Л. Шиллинг сумел вырвать его из заточения в Валаамском монастыре и в 1826 году определить переводчиком в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Переселившись в Петербург, Бичурин должен был вести по-прежнему монашеский образ жизни, жить в Александро-Невской лавре, хотя числился и служил в Министерстве иностранных дел.

Благодаря полумонашескому костюму в сочетании с аристократическими манерами и совершенным знанием языков, он привлекал к себе внимание. Его портрет со слов матери составила Н. С. Моллер: «Высокая



худощавая фигура отца Иакинфа с бледным выразительным лицом, живыми умными глазами, над которыми чернели густые брови, черными с проседью волосами и длинной седой бородой...» Он был добр, но резок и то, что называется, странен, темпераментом наделен неукротимым и действовал порой «очертя голову». Рассказывали, как, пожелав увидеть знаменитую французскую балерину М. Тальони, он, несмотря на строжайший для монахов запрет, переодевшись, перекрасив бороду, в темных очках смотрел из темноты специально снятой ложи балет А. Адана «Дева Дуная» с ее участием. Таким же образом слушал он в театре итальянских певцов Рубини и Гамбурини.

В Петербурге началась плодотворная литературная деятельность Бичурина. Он обрабатывал материалы, накопленные в Китае. Одно за другим представлял он в цензуру свои сочинения и переводы. Они появлялись в «Московском вестнике», «Московском телеграфе» и других журналах. Первая его книга, перевод с китайского, «Описание Тибета в нынешнем его состоянии с картою дороги из Чен-ду до Хассы», была посвящена покровительствующей ему княгине Зинаиде Волконской. Экземпляр этой книги находился в библиотеке Пушкина. На чистом листе после переплета он написал: «Милостивому Государю моему Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения. Апреля 26 1828». По свидетельству той же Н. С. Моллер, Бичурин «с Пушкиным был знаком, бывал у него». Вскоре между ними установились дружеские отношения.

Бичурин общался с В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, В. Ф. Одоевским и другими писателями. Литераторы дорожили общением с отцом Иакинфом. Приятные часы проводил с ним М. П. Погодин; увлеченность Китаем, воспринятая от Бичурина, нашла отражение в утопии В. Ф. Одоевского «4338 год. Петербургские письма». По свидетельству Погодина, «с тех пор как Одо-

евский начал жить в Петербурге своим хозяйством, у него открылись вечера, однажды в неделю, где собирались его друзья и знакомые — литераторы, ученые, музыканты, чиновники... Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими сузившимися глазками, толстый путешественник Шиллинг, возвратившийся из Сибири», и др. В библиотеке Пушкина хранилась книга Бичурина, переведенная с китайского, «Сан-Цзы-Цзин и троесловие с литографированным китайским текстом», на титульном листе которой была сделана карандашом надпись: «Александр Сергеевичу Пушкину от переводчика». В архиве поэта имелась и рукопись Бичурина: «Байкал. Письмо к О. М. С<омову>», опубликованная в «Северных цветах на 1832 год».

Не мог не знать Пушкин и капитальных трудов Бичурина, переведенных на французский и немецкий языки и, в сущности, положивших начало отечественному востоковедению. Это — «Записки о Монголии», «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана в древнем и нынешнем состоянии» и «История первых четырех ханов из дома Чингисова».

Пушкина в конце 1820-х годов интересовали Восток и Сибирь не только с точки зрения литературно-исторических занятий, но и как предмет его заветных мыслей: там отбывали ссылку многие друзья.

Об отношении Пушкина к Бичурину — ученому-востоковеду можно судить по его примечанию к первой главе «Истории Пугачева», где он говорит: «Самым достоверным и беспристрастным известием о побеге калмыков (Пушкин писал о восстании яицких казаков и переселении калмыков в Китай. — Авт.) обязаны мы отцу Иакинфу, коего глубокие познания и достоверные труды разлили столь яркий свет на сношения наши с Востоком. С благодарностью помещаем здесь сообщенный им отрывок из неизданной его книги о калмыках». Книга Бичурина «Историческое обозрение ойратов или

калмыков с XV столетия до настоящего времени» вышла после книги Пушкина — в 1835 году.

Организованная П. Л. Шиллингом в конце февраля 1830 года и субсидированная Министерством иностранных дел экспедиция в Китай была признанием и продолжением работ Бичурина. Как знать, может быть, именно Бичурину, больше чем Шиллингу, Пушкин был обязан страстно увлекшей его мыслью присоединиться к их экспедиции? Тем более что ее участникам удалось повидаться в Сибири с декабристами. Сохранился портрет Бичурина работы Н. А. Бестужева. Участвовать в этой экспедиции Пушкину было запрещено правительством. В 1837 году Н. Я. Бичурина избрали членом-корреспондентом Петербургской Академии и членом Азиатского общества в Париже. Труды его, впервые познакомившие Европу с Тибетом, до сих пор переиздаются Академией наук СССР.

Александр ВАТТЕМАР — французский драматический артист, мим и чревовещатель (как тогда называли — вентролог), талантливый и своеобразный художник. Прославился своей актерской деятельностью, выступал в Германии, Бельгии, Голландии, Шотландии, Ирландии. В 1832 году приехал в Россию. В Петербурге при многочисленном стечении публики выступал более пятнадцати раз; его выступления пользовались большой популярностью. В дневнике А. В. Никитенко от 10 июня 1834 года сказано об артисте: «Удивительный человек! Он играл пьесу «Пароход», где исполнял семь ролей и все превосходно. Роли эти: влюбленного молодого человека, англичанина-лорда, пьяного кучера, старой кокетки, танцовщицы, кормилицы с ребенком и старого горбуна-волокиты. <...> Он говорит за десятерых, действует за десятерых. В одно время бывает и здесь и там. Необычайное искусство!»

За короткий срок гастролей в России Ваттемар сни-скал известность в обеих столицах. В великосветских салонах он смешил до слез своих слушателей, пугал дам, представляя голоса не только различных людей, но и животных. Особенно всех потешала импровизиро-ванная сцена с барином, бранящимся со слугой, задер-жанным в ларь. О Ваттемаре рассказывали, что однажды он довел будочника, стоящего на часах, до того, что тот стал ломать будку алебардой, заподозрив в ней нечи-стого. Об артисте говорили, что «такого совершенства достигнуть нельзя».

Привлекала в Ваттемаре его широкая эрудиция. Медик по образованию, он был также библиофилом и коллекционером. Побывав во многих столицах и горо-дах Европы, он посещал музеи, библиотеки, общался с учеными, поражая их своими познаниями в разных областях.

В Петербурге он вошел в литературные круги, по-знакомился с В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, И. И. Козловым. Жуковский приглашал его к себе: «...лично Вас, любезный господин Александр, пока я найду другое помещение» (но не всех других, кого ар-тист изображал.— Авт.), — шутил Жуковский. Козлов посвятил Ваттемару стихотворение «К господину Алек-сандру», которое было напечатано в «Северной пчеле»:

Весь мир дивит твой дар чудесный,  
И чародея ль мне хвалить?

.....  
Ты часто увлекал меня  
Высокой, ясною душою,  
С каким приветом каждый раз  
Твои глубокие познания,  
Забавный, умный твой рассказ  
Мои лелеяли мечтанья...

Публикуя это стихотворение в «Известиях Отделе-ния русского языка и словесности» в 1840 году, Грот приписал его Пушкину.

Точно неизвестно, когда Пушкин познакомился с Ваттемаром. Во всяком случае, к лету 1834 года знакомство их уже состоялось. 29 мая поэт писал жене в Полотняный завод: «К нам в Петербург приехал ventriloque, который смешил меня до слез; мне, право, жаль, что ты его не услышишь». Судя по этому письму, речь идет не о публичном выступлении артиста, а, скорее всего, о его визите к Пушкину домой. Пушкины снимали тогда квартиру в доме Оливье на Пантелеймоновской улице (ныне ул. Пестеля, 5). Шурин поэта С. Н. Гончаров, проживавший в том же доме, вспоминал, что Пушкин, совершенно непритязательный в семейной жизни, обычно требовал полного спокойствия в своем кабинете. «Его кабинет был над моей комнатой,— рассказывал Гончаров,— и в часы занятий или уединений Пушкина мне часто слышался его мерный или тревожный шаг. Но раз к моему удивлению наверху раздались звуки нестройных и крикливых голосов». На недоумение шурина Пушкин ответил: «„Жаль, что ты не пришел. <...> У меня был вентролог”». Тут же он распространился об его выходках» Далее Пушкин рассказал Гончарову о том, как, машинально раскрыв Евангелие, он перефразировал евангельский текст, который и вписал в альбом Ваттемара: «Имя ваше легион, так как вас много. 16 июня ст. ст. 1834. С.-Петербург. А. Пушкин»

Вместе с этим автографом Пушкин оставил в альбоме артиста два стихотворения — «Подражания древним» («Чистый лоснится пол...») и «Славная флейта, Феон, здесь лежит...»), о которых В. Г. Белинский сказал, что от них «веет античным духом».

Сделав запись в альбом Ваттемара, рассказывает Гончаров, Пушкин «поднял голову, устремил взор вперед и после непродолжительного молчания сказал мне: принеси скорей клочок бумаги и карандаш. <...> Он принялся писать, останавливаясь, от времени до времени задумываясь и часто вымарывая написанное. Так

прошел с небольшим час: стихотворение было окончено». Стихи Пушкина, посвященные Ваттемару и приведшие свидетеля их создания в восторг, не сохранились.

Пушкин оказывал Ваттемару покровительство. Успех в Петербурге побудил артиста помышлять о выступлениях в Москве, и с просьбой о ходатайстве за него перед директором московских театров М. Н. Загоскиным Ваттемар обратился к Пушкину. Пришел он с этим к поэту в то время, когда Пушкин был озабочен своей отставкой и два дня тому назад, по свидетельству Гончарова, написал об этом свое третье письмо А. Х. Бенкендорфу. Это было 6 июля 1834 года, а 9 июля поэт писал М. Н. Загоскину о Ваттемаре. Несмотря на тяжелые личные обстоятельства, Пушкин не мог ответить Ваттемару отказом, хотя тот для него был всего лишь мимолетным знакомым. С предупредительной деликатностью пишет он Ваттемару: «Милостивый государь, ответ господина Загоскина еще не дошел до меня. Как только получу его письмо, буду иметь честь передать его вам».

Коллекция Ваттемара насчитывала тысячи автографов знаменитостей, а также более тысячи оригинальных рисунков. Среди них: автографы Гёте, В. Скотта, Т. Мура, Ламартина, Петра I и многих других, а также рисунки известных художников всего мира. Автографы и рисунки коллекционер сопровождал аннотациями. При автографе Пушкина он сделал следующую запись: «Питомец Санкт-Петербургского лицея, где он получил либеральное воспитание, он, в силу своей экзальтированности, рано пришел к руководству демократической партии. Его первые стихи были откровенно революционны и повлекли за собой ссылку в Бессарабию, а потом на Кавказ. Он снова вошел в милость с воцарением императора Николая, который дал ему придворное звание и поручил написать историю Петра Великого.

«Я более не популярен»,— говорил он с тех пор. Париж. 1837».

В те годы не только в России, но и в зарубежной печати никто не писал о революционности творчества Пушкина. Первым это сделал французский венеролог Александр Ваттемар.

Франсуа Адольф ЛЁВЕ-ВЕЙМАР — французский литератор, широко известный в Европе, в конце жизни дипломат. О нем писал Г. Гейне. Летом 1836 года был направлен в Россию с негласной миссией от французского правительства наладить отношения с Николаем I.

Но Лёве-Веймара больше влекли в Россию его литературные интересы. Его снабдил рекомендательным письмом к С. А. Соболевскому П. Мериме. Он писал: «Литературная репутация г. Лёве-Веймара, который передаст вам это письмо, будет для вас достаточной рекомендацией. Позвольте мне надеяться, что, кроме того, вы не откажетесь видеть в нем одного из моих друзей». За Лёве-Веймара просил В. А. Жуковского, П. А. Вяземского и Пушкина А. И. Тургенев, хлопоча, чтобы они показали гостю Россию «с вашей стороны: с других сторон он увидит ее в очки к<нязя> Мещерского (Элима Петровича, атташе русского посольства в Париже. — Авт.), с коим приедет, и госпожи Нессельроде, которой пишут о нем другие».

20 июня Вяземский устраивал у себя «прощальный» вечер для уезжавшего ненадолго в Дерпт Жуковского и «встречальный» — для Лёве-Веймара. На вечере присутствовали Пушкин, Вяземский, Карамзин, Жуковский, Крылов, Бартенев и Брюллов.

В том же месяце французский литератор был в гостях у Пушкина на даче Ф. И. Доливо-Добровольского на Каменном острове, где, по его словам, «провел много хороших минут». Специально для него одного Пуш-

кин предпринял большой труд — перевел на французский язык одиннадцать русских народных песен. Автограф занимал семь страниц, под ним рукою Лёве-Веймара подписано: «Переведенные Александром Пушкиным для его друга Л. де Веймара на островах Невы, дача Бровольского (Добровольского. — Авт.), июнь 1836».

Лёве-Веймар быстро освоился в России, в Петербурге его называли Лев Веймар или просто Лев Веймарский. Он женился здесь на родственнице Н. Н. Пушкиной — Ольге Викентьевне Голынской.

На смерть Пушкина Лёве-Веймар откликнулся некрологом, где одним из первых сказал правду о гибели поэта — о травле и клевете. Он объяснил ее причины рано возникшим у Пушкина стремлением к «служению либерализму» и тем, что уже «первые стихи его были откровенно революционными». Статья Лёве-Веймара была напечатана в «Journal des Debats» 3 марта 1837 года, потом перепечатана в «Revue de Deux mondes» и в других европейских газетах. В русскую печать статью Лёве-Веймара не пропустила цензура. Вяземский писал по этому поводу А. О. Смирновой-Россет: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Статья в «Журнале Дебатов» Лёве-Веймара не пропущена, хотя она справедлива и написана с доброжелательством, а клеветы пропускаются». «Она очень хорошо составлена и очень толково», — утверждал П. И. Кривцов. Начинался некролог так: «Россия потеряла своего поистине самого знаменитого писателя — Пушкина, который погиб на дуэли с бароном Дантесом, его свояком. Это несчастное событие взволновало все общество, где Пушкин имел много искренних почитателей и несколько благородных и искренних друзей. Клеветы и анонимные письма, которые погубили столько людей с благородным сердцем до Пушкина и которые будут их убивать и после него,



были причиной его смерти в тот момент, когда он готовился к большому труду — к истории Петра Великого».

Александр фон ГУМБОЛЬДТ — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник, один из основоположников географии растений, геофизики, гидрографии. Путешествовал по Северной, Центральной и Южной Америке. Гумбольдта хорошо знали в России. Он много лет мечтал о путешествии в Азию, и в 1829 году русское правительство субсидировало поездку ученого по России и пограничным с ней районам азиатских стран. Привлекали Гумбольдта Урал и Западная Сибирь. Направляясь в путешествие в середине апреля 1829 года, он несколько недель пробыл в Петербурге. Здесь, по его словам, он «наслаждался всеми изысканными благами культурной жизни, какие может только предоставить гостеприимство». Интерес к Гумбольдту в Петербурге был огромен, его без конца приглашали на торжественные приемы, в том числе и в царский дворец. 29 апреля ученый присутствовал на заседании Академии наук.

В апреле 1829 года Пушкина в Петербурге не было, поэт находился сначала в Москве и затем на пути в Закавказье. Познакомились они в Петербурге, когда Гумбольдт уже возвращался из своего путешествия, — это могло произойти в период между 1 ноября и 3 декабря 1829 года.

Гумбольдта по праву считают одним из пионеров изучения Азии. Путешественник проехал 15 500 верст, и его интерес к исследуемым краям не ограничивался географией. Известно, что Гумбольдта заботило положение крестьян. В Омске он встречался с декабристом С. М. Семеновым, о котором тщетно пытался ходатайствовать перед царем.

На обратном пути из путешествия Гумбольдт провел в Петербурге более месяца. 16 ноября в его честь со-

стоялась чрезвычайная сессия Академии наук, на которой присутствовали ученые, писатели и государственные деятели. Ученый выступил перед ними от имени участников экспедиции и был награжден золотой медалью Академии наук.

На этот раз Гумбольдт успел посетить музеи и библиотеки Петербурга и уделить время беседам с учеными и деятелями искусства России. Он был знаком и с русскими литераторами: братьями Тургеневыми, П. Я. Чаадаевым, Н. И. Гречем. Его пребывание в России широко освещала русская печать. Личность Гумбольдта не могла не заинтересовать Пушкина, тем более что ученый обладал незаурядным красноречием. По словам поэта, «речь его текла почти безостановочно, как у тех мраморных львов <...>, у которых вода течет двойной струей из обеих оконечностей рта, справа и слева». Отзыв Пушкина о Гумбольдте всецело совпадает с мнением о нем Гёте, по словам которого, «он подобен источнику с множеством ручейков — всюду можно подставить сосуды, и неиссякаемо бьет нам навстречу освежающая влага».

Вряд ли эта мимолетная встреча прошла для Пушкина бесследно. Тем более что в сравнительно скором времени Пушкин начнет работу над «Историей Пугачева», в процессе которой не только глубоко изучит архивные документы, но и посетит Симбирск, Оренбург, Уральск. Гумбольдт знал о занятиях Пушкина «Историей Пугачева» и интересовался ими. По свидетельству профессора Московского университета Н. А. Мельгунова, посетившего Гумбольдта в Берлине, ученый «вспоминал о некоторых знакомых ему лицах, спрашивал о Пушкине, бывшем тогда еще во всем цвете жизни, в особенности об историческом труде его».

Иван Тимофеевич КАЛАШНИКОВ — писатель, автор романов «Дочь купца Жолобова», «Камчадалка» и

повести «Изгнанник». Последняя начиналась словами: «И сию повесть мою, как и два прежние мои романы, издаю я с целью: знакомить моих читателей с Сибирью». Оба романа Калашникова находились в библиотеке Пушкина.

Калашников был сибиряком. Сын иркутского уголовных дел стряпчего, в 1822 году он был назначен по предложению М. М. Сперанского советником Тобольского губернского управления. С 1823 года жил в Петербурге, где начал карьеру со столоначальника Министерства внутренних дел, потом служил в департаменте уделов начальником I отделения и правителем канцелярии медицинского департамента, а в 1836 году он стал старшим помощником производителя дел имперской канцелярии.

Чиновничью карьеру Калашников сочетал с работой учителя русской словесности в кадетском корпусе и с литературной деятельностью. С конца 1820-х годов в журнале «Сын отечества» стали печататься его стихотворения («Бессмертие», «Воспоминание», «Тень матери» и др.)

Литературную известность ему принес первый роман — «Дочь купца Жолобова. Роман, извлеченный из иркутских преданий. 1831 г.». По существу, это был первый русский роман о Сибири, ее девственной природе, преданиях, обычаях и нравах, о сибирском мещанстве, чиновничестве, купечестве и бурятском народе. Галерея образов чиновников как носителей социального зла придавала роману черты далеко не этнографического порядка.

Первый роман Калашникова открыл перед ним двери в литературные круги столицы. В 1831-м — начале 1832 года он познакомился почти со всеми петербургскими писателями. 19 февраля 1832 года Калашников вместе с другими писателями, в том числе с Пушкиным, был на обеде у А. Ф. Смирдина. С благорасположением

отнесся к новичку В. А. Жуковский. Но более других поддержал его И. А. Крылов, нашедший в нем талант и предвещавший начинающему писателю большой успех. Роман «Дочь купца Жолобова» понравился В. К. Кюхельбекеру. В. Г. Белинский, хоть и не обнаружил художественных достоинств в романе, писал в рецензии (на третье его издание): «Г. Калашников, как видно из его романа, хорошо знает Сибирь и любит ее. Описания часто бывают увлекательны и живы».

Калашников осмелился завязать отношения с Пушкиным лишь после выхода в свет второго своего романа — «Камчадалка», заручившись одобрением других писателей. 28 марта 1833 года, посылая Пушкину свои романы, автор писал ему: «Милостивый государь Александр Сергеевич! За все те приятные минуты в жизни, какими я наслаждался, читая Ваши превосходные творения, делающие честь делу и нашей литературе, не имея возможности заплатить тем же, я решаюсь поднести слабые труды мои и покорнейше просить Вас принять их, по крайней мере, как знак глубокого моего уважения к Вам, которое навсегда сохранится в моей душе».

В 1830-е годы Пушкина особенно интересовала Сибирь. Романы Калашникова давали ему материалы о ней, знакомя с географией, этнографией, историей и бытом этого края. В романе «Камчадалка», в основе примыкавшем к тематике первого произведения Калашникова, была значительно заострена проблема социального неравенства, хищнической эксплуатации местного населения властями. Сохранился черновик письма Пушкина к Калашникову с отзывом о его романах, — беловая рукопись затерялась в архиве адресата. В нем Пушкин писал: «Вы спрашиваете моего мнения о «Камчадалке». Откровенность под моим пером может показаться Вам простой учтивостью. Я хочу лучше повторить Вам мнение Крылова, великого знатока и беспри-

страстного ценителя истинного таланта. Прочитав «Дочь купца Жолобова», он мне сказал: Ни одного из русских романов я не читал с большим удовольствием. «Камчадалка», видно, не ниже Вашего первого произведения. Сколько я мог заметить, часть публики, которая судит о книгах не по объявлениям газет, а по собственному впечатлению, полюбила Вас и с полным радушием приняла обе Ваши пьесы».

По тексту пушкинского письма трудно сказать с определенностью, читал ли Пушкин романы — или роман — Калашникова. Не исключено, что за бесконечной занятостью и не читал, а старался наилучшим образом выйти из положения и не обидеть автора. Но, как всегда, его письмо — документ о его доброжелательности, мудрости, равнодушии. Калашников навсегда запомнил, как ему был «сообщен одним из первых наших литераторов отзыв, сделанный сим почтенным мужем (И. А. Крыловым.— Авт.) о первом моем романе: *«Дочь купца Жолобова», о котором он сказал, что ни одного русского романа не читал он с большим удовольствием».*

Абрам (Авраам) Сергеевич НОРОВ — поэт и переводчик, член «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» и «Общества любителей российской словесности», служивший по Министерству внутренних дел. Как артиллерист участвовал в Отечественной войне, был ранен при Бородине, привезен в еще осажденную Москву, где лейб-медик Наполеона Ларей ампутировал ему ногу. Позже стал академиком, сенатором, а еще позже, уже после кончины Пушкина, министром народного просвещения. Только в 1856 году, после смерти Николая I и возвращения декабристов из ссылки, осмелился распорядиться о надгробном памятнике родному брату — Василию Сергеевичу, декабристу, умершему 3 июля 1852 года в Ревеле.

В Петербурге пушкинского времени Норова больше

знали как литератора. Еще в молодости он много печатался в журналах и альманахах. По преимуществу это были стихи и переводы не самого высокого достоинства. Когда в 1827 году альманах «Северная лира на 1827 г.» напечатал отрывок из поэмы Норова «Земля» и два его перевода из Данте, Пушкин дал на них неодобрительный отзыв: «Г. Норову не должно бы переводить Данта». Однако рецензию Пушкина на альманах Норов не читал — она не была напечатана.

Точное время знакомства Пушкина и Норова не установлено, предполагают, что они стали общаться после возвращения поэта из ссылки, году в 1827-м. Документально подтверждено участие Норова в беседах о Пушкине еще в 1823 году — у А. Ф. Малиновского. К Норову тогда пришла известность, благодаря его очеркам, написанным после путешествий по Сицилии, Палестине, Египту и т. д. Знали Норова в Петербурге также как страстного коллекционера и библиофила.

Встречи Пушкина с Норовым носили эпизодический характер, но они были на «ты». По воспоминаниям А. П. Керн, 2 июня 1828 года, в день именин Пушкина, поэт вместе с Норовым посетил ее. Как рассказывает А. П. Керн, именно Норов напомнил ей в тот день, что Пушкин именинник, добавив при этом: «Неужели вы ему ничего не подарили, а он так много вам писал прекрасных стихов?» — на что она, сняв с руки, поднесла Пушкину кольцо.

В дневнике Пушкина от 2 апреля 1834 года есть упоминание об обеде у князя Н. И. Трубецкого в обществе Норова, Вяземского и Н. В. Кукольника. В 1830 году Норов продал Трубецкому свою уникальную библиотеку. Эта библиотека более всего и связывала Пушкина в 1830-е годы с Норовым. Сохранились короткие письма-записки Пушкина к Норову за 1833 год о взятых или возвращенных книгах. У Норова Пушкин брал книгу «Relation des particularitez de la rebellion de Stenko Ra-

sin contre le Grand Duc de Moscovie» (Paris. M; DCI XXII). В примечании к восьмой главе «Истории Пугачевского бунта» Пушкин цитировал эту книгу. Он писал о ней: «Книга эта весьма редкая, я видел один экземпляр оной в библиотеке А. С. Норова, ныне принадлежащей князю Н. И. Трубецкому». Записка Пушкина к Норову свидетельствует о возвращении книги владельцу, но на той же записке — помета Норова: «Опять отдана Пушкину». Пушкин пользовался также в библиотеке Норова книгами «Путешествие Стрюйса» и «Satyricon» Петрония. Первая была взята в связи с интересом к теме «Степан Разин»; в библиотеке Пушкина была такая же книга, но в другом, сокращенном издании, что не удовлетворяло его. В библиотеке Пушкина осталась одна из книг самого Норова — «Путешествие по Сицилии в 1822 году» (ч. II. СПб., 1828). Видимо, в благодарность за возможность пользоваться библиотекой Пушкин оставил автограф: «А. Норову от А. Пушкина» на книге «Poésies sur la constitution unigenitus Recueillies par le Chevalier de G... Officier du Regiment de Champagne. A. Villefranche; MDCCXXIV; т. 1—2». У Норова хранились также два автографа Пушкина: отрывок из поэмы «Русалка» и черновик примечания к роману «Евгений Онегин».

Воспоминания Норова о Пушкине свидетельствуют о признании авторства «Гавриилиады», от которого Пушкин долго отказывался. Норов писал, что Пушкин, узнав о сожжении Норовым одного из списков поэмы, усмотрел в этом истинную к нему дружбу. Судя по воспоминаниям других современников (М. В. Юзефовича, например), поэт сам уничтожал списки поэмы.

Павел Львович ШИЛЛИНГ фон КОНШТАДТ — выдающийся русский ученый, востоковед, электротехник. Участник войны 1812 года. За проявленное в боях мужество был награжден боевым орденом и саблей «За

храбрость». Сконструировал мину с электрическим запалом. Экспериментальный взрыв ее провел на Неве в сентябре — октябре 1812 года.

21 марта 1834 года на Обводном канале возле Александро-Невской лавры был осуществлен взрыв подводной электрической мины. Из-за косности военных властей это изобретение Шиллинга было признано только во время Севастопольской обороны.

В 1832 году ученый изобрел клавишный телеграфный аппарат; на его основе создал систему электромагнитного телеграфа. Первые его испытания проводились на квартире Шиллинга, которую он снимал в доме на Царицыном лугу (ныне Марсово поле, 7). На этом доме сохранилась установленная Русским техническим обществом в 1886 году мемориальная доска: «Здесь жил и умер русский изобретатель электромагнитного телеграфа Павел Львович Шиллинг». Для испытания своего изобретения Шиллинг на время нанимал у владельцев дома целый этаж — его пятикомнатная квартира оказалась мала для эксперимента. Он изобрел первую в России гражданскую литографию, разработал литографский способ воспроизведения текстов на китайском языке.

Шиллинг был ученым широкого профиля: с 1827 года он член-корреспондент Петербургской Академии наук по разряду литературы и древностей Востока; владел обширной коллекцией рукописей на восточных языках; занимался изучением языков и этнографии Китая, Тибета, Средней Азии; любил, знал и пропагандировал китайскую литературу.

В Петербурге в литературных кругах пользовался всеобщей симпатией. Добродушный толстяк, веселого нрава, интересный собеседник, хороший шахматист, он состоял в дружбе с А. И. Тургеневым, П. А. Вяземским, В. А. Жуковским, К. Н. Батюшковым.

Пушкин знал Шиллинга еще в годы молодости. Одна из их ранних встреч состоялась по случаю проводов



Батюшкова в Италию. Их общение возобновилось после приезда Пушкина из ссылки. Так, 6 июня 1827 года у Карамзиных в обществе Шиллинга и других Пушкин много говорил о Ламартине, Байроне, Батюшкове и рассказывал о своей южной ссылке. Морскую прогулку в Кронштадт 25 мая 1828 года с участием Пушкина и Шиллинга описывал в письме к жене Вяземский: «В Кронштадте осматривали мы флот или часть флота, которая выступает в море сначала под командой Сенявина... <...> Туда поехали мы при благоприятной погоде; но на возвратном пути при самых сборах к отплытию разразилась такая гроза, поднялся такой ветер, полил такой дождь, что любо! Надобно было видеть, как весь народ засуетился, кинулся в каюты, шум, крики, давка; здесь одна толстая англичанка падает с лестницы, но не в воду, а на пол, там француженку из лодки тащат в окошко на пароход; толстый Шиллинг садится в тесноте и в темноте возле какой-то немки, и какой-то немец по этому случаю затевает ссору на немецкий лад, une querelle d'alle mand (во всех углах истории)».

В альбоме Е. Н. Ушаковой сохранился рисунок, изображающий Шиллинга, толстого, добродушного человека. В оценке его человеческих достоинств современниками существует полное единодушие. «Добродушие и природный ум, неистощимая веселость, устранение от всяких интриг, сплетней и личных пристрастий заставляли всех знакомых любить и уважать его. Люди серьезные, задумчивые, строгие любили его беседу, равно, как и весельчаки», — выразил общее мнение Н. И. Греч.

В 1829—1830 годах в составе русской миссии Шиллинг намеревался ехать в Китай. Пушкина также манило это путешествие. 23 декабря поэт написал:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,  
Куда б ни вздумали, готов за вами я  
Повсюду следовать, надменной убегая:  
К подножию ль стены далекого Китая,

В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,  
Где Тасса не поет уже ночной гребец,  
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,  
Где кипарисные благоухают рощи,  
Повсюду я готов.

Пушкин и Шиллинг встречались и позже. Известно, что 9 ноября 1834 года они вместе были на обеде у чиновника департамента иностранных исповеданий П. П. Гетца, впоследствии автора воспоминаний о поэте, в обществе Жуковского, А. И. Тургенева и др. Они общались до конца дней своих — Шиллинг умер тоже в 1837 году. Член «Союза благоденствия» П. Х. Граббе писал в дневнике: «В это время из тесного круга близких мне друзей убыли двое: Лепарский и Шиллинг. Первый оставил землю для общей неизвестной обители в Петровском заводе в Сибири; другой умер в Петербурге. Тот редкой добродетели, этот хороший, умный и ученый человек. Того оплачут несчастные, утратившие в нем нежного неутомимого покровителя, об этом пожалуют счастливые, потерявшие в нем всегда веселого и умного собеседника. Оба незаменимы для друзей, ближе знакомых с сокровищами души одного и ума другого. Мир праху их! В начале этого же года умер безвременной смертью незаменимый Пушкин. Он убит на дуэли каким-то Дантесом. С ним замолк чистейший отголосок русской поэзии».

## В Российской Академии



В первой главе «Евгения Онегина» Пушкин писал: «Заглядывал я встарь в Академический словарь...» Эта строфа, в первой публикации, имела примечание: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской Академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наслед-

ников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного». Далее Пушкин привел слова Н. М. Карамзина: «Словарь принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба, во всех отношениях, есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями».

Российская Академия была основана в 1783 году. Главная задача этого «полезного для отечества учреждения» состояла, как говорилось в Уставе, в «вычищении и обогащении российского языка, общем установлении употребления слов оного, свойственного оному впитыванию и стихотворению». Академии удалось объединить вокруг этого имевшего национальное значение дела весь цвет русского образованного общества — писателей, ученых, государственных деятелей. Членам Академии надлежало заботиться об издании книг по языкознанию, грамматике русской и славянской и т. п.

Первым президентом была назначена Е. Р. Дашкова. Членами Академии стали писатели Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист и многие другие. Их трудами создавался в 1789—1794 годах «Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный». Потребность в подобном труде назрела давно.

В 1806—1822 годах вышло в свет второе, существенно дополненное издание — «Словарь по азбучному порядку расположенный», в шести частях.

Многие члены Академии участвовали и в издании «Собеседника любителей российского слова». Здесь особенно примечательна статья Д. И. Фонвизина «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особенное внимание». «Вопросы» были столь остры, что императрица Екатерина II, вступив в полемику с автором, написала свои «ответы». В статье, посвященной

Российской Академии, Пушкин цитировал некоторые из них.

Прошлую деятельность Академии он оценивал высоко. Когда в 1830-е годы готовилось третье издание «Словаря», поэт приветствовал это начинание, полагая, что распространение подобного труда «час от часу становится необходимее. Прекрасный наш язык, под пером писателей неученых и неискусных, быстро клонится к падению».

В то время президентом Академии был адмирал А. С. Шишков, занимавший эту почетную должность с 1813 года. Шишков один из основателей «Беседы любителей русского слова». Когда-то Пушкин вместе с членами «Арзамаса» со свойственной ему страстью принимал участие в борьбе с «Беседой» и высмеял Шишкова в эпиграмме «Угрюмых тройка есть певцов...». Со временем с ослаблением литературной борьбы отношение поэта к А. С. Шишкову — «старцу почтенному по своим душевным качествам и заслугам», как говорили современники, менялось. Узнав о назначении в 1824 году Шишкова министром народного просвещения, Пушкин выражал надежду на ослабление цензурного гнета и во «Втором послании цензору», написанном в 1824 году, посвятил ему строки:

Шишков наук уже правленью восприял.  
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,  
Он славен славою двенадцатого года;  
Один в толпе вельмож он русских муз любил,  
Их, незамеченных, созвал, соединил...

Членами Академии были И. А. Крылов и В. А. Жуковский. По воспоминаниям современников, Шишкову «Пушкин нравился больше Жуковского за особенную чистоту языка и всегдашнюю ясность», он ценил «истинный талант» поэта.

3 декабря 1832 года президент Академии выступил

в собрании с предложением: «...Избрать в действительные члены Академии нижеследующих особ:

Титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина.

Отставного гвардии полковника Павла Александровича Катенина.

Камергера в должности директора московского театра Михайлу Ивановича Загоскина.

Священника и магистра Алексея Ивановича Малова.

Действительного статского советника Дмитрия Ивановича Яковлева.

Известные в словесности дарования и сочинения их увольняют меня от подробного исчисления.

Александр Шишков».

Избрание Пушкина прошло почти единогласно, только митрополит Серафим воздержался при голосовании, сославшись на то, что «избираемый ему неизвестен».

Были избраны и остальные кандидатуры.

К этому времени, и чем далее — тем больше, Академия заполнялась второстепенными литераторами и, как насмешливо замечал Пушкин, «попами».

В своей деятельности она отошла от общественно-литературной и научной жизни и влачила жалкое существование.

Но П. А. Катенин на первых порах заинтересовался делами Академии и даже собирался участвовать в праздновании ее пятидесятилетнего юбилея, о чем хотел посоветоваться с Пушкиным. Пушкин высоко ценил ум и эрудицию Катенина, его творчество.

По словам современника, Катенин произвел в Академии «большую тревогу», «загорланил» на заседании, «оживляя сим сонных толмачей и моряков. Во второй раз уже дошло до того, что ему прочли параграф устава, которым велено выводить из заседания членов, непристойно себя ведущих. Старики видят свою ошибку,

но делать уже нечего: зло посреди их; вековое спокойствие нарушено навсегда, или по крайней мере надолго».

Но ничто уже не могло сломать обветшавшие традиции Академии и влить в ее работу новую свежую струю. Деятельность Академии Пушкин и его друзья оценивали весьма скептически. П. А. Вяземский вспоминал, что после первого заседания Пушкин рассказывал ему «уморительные вещи». Не принимавший всерьез нудных и чинных заседаний, поэт, по его словам, был «более всего недоволен завтраком, состоящим из дурного винегрета и разных водок. Он хочет первым предложением своим подать голос, чтобы наняли хорошего повара и покупали хорошее вино французское».

Сначала Пушкин довольно усердно посещал академические собрания, но вскоре бесконечные толки о словаре ему наскучили, и в Академии его видели только в дни выборов.

В письме Наталье Николаевне 30 июня 1834 года он сообщал, что приходил к Шишкову для «жетонов»: со времени основания Академии ее членам раздавали серебряные жетоны за присутствие на заседаниях. Жетоны оплачивались.

Пушкин на заседаниях не выступал и с иронией наблюдал за происходившим. Так, его насмешку вызвала борьба за освободившееся место неперменного секретаря Академии, которую вели между собою писатели М. Е. Лобанов и Б. М. Федоров, и он сравнивал ее с мелочным спором Улисса (Одиссея) с Аяксом из-за доспехов Ахиллеса. (Место секретаря получил Д. И. Языков.)

Критически оценивал поэт сочинения Б. М. Федорова, которого за его стихи числили «наследником графа Хвостова», а переводы М. Е. Лобанова трагедий Расина называл «гадостью». Примечательно, что в 1835 году Лобанов напечатал драму под названием «Борис Годунов». Художественная незначительность ее была оче-

видна. Автор беззастенчиво заимствовал сюжет, сцены и даже реплики из трагедии Пушкина, но события освещал в строго верноподданническом, монархическом духе: народ у него простодушен, ненавидит смуты и верен законному царю. В письме Пушкину в мае 1835 года П. А. Катенин писал с насмешкой, что критики разбрали пьесу Лобанова «из чистой злобы: чего им стоило похвалить? Пьеса осталась бы та же, а Михаил Евстафьевич не хворал бы огорченным самолюбием».

Но за это бездарное произведение автора удостоили академической премии. Гениальная же трагедия Пушкина словно не была и замечена Академией.

Среди бездарных литераторов, которыми «Шишков набил Академию», Пушкину было душно и тяжело. Он понимал полную невозможность сломать прочно утвердившиеся традиции и изменить что-либо в деятельности Академии. (Российская Академия в 1841 году была преобразована во второе отделение Академии наук, а затем в отделение русского языка и литературы.)

На заседании 18 января 1836 года М. Е. Лобанов выступил с официозной речью «О духе и словесности, как иностранной, так и отечественной», в которой напал на французскую литературу «за разрушительные мысли», связанные с «ужасами революции». «Есть в нашей словесности некоторый отголосок бесправия и нелепостей, порожденных иностранными писателями», — общал он и в итоге требовал усиления цензурно-охранительных мер. Пушкин со свойственной ему полемической остротой дал суровый отпор в статье, появившейся в третьем томе «Современника» за 1836 год, — «Мнение М. Е. Лобанова о духе и словесности, как иностранной, так и отечественной». Защищая французскую литературу, ее замечательных писателей и поэтов, он подчеркивал самостоятельность русской литературы. По его убеждению, она никогда не являлась рассадником произведений, которые вели к совершенному упадку и нрав-

ственность и словесность. Но где же у нас это множество безнравственных книг? — спрашивал Пушкин. — И можно ли укорять у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Мы знаем противное».

Статья заканчивалась пожеланиями, чтобы «...Российская Академия, уже принесшая истинную пользу нашему прекрасному языку и совершившая столь много знаменитых подвигов, ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных — наказывая одним ей приличным оружием: невниманием».

Но невнимания Академии «удостоился» сам великий Пушкин.

### В кругу художников



Произведения Пушкина насыщены множеством упоминаний о художниках. В IV главе «Евгения Онегина» поэт говорит о «чудотворной кисти» Федора Толстого, на полях черновика «Путешествия Онегина» рисует профиль художника Григория Чернецова, под автографом стихотворения «Везувий зев открыл...» чертит пером фрагмент картины К. П. Брюллова «Последний день Помпеи»...

Известны строки поэта, обращенные к О. А. Кипренскому («Любимец моды легкокрылой...»), А. О. Орловскому («Бери свой быстрый карандаш...»), Д. Доу («За чем твой дивный карандаш рисует мой арапский профиль?»), А. В. Логановскому и др.

Пушкина всегда привлекал мир художников. Со многими из них он был так или иначе связан. Одним позировал для портретов, с другими советовался об иллюстрациях к своим произведениям, с третьими встречался на выставках или в мастерских Академии. Лишь далеко



не полный перечень имен — В. А. Тропинин, О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, Г. Г. Гагарин, А. О. Орловский, Д. Доу — позволяет очертить обширный круг знакомств Пушкина среди художников.

Особое место среди них занимали В. А. Тропинин и О. А. Кипренский, которые выполнили известные живописные портреты поэта. «Портрет Тропинину заказал сам Пушкин и поднес мне его в виде сюрприза с разными фарсами (стоил он ему 350 руб.)», — писал друг поэта С. А. Соболевский. Это произошло в Москве, сразу же по возвращении Пушкина из михайловской ссылки. Издатель журнала «Московский телеграф» Н. А. Полевой писал: «Русский живописец Тропинин недавно окончил портрет Пушкина. Пушкин изображен *en trois quart* (в трехчетвертном повороте.— *Авт.*), в халате, сидящий подле столика. Сходство портрета с подлинником поразительно...»

Если Тропинин представил Пушкина по-московски открытым, словно ищущим общения с окружающими, то другой портрет, выполненный О. А. Кипренским в том же 1827 году в Петербурге, дает иную интерпретацию образа. Современники находили его не только необычайно схожим с оригиналом, но и воплощающим «гения Поэзии».

В 1820—1830-х годах связь между художниками и писателями стала наиболее ощутима. «Замечательно, что русские художники никогда не занимались так литературою и не сходились так близко с нашими литераторами, как в это время», — писал Н. А. Рамазанов.

У Пушкина, как и у других литераторов того времени, интерес к искусству был связан с проблемами книжной иллюстрации. Собрания сочинений или отдельные издания, как правило, украшались виньетками, заставками, концовками, а позднее — и сюжетными рисунками. В этой области подвизалось целое поколение художников — С. Галактионов, Е. Скотников, И. Чесский,

А. Ухтомский, А. Брюллов и др. Присутствие заставки или виньетки в книге считалось чуть ли не гарантией ее красоты и изящества. Недаром издатели альманахов А. Дельвиг, К. Рылеев, А. Бестужев считали это весьма важным. Так, однажды уже опубликованные «Рыбаки» Гнедича были изданы вновь, когда для них была сделана новая виньетка.

«Виньетку бы не худо, — писал Пушкин брату и П. А. Плетневу из Михайловского в 1825 году, в связи с изданием сборника своих стихотворений, — даже можно, даже нужно, даже ради Христа, сделайте; именно: Психея, которая задумалась над цветком... Что, если б волшебная кисть Ф. Толстого...

Нет! слишком дорого!  
А ужась как мила!»

Виньетки Ф. П. Толстого отличались простотой и ясностью композиции, безупречным рисунком, за что их особенно ценили современники. Пушкин предпочитал виньеточный тип иллюстрации сюжетным рисункам. В 1835 году он писал П. А. Плетневу: «Ты требуешь имени для альманаха: назовем его «Арион» или «Орион»; я люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам привязываться не к чему. Лангера заставь также нарисовать виньетку без смысла. Были бы цветочки, да лиры, да чаши, да плющ... Это будет очень натурально».

Сюжетные иллюстрации к «Евгению Онегину», выполненные А. В. Нотбеком, вызвали его иронические эпиграммы, в которых, однако, не было сказано ни одного худого слова в адрес художника. Осмеянию подверглась лишь прямолинейная трактовка лирических отступлений романа. Там, где Пушкин предислагал изобразить две фигуры, облокотившиеся на парапет набережной и обращенные к Петропавловской крепости, Нотбек представил портретные изображения Пушкина

и Онегина, повернувшихся спинами к крепости и прямо смотрящих на зрителя. Отсюда родились строки:

Вот перешед чрез мост Кокушкин,  
Опершись ..... о гранит,  
Сам Александр Сергееч Пушкин  
С мосье Онегиным стоит.

Не достаивая взглядом  
Твердыню власти роковой,  
Он к крепости стал гордо задом.  
Не плюй в колодец, милый мой.

Однако в том случае, когда сюжетные иллюстрации отвечали замыслам поэта, он приветствовал их. «Я познакомился с Пушкиным — автором, — писал в ноябре 1832 года художник Г. Г. Гагарин. — Мы в очень хороших отношениях. Я ему рисую виньетки для „Руслана и Людмилы“». По сути дела это были не столько виньетки, сколько жанровые сюжетные изображения: «Царь Кашей», «Леший», «Русалка», а также групповые композиции: «Через леса, через моря колдун несет богатыря» или «Королевич мимоходом пленяет грозного царя». Сохранилась литография Гагарина 1833 года, где помимо перечисленных мотивов изображены «Тридцать витязей», «Ступа с Бабою-Ягой» и др. Все персонажи помещены на одном листе, друг над другом. Это своего рода гриффонаж, — «развитие фантазии, когда рисунок часто увеличивается множеством новых лиц и аксессуаров, непредвиденных даже самим художником».

Само слово «гриффонаж» пришло в русский язык из французского. Недаром люди, подобные Пушкину и Гагарину, не только изъяснялись, но и думали по-французски. Griffonage в переводе означает каракули, бумагомаранье, «бессвязное маранье».

Среди бессвязного маранья  
Мелькали мысли, примечанья,  
Портреты, буквы, имена  
И чисел тайных письма, —

описывал поэт альбом Евгения Онегина. Немало грифонажей оставили после себя К. П. Брюллов, А. О. Орловский, Г. Г. Гагарин. Любил их и Пушкин; на страницах его черновых рукописей — множество профилей, фигур и пейзажей.

Гагарин выполнял иллюстрации и к «Сказкам» поэта. 19 июля 1833 года художник сообщил матери: «Пушкин написал новые Сказки в стихах для того, чтобы я сделал к ним виньетки. Издание 1-й сказки принесет нам 30 000 р., которые мы разделим между собой. Он так восхищен моими виньетками, что это вернуло ему вдохновение». Под «виньетками» подразумевались иллюстрации к «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о мертвой царевне».

Вскоре Пушкин передал Гагарину рукописи своих стихотворений «Гусар» и «Пред испанкой благородной...», к которым также были выполнены рисунки и акварель, а несколько позже художник сделал иллюстрации к «Пиковой даме» («Германн у гроба графини») и проект обложки будущего издания (офорт). На титульном листе надпись: вверху — «Повести А. С. Пушкина»; внизу — дата «MDCXXXIV» (1834); в центре помещено изображение «Германн перед графией».

Известно, что при дворе находили сходство между пушкинской графией и княгиней Натальей Петровной Голицыной, которую считали ее прототипом. И поэт, и художник на светских приемах не раз наблюдали согбенную фигуру «Princesse Moustache» — «усатой княгини», как обычно называли ее в ту пору за седую щетину, пробивавшуюся над верхней губой. Хорошо зная княгиню и, как многие, полагая, что именно она была прототипом героини «Пиковой дамы», Гагарин все же не сообщил ее изображению портретных черт. И это не случайно. Он руководствовался не столько этическими, сколько эстетическими соображениями, создавая обобщенный типический образ. После смерти поэта худож-

ник иллюстрировал и другие его произведения, в частности «Бахчисарайский фонтан».

Отвечая критикам «Руслана и Людмилы», поэт вспомнил имя и другого художника — А. О. Орловского. Пушкин заметил, что его собственное перо следует сравнивать не с «кистью», а с «карандашом» Орловского, рисунки которого были необычайно живы, разнообразны и отличались остротой видения.

Бери свой быстрый карандаш,  
Рисуя, Орловский, ночь и сечу! —

писал поэт в «Руслане и Людмиле». Легкая, непосредственная и экспрессивная манера художника импонировала Пушкину, который не только в поэме, но и в своих графических набросках использовал быстрый карандашный штрих.

В дневнике Н. Малиновского сохранилась запись о вечере у Ф. В. Булгарина 9 января 1828 года. Среди гостей были Пушкин, Мицкевич, Орловский и др. В то время как Мицкевич читал или импровизировал, Орловский рисовал присутствовавших.

После встреч поэта с художниками часто появлялись либо четверостишие, либо пространное стихотворное посвящение. В свою очередь, и художники не оставались в долгу. Так произошло и весной 1828 года. 9 мая Пушкин провожал за границу одного из своих приятелей — полковника в отставке конногвардейца К. А. Полторацкого, одного из тверских знакомых поэта. Одновременно уезжала лечиться за границу и Л. К. Виельгорская, так что Пушкин мог провожать сразу обоих. Ехать предстояло из Кронштадта, куда путешественников доставляли из Петербурга на пироскафе — небольшом парусном судне, имевшем и паровой двигатель. Провожающие прогуливались по палубе, раскланиваясь со знакомыми и беседуя с друзьями. Здесь, на пироскафе, и произошла встреча Пушкина с худож-

ником Джорджем Доу, создателем знаменитой портретной галереи героев Отечественной войны 1812 года в Зимнем дворце. Результатом этой встречи был портрет поэта, сделанный Доу тут же с натуры. Этому событию посвящены известные строки Пушкина:

Зачем твой дивный карандаш  
Рисует мой арапский профиль?  
Хоть ты векам его предашь,  
Его освищет Мефистофель.

Рисуй Оленной черты.  
В жару сердечных вдохновений,  
Лишь юности и красоты  
Поклонником быть должен гений.

На рукописи дата: «9 мая 1828 г. Море».

К сожалению, местонахождение портрета, исполненного Доу, неизвестно. По-видимому, художник увез рисунок с собой в Англию и след его затерялся. Во всяком случае, среди бумаг Доу находился перевод пушкинского стихотворения на английский язык. Безусловно, он был предназначен не для самого Доу, который хорошо владел русским, а для его друзей; им, очевидно, показывали портрет поэта и одновременно знакомили со стихами, обращенными к его создателю.

Пушкин постоянно интересовался художественной жизнью Петербурга. Он посещал мастерские и студии, бывал в Академии художеств. В сентябре 1836 года в ее залах открылась традиционная осенняя выставка. Русские живописцы и скульпторы демонстрировали на ней свои творческие достижения. Рядом со статуей «Играющего в бабки» Н. С. Пименова помещалась статуя «Играющего в свайку» А. В. Логановского; присланная из Италии картина Ф. А. Бруни «Медный змий» соседствовала с «Явлением Христа Марии Магдалине» А. А. Иванова, портреты работы О. А. Кипренского и пейзажи М. Н. Воробьева, М. И. Лебедева, И. К. Айвазовского разнообразили экспозицию.

«Художественная газета», издаваемая Н. В. Кукольниковом, опубликовала обзорную статью, где поместила восторженные отзывы о произведениях, экспонировавшихся на выставке. Некоторым из них критика уделила особенное внимание. В частности, это касалось скульптурных работ.

«Приветствуем вас, истинно русские произведения! — писал Н. В. Кукольник. — Приветствуем с любовью к настоящему, с надеждами на будущее; мы говорим о двух статуях: играющие в свайку и в бабки. Присутствие, а еще более самое исполнение этих народных статуй приятно изумило публику. Никто не миновал их, не вкусив безотчетного удовольствия.

«Играющий в свайку» Логановского, юноша стройный, молодой, во всей поре юности, ведет игру, не требующую особого напряжения; напротив, ловкость его, небрежная по наружности, есть следствие навыка; усилия никакого. Он покоен, уверен в ударе. Лепка играющего в свайку прекрасна; играющий в бабки Пименова — уже муж зрелый, крепкий, сильный. Игра заставляет его принять положение более напряженное, и выбор этого положения удачен... Эти статуи, говорят, соперницы, но Боже меня сохрани сесть на судейское кресло...

Эти изваяния имеют и литературные достоинства. А. С. Пушкин почтил их античными четверостишиями, которыми, с обязательного согласия автора, мы имеем удовольствие украсить наше издание. Эти четверостишия равно принадлежат как отечественной литературе, так и отечественным художествам.

1.

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ

Юноша, полный красы, напряженья, усилий  
чуждый,

Строен, легок и могуч, — тешится быстрой  
игрой!





и не болею ли на севере... Мы, все ученики, проводили дорогих гостей до подъезда, ...а я вдобавок был им любезно принят и приглашен к нему ласковой и любезной красавицей Натальей Николаевной, которая нашла почему-то во мне тогда сходство с портретами ее славного мужа в молодости». Сходство Айвазовского с Пушкиным отмечали и другие современники. В Государственном Русском музее сохранился профильный портрет художника, который и поныне доказывает это со всей очевидностью.

Встреча на академической выставке 1836 года не была единственной. Позднее, но в том же 1836 году, Айвазовский встретил как-то Пушкина, идущего вместе с В. А. Жуковским по улице. Оба они остановились, чтобы перемолвиться с молодым живописцем. «С тех пор и без того любимый мною поэт сделался предметом моих дум, вдохновения и длинных бесед и расспросов о нем», — писал позднее Иван Константинович. Став уже маститым художником, на склоне лет он написал воспоминания о встречах с Пушкиным. Художественное наследие мастера включает в себя несколько картин, посвященных поэту.

Среди них «Пушкин с семьей Раевских по дороге в Гурзуф из Ташкента на берегу у Кучук-Ламбата». Рассказы об этом путешествии Айвазовский слышал от Н. Н. Раевского. Он изобразил тот момент, когда поэт в немом восторге любит юной Марией Раевской, убегающей от морских волн.

Как я завидовал волнам,  
Бегущим бурной чередою  
С любовью лечь к ее ногам!  
Как я желал тогда с волнами  
Коснуться милых ног устами!

Другая картина — «Пушкин у Гурзуфских скал» — представляла лунную ночь. На берегу, на высокой скале в глубокой задумчивости стоит поэт. Вдали виден



следствии учеником И. П. Мартоса. Пушкин посетил его мастерскую в Академии художеств в 1836 году. Мастерские художников и скульпторов, расположенные в здании Академии бок о бок с залами, оказались также доступны посетителям. Специального, предварительного знакомства с хозяином мастерской не требовалось. В 1836 году в мастерской Орловского выполнялся заказ Николая I на памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли. Заказ был ответственный, поэтому еще в самом начале его исполнения, в 1829 году, президент А. Н. Оленин сделал указание: «...чтоб все фельдмаршала были представлены:

1. пешими, в форменных мундирах;

2. для живописного эффекта драпировать их плащами, употребляя брюки или рейтузы для нижнего их платья; сверх того им можно будет придать некоторые приличные обстоятельства принадлежности для лучшей постановки фигур».

Статуи полководцев вскоре должны были занять место на площади перед Казанским собором.

Когда Пушкин заглянул в мастерскую Орловского, работа уже подходила к концу. Среди многочисленных гипсовых копий «богов, богинь и героев», заполнявших помещение, высились колоссальные модели памятников полководцев. Оба фельдмаршала были представлены во весь рост. Русская военная форма, генеральские плащи, ниспадающие с плеч и словно переходящие в полотнища поверженных французских знамен у основания статуй,— все придает образам значительность и монументальность. Однако задача скульптора не ограничивалась лишь внешней репрезентативностью. Пластическими средствами Орловскому удалось передать и суровый наступательный порыв, который неотделимо связывался у современников с личностью Кутузова, и глубокую внутреннюю сосредоточенность Барклая, вызывающую сложные ассоциации. Кажется, в противовес действен-

ности Кутузова скульптор сообщил образу Барклая некоторые черты рефлексии. Его слегка склоненная вниз голова, бессильно упавшая рука, некогда раненная при Прейсиш-Эйлау, а теперь задрапированная плащом, небрежный жест другой руки, держащей маршальский жезл,— все несет отпечаток трагедии сильной и мыслящей личности, недооцененной современниками. Душевная драма полководца, отстраненного от дел, который

...на полпути был должен наконец  
Безмолвно уступить и лавровый венец,  
И власть, и замысел, обдуманый глубоко,

явственно прочитывается в образе Барклая, созданном Орловским. Очевидность противопоставления образов, чутко уловленная Пушкиным в работах скульптора, объясняет брошенную им крылатую фразу, исторически вознаграждающую полководца: «Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель — Кутузов».

Воздавая хвалу художнику от имени уже почившего Дельвига («Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!»), поэт включал Орловского в круг своих единомышленников. Ни Дельвиг, которого Пушкин назвал «другом художников», ни сам поэт не оставили систематического изложения своих взглядов на изобразительное искусство, но их постоянное стремление к миру художников красноречивее теоретических трактатов. Недаром академик М. П. Алексеев говорил, что союз Пушкина и Дельвига был «братством во имя искусства и поэзии».

Особого внимания заслуживает общение А. С. Пушкина с К. П. Брюлловым. Оба они были ровесниками; оба воспитывались в специальных закрытых учебных заведениях; для обоих стал знаменательным 1813 год — год утверждения пробудившихся талантов. В это время четырнадцатилетний лиценст Александр Пушкин опубликовал в «Российском музее» и «Вестнике Европы»

первые свои стихотворения, а воспитанник Академии художеств Карл Брюллов был удостоен первой в своей жизни медали за рисунок с натуры.

В ранней молодости встретиться им не пришлось, а в 1822 году Брюллов отправился за границу для совершенствования в мастерстве живописца. Вернулся в Петербург он лишь в 1836 году — меньше чем за год до смерти Пушкина.

Однако с произведениями Брюллова знакомство поэта произошло гораздо раньше. В конце мая 1827 года после семилетнего отсутствия опальный поэт возвратился из Михайловского в столицу. Современник Пушкина А. С. Андреев, однажды встретивший поэта на Невском проспекте, вспоминал: «Одежда на нем была вовсе не петербургского покроя, в особенности же картуз престранного вида». Под руку с Пушкиным шел Дельвиг. Оба они спешили к дому Марса (ныне Невский, 46), где помещалась выставка Общества поощрения художников. Здесь, наряду с произведениями других живописцев, экспонировалась картина Брюллова «Итальянское утро».

О произведении Брюллова много говорили и писали. «Отечественные записки» видели в нем «свидетельство первоклассного таланта... молодого артиста». «Картина сия заключает в себе истинное волшебство кисти,— писал критик,— девушка, встрепенувшаяся от сладкого сна, бежит к фонтану освежиться водой. Она подставила обе ручки под желобок и с нетерпением ждет, как они наполняются водой. На сию последнюю устремлено все ее внимание... Меж тем лучи восходящего солнца пробиваются, как через янтарь, сквозь прелестное ушко ее. Это совершенное очарование!»

Картина была уже приобретена для Зимнего дворца, и вскоре, чтобы увидеть ее, потребовалось бы специальное разрешение. Именно поэтому Дельвиг спешил показать Пушкину творение художника, о котором поэт

доселе не слышал, но чье имя уже было на устах всех любителей изящного искусства.

Сразу же, не останавливаясь у других картин, Пушкин прошел к «Итальянскому утру». Долго и молча стоял перед работой Брюллова. «Странное дело,— вымолвил он наконец,— в нынешнее время живописцы приобрели манеру выводить из полотна предметы и в особенности фигуры (т. е. окончательно отделявать и передавать световоздушную среду.— *Авт.*); в Италии это искусство до такой степени утвердилось, что не признают того художником, кто не умеет этого делать».

Потом, вновь замолчав, Пушкин еще долго смотрел на картину. Он отступил шаг назад и, усмехнувшись, сказал: «Хм. Кисть, как перо: для одной — глаз, для другого — ухо. В Италии дошли до того, что копии с картин столь делают похожими, что ставя одну оборот другой, не могут и лучшие знатоки отличить оригинала от копии. Да, это как стихи, под известный кондаис можно их наделать тысячи, и все они будут хороши. Я ударил об наковальню русского языка — и все начали писать хорошо».

«В это время,— вспоминал А. С. Андреев,— он взглянул на Дельвига, и тот с обычной своей скромностью и добродушием, потупя глаза, ответил: „Да“».

Познакомившись с картиной Брюллова, Пушкин оценил подлинное мастерство и талант ее создателя. Неудивительно, что в 1834 году, когда в Петербург на корабле «Царь Петр» было доставлено знаменитое полотно художника «Последний день Помпеи», Пушкин проникся желанием видеть его. Свое впечатление он выразил в стихотворении:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом —  
пламя

Широко развилось, как боевое знамя,  
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн  
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,  
Под каменным дождем, бежит из града вон.

Стихи были написаны на небольшом листке. Под ними Пушкин сделал рисунок с одной из центральных групп картины: юноши, несущие на плечах старика-отца. И стихи, и рисунок были изданы после смерти поэта. Неизвестно, успел ли Пушкин показать их Брюллову или нет, но, как бы то ни было, они являются свидетельством внимания, с которым поэт относился к художнику еще задолго до непосредственного знакомства.

Первая их встреча произошла в Москве в 1836 году. Брюллов, вытребованный Николаем I из-за границы в Петербург, проездом задержался у своих московских знакомых. Здесь он писал портреты, делал эскизы будущих картин. В столицу не торопился: опасение потерять независимость и превратиться из свободного художника в чиновника, затянутого в академический мундир, отпугивало его. В Москву же в ночь на 3 мая приехал Пушкин. Восторженные отзывы в письмах П. В. Нащокина предшествовали их встрече. Сразу же по приезде поэт поспешил разыскать художника. «Я успел уже посетить Брюллова,— писал он Наталье Николаевне 4 мая.— Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего...»

И в письме от 16 мая: «Зазываю Брюллова к себе в Петербург.— Но он болен и хандрит...» В другом письме он продолжает: «...Брюллов сейчас от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уже полицейские выговоры и мне говорили: vous avez trop ré et тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона;

черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».

Беседы с Брюлловым всколыхнули в Пушкине горькие мысли. Оба они, и поэт, и художник, находились в равно безвыходном положении. Холодное дуновение, исходившее из Зимнего дворца, преследовало повсюду, как бы далеко от столицы они ни оказывались. Среди гостеприимных, «рассыпчатых» москвичей с их хлебо-сольем и радушием петербуржцы не могли не думать о том, что в скором времени ждет их на берегах Невы. Возвращение туда для Брюллова означало потерю независимости. Николай I мог распорядиться судьбой художника, как ему заблагорассудится. «Он чину мелкого... Что он Гений, нам это нипочем»,— писал Пушкину П. В. Нащокин.

Но повеление царя обязывало, ехать было необходимо, и Брюллов собрался. Он выехал из Москвы дилижансом 18 мая; вслед за ним отправился и Пушкин.

23 мая жители столицы, просматривая утренние «Прибавления к „Санкт-Петербургским ведомостям“», узнали, что в город прибыл «Академии художеств почетный вольный общник Карл Брюллов». Днем позже возвратился Пушкин. Поэт сразу же поспешил к семье, на дачу, которая находилась на Каменном острове. У Брюллова собственного жилища пока не было. Академия хотя и ждала своего прежнего воспитанника, но полагающейся ему квартиры не приготовила. Выручил художника близкий приятель Пушкина, острослов и «неизвестный сочинитель всем известных эпиграмм» С. А. Соболевский, который был хорошо знаком Брюллову еще по Италии. Он предложил ему поселиться в своей пустующей квартире; обитатели ее большую часть времени проводили на даче, а вскоре и вовсе собирались уехать за границу.

Квартира Соболевского помещалась в доме Таля на Невском проспекте, против Малой Морской (ныне Нев-



ский пр., 6). Это был трехэтажный дом с балконом над проездной аркой и большими прямоугольными окнами, украшенными сандриками. Он сохранился в перестроенном виде. Сюда Пушкин и его друзья, жившие на Каменном острове, отправили Брюллову приветствие по поводу праздника, устроенного Академией 11 июня в честь возвращения художника.

Отсюда же, как-то неожиданно нагрянув, Пушкин увез Брюллова к себе на дачу. «Вскоре после того, как я приехал в Петербург,—вспоминал Карл Павлович,—вечером ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отказывался, но он меня переупрямил и утащил с собой. Дети Пушкина уже спали, он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Не шло это к нему, было грустно, рисовало предо мною картину натянутого семейного счастья, и я его спросил: «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал: „Я хотел ехать за границу — меня не пустили, я попал в такое положение, что не знал, что мне делать,—и женился“».

Много позднее, когда поэта уже не было в живых, Брюллов не раз с горечью говорил об этом. Он «не мог равнодушно вспоминать, что Пушкин не был за границей,—писал М. И. Железнов,—и при мне сказал г. Левшину, генералу с двумя звездами: «Соблюдение пустых форм всегда предпочитают самому делу. Академия, например, каждый год бросает деньги на отправку за границу живописцев, скульпторов, архитекторов, зная наперед, что из них ничего не выйдет. Формула отправки за границу считается необходимою, и против нее нельзя заикнуться, а для развития настоящего таланта никто ничего не сделает. Пример налицо — Пушкин. Что он был талант — это все знали, здравый смысл подсказывал, что его непременно следовало отправить за границу, а... ему-то и не удалось там побывать, и только потому, что его талант был всеми признан».

Тема бегства из России, очевидно, не раз служила предметом бесед между поэтом и художником. Она была близка обим, и здесь они стали единомышленниками. Тоска по «адриатическим волнам» проходит через многие произведения Пушкина. Брюллов также рвался в Италию все то время, что ему пришлось жить в Петербурге. Зависимое положение угнетало его, как угнетало оно и Пушкина. Несмотря на славу и внешний блеск, художника преследовало постоянное ощущение внутреннего кризиса. Успех росписи Исаакиевского собора не мог искупить неудачи с неоконченной картиной «Осада Пскова». Исторический живописец, он после Италии вынужден был замкнуться в рамках портрета и не создал ничего значительного в историческом жанре. «Не могу работать в Петербурге»,— резюмировал художник свое состояние. А ведь еще недавно, в Москве, Пушкин прочил славу его будущей картине «Нашествие Гензериха на Рим». Поэт с интересом рассматривал начатый Брюлловым эскиз: дикие толпы вандалов с гиканьем на бешеных скакунах врывались в Рим и растекались по его улицам. Пушкин сказал, что картина, выполненная по этому эскизу, может стать «выше Помпеи». «Сделаю выше!»— отвечал Брюллов. Тогда же произошел и знаменательный разговор по поводу сюжетов для исторических картин. Именно в 1836 году поэт особенно интересовался русской историей. Незадолго до этого вышла в свет «История Пугачева», создавалась «Капитанская дочка». «Пушкин предлагал Брюллову сюжет из жизни Петра Великого»,— писал Н. А. Рамазанов. Художник его «слушал с почтительным вниманием. Когда Пушкин кончил, Карл Павлович сказал: «Я думаю, вот какой сюжет просится под кисть»— и начал объяснять кратко, ясно, с увлечением поэта, так что Пушкин завертелся и сказал, что он видит картину, писанную перед собой». Огненная речь Брюллова поразила его.

Пушкину очень хотелось иметь портрет Натальи Ни-

колаевны кисти Брюллова. «У меня, брат, такая красавица жена,—передавал слова поэта Рамазанов,— что будешь стоять на коленях и просить снять с нее портрет». В свою очередь 4 мая он писал Наталье Николаевне: «У него [Брюллова] видел я несколько начатых рисунков и думал о тебе, моя прелесть. Неужто не будет у меня твоего портрета, им писанного? Невозможно, чтобы он, увидя тебя, не захотел срисовать тебя; пожалуйста, не прогони его, как прогнала ты пруссака Криндера. Мне очень хочется привезти Брюллова в Петербург. А он настоящий художник, добрый малый и готов на все».

Желание Пушкина осталось неосуществленным. Как модель Наталья Николаевна не заинтересовала Брюллова, а в таких случаях он никогда не брался за работу. Даже Николай I не смог добиться от художника окончания своего портрета.

В Петербурге поэт не раз посещал мастерскую Брюллова. 11 ноября 1836 года ученик художника А. Н. Мокрицкий записал в своем дневнике: «...зашел я к Брюллову... у него застал Жуковского, Пушкина и барона Брамбеуса. «Хороший квартет»,— подумал я, глядя на них». Можно предположить, что эта оценка иронична и художник хотел лишь подчеркнуть несовместимость «квартета».

Позднее в своих «Воспоминаниях» Мокрицкий рассказывал другой эпизод, датированный им 25 января 1837 года, т. е. двумя днями ранее роковой дуэли Пушкина: «Сегодня в нашей мастерской было много посетителей, это у нас не редкость, но, между прочим, были Пушкин и Жуковский. Сошлись они вместе, и Карл Павлович угощал их своей портфелью и альбомами. Весело было смотреть, как они любовались и восхищались его дивными акварельными рисунками, но когда он показал им недавно оконченный рисунок: «Съезд на бал к австрийскому посланнику в Смирне», то восторг их

выразился криком и смехом. Да и можно ли глядеть без смеха на этот прелестный, забавный рисунок? Смирнский полицмейстер, спящий посреди улицы на ковре и подушке,--- такая комическая фигура, что на нее нельзя глядеть равнодушно. Позади него, за подушкой, в тени, видны двое полицейских стражей: один сидит на корточках, другой лежит, упершись локтями в подбородок и болтая босыми ногами, обнаженными выше колен, эти ноги, как две кочерги, принадлежащие тощей фигуре стража, еще более выдвигают полноту и округлость форм спящего полицмейстера, который, будучи изображен в ракурс, кажется оттого еще толще и шире. Пушкин не мог расстаться с этим рисунком, хохотал до слез и просил Брюллова подарить ему это сокровище, но рисунок принадлежал уже княгине Салтыковой, и Карл Павлович, уверяя его, что не может отдать, обещал нарисовать ему другой. Пушкин был безутешен: он с рисунком в руках стал перед Брюлловым на колени и начал умолять его: «Отдай, голубчик! Ведь другого ты не нарисуешь для меня, отдай мне этот». Не отдал Брюллов рисунка, а обещал нарисовать другой. Я, глядя на эту сцену, не думал, что Брюллов откажет Пушкину. Такие люди, казалось мне, не становятся даром на колени перед равными себе. Это было ровно за четыре дня до смерти Пушкина».

По свидетельству того же Мокрицкого, Брюллов после смерти поэта горько упрекал себя за то, что не отдал ему рисунка. Другой ученик художника, М. И. Железнов, добавлял: «Я не понимаю, почему Мокрицкий передавал это обстоятельство без конца, который он сам мне рассказывал и который, по-моему, очень важен. Брюллов не отдал Пушкину рисунка, сказав, что рисунок уже продан княгине Салтыковой, но обещал Пушкину написать с него портрет и назначил время для сеанса. На беду, дуэль Пушкина состоялась днем ранее назначенного срока».

То, чего не мог понять Железнов, по-видимому, надо объяснить следующими обстоятельствами. «Воспоминания» Мокрицкого появились в печати в 1855 году, вскоре после смерти Брюллова. В то время вокруг его имени велись самые горячие споры, высказывались крайне противоречивые мнения. По свидетельству одного из мемуаристов, в обществе зародилось «сомнение... относительно гениальности Брюллова, а от сомнения до отрицания всего один шаг». Ученики художника сочли себя обязанными предупредить этот шаг. «Мы,— писал Н. А. Рамазанов,— отобраз подробные сведения о Брюллове, постараемся передать со временем публике верное и беспристрастное жизнеописание многолюбивого и многопочтительного оставившего нас гения». Подобное жизнеописание дал в своих «Воспоминаниях о К. П. Брюллове» Мокрицкий. Реальные факты преломляются в нем сквозь призму авторской экзальтации. Имени художника постоянно сопутствуют эпитеты «великий», «знаменитейший», «гениальный». Эпизод с коленопреклоненным Пушкиным также возвышал Брюллова и не только ставил знак равенства между ними, но и несколько приподнимал художника над поэтом, подчеркивая его преимущество в данной ситуации.

Следует учесть, что этот случай, введенный в «Воспоминания» с точным указанием даты — «25 января», отсутствует в «Дневнике» Мокрицкого. Не принадлежит ли он к числу «отобранных», как то рекомендовал Н. А. Рамазанов, или просто сомнительных? Ведь никто другой из мемуаристов о нем не упоминает, а, по словам Мокрицкого, в тот день в мастерской присутствовало много народа, и необычное зрелище коленопреклоненного Пушкина должно было запомниться по крайней мере еще кому-нибудь.

Более того, из «Дневника» Мокрицкого мы узнаем, что Брюллов в этот период был тяжело болен. «18 числа... (Карл Павлович.— Авт.) возвратился от Кукольни-

ка... лег в постель, и вот с этого дня болезнь постепенно усиливалась и довела его до такого положения, в каком он еще не был,— он был очень плох, но благодаря искусству доктора Пеликана... вот уже третий день... чувствует себя гораздо лучше»,— писал Мокрицкий 31 января. Вряд ли столь тяжело больной художник мог в эти дни принимать у себя большое общество.

Итак, известие о гибели Пушкина застало Брюллова больным. Из дому он не выходил. Проститься с поэтом отправился Мокрицкий. Вернувшись в мастерскую, он принес с собой рисунок: поэт лежал одетый в старый поношенный сюртук, голова его покоилась на подушке, две восковые свечи горели ровным тихим огнем.

Мокрицкий застал у Брюллова актера П. Каратыгина. Тот был взволнован: день отпевания поэта совпал с его бенефисом,— должен был идти «Скупой рыцарь» Пушкина. Каратыгин решил перенести бенефис на следующий день. «Но пьесы этой играть не будут!» — с прозорливостью писал А. И. Тургенев. Сочувствуя Каратыгину, Мокрицкий подарил ему свой рисунок.

В мастерскую Брюллова приходили Жуковский, Краевский, который заведовал корректурой пушкинского «Современника», говорили о последних днях поэта, читали найденные в рукописях «Русалку», «Каменного гостя», «Отцов пустынников».

Художник «читал его стихотворения, восхищался каждой строкой и каждой мыслью знаменитого поэта». «Завидую его кончине»,— записал Мокрицкий в дневнике слова Брюллова.

Друзья поэта задумали издать полное собрание его сочинений. Брюллов вызвался сделать фронтиспис. Намерение это художник осуществил лишь отчасти. В карандашном наброске изобразил он Пушкина сидящим на высокой скале с лирой в руках. Тени великих поэтов и аллегорические фигуры России и Поэзии окружают его. Брюллов «хотел изобразить Пушкина... на скале

Кавказских гор, посреди величественной кавказской природы...» — писал Мокрицкий. Фронтиспис был данью Брюллова памяти Пушкина.

Позднее художник написал картину на сюжет пушкинского «Бахчисарайского фонтана». Он изобразил «робких жен» Гирея в саду у бассейна, следящими за движениями рыб в воде. В картине нет драматизма, свойственного поэме, идиллические, зрительно чувственные настроения делают ее живописной иллюстрацией к стихам:

Беспечно ожидая хана,  
Вокруг игривого фонтана  
На шелковых коврах оне  
Толпою резвою сидели  
И с детской радостью глядели,  
Как рыба в ясной глубине  
На мраморном ходила дне.  
Нарочно к ней на дно иные  
Роняли серьги золотые.

В память о поэте художник поставил у себя в мастерской его «вызолоченный» бюст и позднее, уже из Италии, спрашивал в письме, цел ли этот бюст, в порядке ли он.

Брюллов не только хорошо относился к Пушкину как к человеку, он глубоко чтил его талант, мастерство; а цену мастерству он знал, как никто.

### Свидетели последних лет



большую семью Карамзиных лицеист Пушкин вошел летом 1816 года, когда историографу предоставили в Царском Селе «кавалерский домик» на Садовой улице близ Лицея.

Юный Пушкин проводил у них «свободное время свое во все лето» 1816 года. По воспоминаниям друзей историка, он любил гулять и играть с детьми

Андреем, Софьей и Екатериной, резвился, шалил и уни-  
мался лишь тогда, когда Николай Михайлович строго  
глядел на него или делала замечание Екатерина Андре-  
евна.

По окончании Лицея, в 1817—1820 годах, Пушкин  
часто гостил в петербургской квартире Карамзиных.  
Здесь он встречался и с бывшими участниками своих  
юношеских шалостей.

В 1826 году, когда Пушкин находился в ссылке, Ка-  
рамзина не стало. После его смерти друзья и знакомые  
продолжали навещать его вдову, и в доме Екатерины  
Андреевны возник литературный салон, ставший на дол-  
гие годы одним из культурных центров столицы. Вскоре  
его душой стала старшая дочь историка София Никола-  
евна КАРАМЗИНА. В шутку ее называли «Самовар-  
паша» — в ее обязанность входило разливать чай за  
круглым столом, вокруг которого рассаживались гости.  
На одном вечере ей пришлось налить 138 чашек чая.  
«Мне чуть-чуть не стало дурно!» — вспоминает София  
Николаевна.

«Рекамые этого салона,— пишет И. И. Панаев,—  
была С. Н. Карамзина». По выражению одного из совре-  
менников, она доводила «умение обходиться в обществе  
до степени искусства и почти добродетели. В Софии  
Николаевне общительность была страстью». «...Она ни-  
когда не была хорошенькой, но под этой некрасивой  
оболочкой скрывалась какая-то обаятельность, какая-то  
женственная грация или лучше сказать грация мотыль-  
ка; грация мотылька чувствовалась и в ее уме», — вспо-  
минает одна из современниц.

В альбом ей писали стихи Пушкин и Баратынский,  
Вяземский и Хомяков, Ростопчина. Впоследствии там  
появилось и стихотворение Лермонтова «Любил и я  
в былые годы». В обращенной к ней строке «Любил я  
парадоксы ваши...» поэт отдает должное остроумию  
Софии Николаевны. Его отношения с ней были согреты



чувством настоящей дружбы. Поэт бывал в салоне Карамзиных уже после смерти Пушкина.

Несмотря на широкий круг светских знакомств, она не вышла замуж. На ней как бы держались все семейные связи Карамзиных.

Трагическая смерть брата Андрея и события войны 1854—1855 годов губительно сказались на ней: она умерла от тяжелого нервного расстройства 4 июля 1856 года.

Возвратившись из ссылки, в свои наезды в Петербург Пушкин возобновил дружеские отношения с осиротевшей семьей историка. С конца мая 1827 года и до последних минут жизни поэта они «видят Пушкина постоянно», знают об увлечениях, успехах и неудачах его. Особенно близко сошелся поэт с Софией Николаевной. Он вписал в 1827 году в ее альбом стихотворение «В степи мирской, печальной и безбрежной...» — одно из самых глубоких и горестных признаний пушкинской лирики двадцатых годов:

В степи мирской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробилсь три ключа:  
Ключ Юности, ключ быстрый и мятежный,  
Кипит, бежит, сверкая и журча.  
Кастальский ключ волною вдохновенья  
В степи мирской изгнанников поит.  
Последний ключ — холодный ключ Забвенья,  
Он слаще всех жар сердца утолит.

Своей альбомной записи поэт придал ироническую внешность: последний стих в ней оборван и, после шуточного обращения к самой Софии Николаевне: «*Achevez le vers comme il vous plait!*» (закончите стих как вам будет угодно.— *Авт.*), окончание дано на другой странице со словами: «*le voilà*» («вот он».— *Авт.*). Этот шуточный диалог как бы прикрывает глубокое и очень серьезное значение всего стихотворения.

Поселившись с 1831 года в Петербурге, поэт чаще стал наведываться к Карамзиным.

Наталья Николаевна постоянно бывала в обществе Софии Николаевны. В письме к брату, лечившемуся за границей, 19 сентября 1836 года София сообщает, что среди гостей «были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три — ослепительные изяществом, красотой и живообразимыми талиями)». Вместе с ней сестры Гончаровы совершали верховые прогулки — София была страстной наездницей. Не случайно Пушкин в письме спрашивал Вяземского: «Что София Николаевна? царствует на седле?»

На ее глазах прошли последние, самые тяжелые годы жизни Пушкина. Она стала не только близкой свидетельницей, но и участницей трагических событий, которые привели поэта к гибели.

Постоянно встречаясь дома и в обществе с Пушкиным и Дантесом, она с протокольной точностью описывала в письмах к брату Андрею ситуацию, которая складывалась вокруг поэта. Отсутствие вдумчивости и проницательности лишили Софию Николаевну возможности понять драму, которая разыгрывалась у нее на глазах. Об этом свидетельствуют содержащиеся в письмах характеристики персонажей и их роль, трактовка преддвуэльных событий. Дантес, друг ее братьев, в доме Карамзиных бывал почти ежедневно, «молодой, красивый, дерзкий (теперь богатый)», а на Пушкина «жалко было смотреть: молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как все это глупо!» — восклицает София Карамзина. Для нее «все это по-прежнему очень странно и необъяснимо», «это какая-то непрерывная комедия!». Особенно ярко сказалось это легкое, поверхностное восприятие в описании свадьбы Дантеса. И только трагическая развязка заставила пересмотреть свое отношение к происшедшему и горестно заново все прочувствовать и понять. В ее посланиях, написанных после смер-

ти Пушкина, содержится уже иная, резко изменившаяся оценка происшедших событий.

София Николаевна увидела и описала народное горе «никому не известных людей». Она поняла, что существуют два общества: «наше» — враждебное Пушкину, где защищают Дантеса, и другое — «второе», где оплакивают великого поэта и возмущаются его убийцей. Оно проявляет «столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться!». Эти строки — главные свидетельства той переоценки, которая произошла в представлениях Софии Николаевны. В ее письме сохранился взволнованный рассказ Жуковского о неизвестном старике, плакавшем у гроба Пушкина: «Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. „Зачем вам,— ответил он,— Пушкин меня не знал, и я его не видел никогда, но мне грустно за славу России“».

Но София Николаевна не могла до конца осмыслить роль Дантеса и просила в письме к брату: «Будь великодушен и деликатен... Он уже достаточно наказан». Так даже самые близкие друзья и непосредственные свидетели не могли понять до конца трагических обстоятельств гибели Пушкина.

В салоне Лавалей с 16 мая 1828 года в присутствии А. Мицкевича, А. С. Грибоедова, П. А. Вяземского Пушкин прочел свою трагедию «Борис Годунов». Среди гостей были, как вспоминает Вяземский, юноши — Андрей и Александр Карамзины. Трагедия произвела огромное впечатление на присутствовавших, и несомненно, что сыновей историка, выросших в литературной среде, среди суждений о работе отца и исторических споров, среди старинных летописей и книг, историческая трагедия Пушкина должна была особенно заинтересовать. Пушкин сблизился с молодыми Карамзиными в тридцатые годы.

Братьев связывала большая любовь, тесная дружба. Они вместе поступили в Дерптский университет на кафедру дипломатики юридического факультета и закончили его в 1833 году. Но свою карьеру начали на военной службе — прапорщиками лейб-гвардии конной артиллерии.

Они постоянно участвовали на дружеских собраниях в салоне Екатерины Андреевны, общались с литераторами, поэтами, композиторами, музыкантами и художниками.

Весной 1836 года их имена стояли рядом с именем Пушкина в «Списке лиц, желающих участвовать в издании журнала „Северный зритель“».

Когда Пушкин, считая, что молодой писатель В. Соллогуб был недостаточно вежлив с Натальей Николаевной, решил вызвать его на дуэль, посредником между ними был Андрей Николаевич КАРАМЗИН.

Тяжелое заболевание, угрожавшее чахоткой, заставило Андрея Николаевича взять заграничный отпуск. Весной 1836 года он выехал в Германию, объехал Швейцарию, Францию, Италию, жил подолгу в Париже и Риме, прошел курс лечения в Эмсе и Базене. В Россию вернулся только в октябре 1837 года.

Между Андреем и всей семьей велась оживленная переписка. Он хорошо владел эпистолярным слогом, то лирическим, то ироническим. В. А. Жуковский и А. И. Тургенев находили, что письма Андрея «иногда напоминают письма его отца», — высшая похвала в устах друзей.

Живой наблюдательный ум Андрея позволил ему описать красоты природы и памятники искусства, встречи с русскими художниками и свидание с Гоголем. Наиболее интересны письма из Парижа, где он бывал в салоне Рекамье, слушал выступления Шатобриана, посещал балы в Тюильри. Вращаясь среди аристократии русской и иностранной, он не скрывал к ней своего пре-

зрительного отношения. Но и жизнь демократической Франции, новейшая французская литература остались ему чужды.

Волнуясь за здоровье любимого сына и брата, родные посылали ему письма-дневники, в которых подробно описывали семейные радости и заботы, петербургскую жизнь, сообщали литературные новости, посылали книжные новинки, тома «Современника». Высоко ценивший творчество Пушкина, Андрей восхищался «Капитанской дочкой», называя ее «прелестной повестью», которая «выше всего современного, писанного в этом роде». Получив пятый, посмертный том «Современника», прочел «Медного всадника» и сожалел, что «лучшее выпущено».

Большое место в письмах 1836—1837 годов заняли сообщения о драме, разыгравшейся в семье Пушкина. Об этом писали ему сестра София, брат Александр и, наконец, Екатерина Андреевна. Известие о дуэли и смерти поэта он получил в Париже и тяжело переживал это трагическое событие. В своих суждениях Андрей обнаружил верное понимание общих, а не только частных причин, приведших к гибели Пушкина. Ему ясна была роль русской аристократии, которая, по его убеждению, являлась главным виновником трагедии.

«Поздравьте от меня петербургское общество, маменька,— писал он,— оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к гению и красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке... Бедная Россия! Одна звезда за другой гаснет на твоём пустынном небе!..»

Получив известие о том, как происходило отпевание тела Пушкина, Андрей не мог удержать своего негодования. «Быстро переменялись чувства в душе моей,— восклицает он в письме к матери и сестре.— Желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь впускали по билетам только la haute société (высшее об-

шество, аристократию.— *Авт.*) Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал ей?.. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше!»

Несомненно, что правильно разобраться в обстоятельствах трагической гибели поэта ему помогли прежде всего письма Александра. Разоблачая гнусную роль Дантеса, брат заклинал Андрея не подавать руки убийце Пушкина.

Но благодаря своему мягкому, уступчивому характеру Андрей не смог противостоять лицемерным объяснениям Дантеса, с которым встретился в Баден-Бадене в 1837 году, и возобновил с убийцей поэта светски-дружеские отношения.

Вернувшись в Россию, Андрей Карамзин продолжил военную службу. Но пустота и однообразие петербургской светской жизни его тяготили, и он перевелся в 1841 году в Кавказскую армию, а получив ранение, вернулся в столицу. В 1846—1847 годах он служил адъютантом при шефе жандармов А. Ф. Орлове. К этому времени относится и его женитьба на вдове богача П. Н. Демидова Авроре Шернваль-Демидовой. Пушкин встречался с Авророй Шернваль в свете и в 1832 году навещал ее в гостинице Демута. Сохранилась зарисовка собравшихся там гостей, сделанная Г. Г. Гагарным.

Выйдя в отставку в чине гвардии полковника, Андрей Николаевич жил в Нижнем Тагиле, управляя заводами и землями Демидова. На Тагильских заводах долго сохранялась о нем добрая память как о человеке гуманном и образованном. По словам писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка, годы его управления были лучшими страницами в истории заводов.

Вновь Карамзин вернулся на военную службу в 1854 году и получил назначение в гусарский полк Дунайской армии. 16 мая 1854 года он геройски погиб в схватке с турками.

Несколько иначе сложилась судьба Александра Николаевича КАРАМЗИНА.

Еще ребенком восьми лет он сочинил сказочку, которую В. А. Жуковский напечатал брошюрой в три странички с шутливым предисловием, сохранив все особенности детского правописания. В семье впоследствии прочли Александру литературное будущее.

В 30-е годы он посещал «субботы» Жуковского, дружески сблизился с Пушкиным. В письме Андрею сообщал, что дал несколько своих стихотворений в альманахах П. А. Вяземскому и В. Ф. Одоевскому. Впоследствии, с помощью Жуковского и П. А. Плетнева, он печатался в «Современнике», а позже — в «Отечественных записках». Но, не имея подлинного творческого дара, он следовал в стихах давно сложившимся и устаревшим традициям элегической школы двадцатых годов.

Его поэма «Борис Ульин» была опубликована в 1844 году. В ней явно чувствовалось подражание пушкинскому «Евгению Онегину». Положительная рецензия А. А. Краевского не могла спасти это слабое произведение. Отзываясь о своих поэтических опытах с иронией, он писал брату: «Я вообразил, что я поэт...— И далее: — Вся моя поэзия ушла к черту».

Но Александр Карамзин обладал тонким литературным вкусом и глубоко понимал и ценил творчество Пушкина, что было дано далеко не всем современникам. Живо интересуясь литературными новинками, он следил за пушкинским «Современником», сетуя, что у журнала всего семьсот подписчиков.

Он следил и за музыкальными новинками. Его огорчала невозможность достать билеты на премьеру оперы М. И. Глинки, которую ставили в день открытия Большого театра — 6 ноября 1836 года.

В письмах брату вырисовывается незаурядный характер Александра, но скептический и нелегкий. «Угрюмость — моя черта», — признается он. Александр зло вы-

смеивал светское общество, критически оценивал военную службу. Современники, вспоминая о его блестящем остроумии, отмечали, что он мог смешить собеседников «до конвульсий». Впоследствии Лермонтов, который был с ним дружен, в стихотворении «Любил и я в былые годы...» вспомнит «фарсу Саши».

Но по-настоящему личность Александра Карамзина раскрылась, когда с сердечной болью и страстным негодованием описывал он брату трагические обстоятельства дуэли и смерти Пушкина. В этих письмах выразилось все лучшее, что было в его душе и уме. Глубоко и верно поняв и оценив причины гибели поэта, он один из семьи Карамзиных и общих друзей последовательно и непримиримо обличал убийцу Пушкина и всех, кто стоял на стороне Дантеса.

«Дантес... старался привлечь на свою сторону друзей Пушкина и наше семейство,— писал Александр.— Я за это жестоко наказан угрызениями совести... Без сомнения, Пушкин должен был страдать, когда при нем я дружески жал руку Дантесу, значит я тоже помогал разрывать его благородное сердце». Ему понятно, что гений, составлявший славу своего отечества, «был оскорблен чужеземным авантюристом... желавшим замарать его честь». С гневом осуждая поведение высшего общества, Александр радуется, что широкая публика «приняла с таким энтузиазмом участие в смерти своего великого поэта, какого я от нее не ожидал».

Жуковский познакомил Александра с некоторыми сочинениями, которые находились в бумагах поэта. Они произвели на него огромное впечатление. «Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии»,— восклицал он с негодованием. Его поражает особенно могучая зрелость таланта — сила выражений и обилие великих глубоких мыслей: «...читая их, поневоле дрожь пробегает по телу и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения».



И, как горькое заключение, звучат слова: «...Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!»

С Екатериной Николаевной КАРАМЗИНОЙ Пушкин сблизился только по возвращении из ссылки. Тогда поэт оценил ее ум, дружескую сердечность, о чем красноречиво говорит посвященное ей стихотворение «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», вписанное в альбом 24 ноября 1827 года:

Земли достигнув наконец,  
От бурь спасенный провиденьем,  
Святой владычице пловец  
Свой дар несет с благоговеньем.  
Так посвящая с умилением  
Простой, увядший мой венец  
Тебе, высокое светило  
В эфирной тишине небес,  
Тебе, сияющей так мило  
Для наших набожных очес.

Заглавие стихотворения, пародирующее церковные песнопения, является своеобразной репликой на мифологическую тему «Ариона» — стихотворения о верности поэта идеалам декабризма. Стихотворения «Арион» и «Акафист» близки и темой спасения в «бурю», пронесшуюся над поэтом и погубившую его вольнолюбивых друзей.

В 1828 году Екатерина Николаевна вышла замуж за князя А. И. Мещерского. Семейная жизнь, частое пребывание в деревне из-за стесненных средств — все это отвлекало ее от привычной жизни, интересов, которыми жила семья Карамзиных. Но, приезжая в Петербург, она была желанной собеседницей Пушкина, А. И. Тургенева, П. А. Вяземского и многих, собиравшихся в салоне ее матери и старшей сестры.

Своему брату Екатерина Николаевна писала письма, полные сентиментальных, взволнованных чувств, но все они были малосодержательны.

Пушкины были дружески связаны с семьей Мещерских. В мае 1834 года поэт писал Наталье Николаевне: «Княгиня Мещерская и Sophie Karamsine едут за границу...» «Я провожал их до пироскафа»,— сообщает он жене 3 июня.

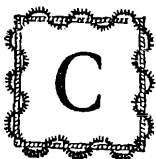
В день дуэли, как сообщает А. И. Тургенев, дети Пушкина были в гостях у Мещерских, и «мать за ними сама заезжала».

Екатерина Николаевна не любила света. Серьезная, умная и сердечная, она лучше своей старшей сестры сумела понять положение поэта, который делился с нею «темными», трагическими обстоятельствами последних месяцев своей жизни, и принимала взволнованное участие в его предсмертной драме.

В ее письме от 16 февраля 1837 года, адресованном сестре мужа М. И. Мещерской, содержится исчерпывающий рассказ о дуэли и смерти поэта, глубокая и верная оценка этих трагических событий. Она сообщала, что настолько потрясена «кровавым событием, положившим конец славному поприщу Пушкина», что ни о чем не может думать. Ей давно было ясно, какие нравственные муки претерпевал поэт в дни, предшествовавшие катастрофе. «Вся эта туча стрел,— писала Екатерина Николаевна брату,— направленных против огненной организации, против честной, гордой и страстной его души, произвела такой пожар, который мог быть потушен только подлою кровью его врага или же собственной его благородной кровью». В этом письме она возмущается обществом, которое бросает «грязью в то, что составляет его славу».

Е. Н. Мещерской принадлежит и меткая характеристика убийцы Пушкина — «гносного оболыстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени».

## Не видясь, виделись...



реди тех, кто в траурные дни 27—29 января 1837 года стоял в толпе перед домом поэта, был и студент Петербургского университета Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ. С юных лет Пушкин был для Тургенева «чем-то вроде полубога».

Живого Пушкина он видел дважды. Впервые — в передней квартиры профессора русской словесности П. А. Плетнева, куда его, студента третьего курса университета, пригласили на литературный вечер. Уже в передней Тургенев «столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да, да! хороши наши министры! Нечего сказать!» — засмеялся и вышел. Я успел только,— вспоминал Тургенев,— разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза. Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до тех пор не удавалось встретиться, и как я досадовал на свою мешкотность!»

И второй раз увидел Тургенев великого поэта в зале Энгельгардта уже за несколько дней до его смерти. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев рассказывал, как тот «стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню,— пишет Тургенев,— его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей — и кудрявые волосы...» Тургеневу запомнилось, что Пушкин производил в тот вечер впечатление человека «не в духе»: заметив к себе пристальное внимание молодого человека, он «словно с досадой повел плечом» и «отошел в сторону».

И вот теперь Пушкин мертв, а Тургенев невольно повторял про себя:

Недвижим он лежал... И странен  
Был томный мир его чела.

Тургеневу как-то удалось срезать локон Пушкина. Медальон с прядью волос великого поэта Тургенев хранил всю жизнь. Вместе с ним бережно хранился и пушкинский перстень-талисман, переданный ему сыном В. А. Жуковского Павлом Васильевичем. Тургенев знал историю этого подаренного поэту княгиней Е. К. Воронцовой перстня, воспетого в стихотворении «Талисман», — обладание этим перстнем имело для Тургенева сокровенный смысл: «После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю современной русской литературы, с тем чтобы, когда настанет и «его час», гр. Толстой передал бы мой перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».

Через два года после гибели Пушкина в Петербург навсегда переселился из Москвы Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ. Это был важный шаг в его жизни: Петербург оказался для критика «пробным камнем», здесь от примирения с действительностью он перешел на позиции революционно-демократические.

Основоположник новой русской литературы и родоначальник русской реалистической критики в истории национальной культуры стоят рядом: Белинский первым раскрыл художественное и национальное значение творчества Пушкина. А в жизни они разошлись...

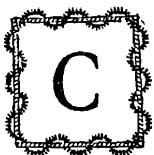
Так и не встретившись с Пушкиным лично, Белинский знал о сочувственном интересе к нему поэта. По поручению Пушкина о переезде в Петербург для сотрудничества в «Современнике» с критиком вел переговоры друг поэта П. В. Нащокин. В конце 1836 года он писал

в Петербург: «Теперь, коли хочешь, Белинский к твоим услугам. Я его не видел, но его друзья, и в том числе Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать».

Белинский не мог знать о том, что в библиотеке Пушкина хранились книжки журналов «Телескоп» и «Молва» с его статьями, разрезанные преимущественно на этих страницах. Резко полемические выступления критика против «Московского наблюдателя» с его аристократическими тенденциями сразу же были поддержаны пушкинским «Современником», самим поэтом и статьей Н. В. Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.». Послав в мае 1836 года Белинскому первый том своего журнала, Пушкин сожалел при этом, что в Москве «с ним не успел увидеться». В «Письме к издателю» Пушкин (его авторство не было известно Белинскому, статья была подписана: «А. Б.») сказал о молодом критике, что тот «обличает талант, подающий большую надежду».

Вскоре имя Белинского стало известно всей России. В цикле статей о Пушкине критик блистательно раскрыл роль и значение пушкинской поэзии как самого колоссального явления в истории русской литературы. В 1842 году Белинский писал Н. В. Гоголю: «Я не заношусь слишком высоко, но признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестнее — имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и все-таки больше всего этого меня радует доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников, и я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин».

**„Смерть Пушкина возвестила России  
о появлении нового поэта — Лермонтова“**



реда 27 января 1837 года была для Пушкина обычным рабочим днем; он разговаривал с библиотекарем Ф. Ф. Цветаевым о новом издании своих сочинений, просматривал материалы, предназначенные для «Современника», писал переводчице А. О. Ишимовой о том, что журнал заинтересован в ее сотрудничестве.

И вместе с тем это был необычный день, потому что в привычные литературные дела вмешивались хлопоты совсем иного рода — приготовления к предстоящему поединку, переговоры о часе и месте встречи. Около двенадцати Пушкин послал за пистолетами; о второй паре пистолетов позаботился секундант Дантеса виконт Огюст д'Аршиак, одолжив их у французского посла в Петербурге барона Проспера де Баранта.

Выстрел прозвучал коротко и отчетливо, разорвав сумеречную зимнюю тишину пустынной березовой рощи у Черной речки. Поэту оставалось еще двое суток борьбы, мучительной боли и ожидания неотвратимо приближающегося конца.

«Вчера, 29-го января, в 3-м часу пополудни, скончался Александр Сергеевич Пушкин. Русская литература не терпела столь важной потери со времени смерти Карамзина». Это короткое сообщение, помещенное на страницах главной столичной газеты — «С.-Петербургских ведомостей» — отозвалось пронзительной болью в сердцах тысяч петербуржцев; в их числе был и молодой гусарский корнет Михаил Лермонтов.

Недавно вылущенный в гвардию после окончания школы подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, что располагалась у Синего моста на Мойке, Лермонтов уже в самом начале своей военной карьеры внутренне опре-

делил свою судьбу как судьбу литератора, судьбу поэта: И в этой судьбе Пушкин занял место выдающееся: первые шаги Лермонтова на литературном поприще связаны с именем Пушкина (Лермонтов — ученик Московского университетского благородного пансиона — пишет в подражание Пушкину своего «Кавказского пленника», вводит пушкинские образы и некоторые строки в свои стихотворные опыты); известность Лермонтова как большого русского поэта началась со стихов, Пушкину посвященных (какой горький повод к тому, чтобы обрести поэтическую славу!); Лермонтову суждено было стать творческим наследником величайшего поэта России («Мы смотрим на него как на преемника Пушкина», — свидетельствовал Белинский); и, наконец, его трагическая смерть — это, по существу, того же рода кровавая развязка, к которой неизбежно шел Пушкин (как заметил Вяземский, «в нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Людвига-Филиппа. Второй раз не дают промаха»).

В последние дни января Лермонтов был болен, простужен. Он не выходил из дома и новости узнавал от лечившего его доктора Арендта, который навещал и смертельно раненного Пушкина. Что-то рассказывали друзья. Слухи были тревожны: уже перестали надеяться на благополучный исход, хотя поверить в то, что Пушкин умирает, было невозможно.

О том, что Пушкин умер, заговорили в день дуэли, вечером 27 января, и, видимо, на следующий день кто-то сообщил об этом Лермонтову, придя навестить захворавшего товарища в его квартиру на Садовой. 28 января Пушкин был еще жив — и 28-го же появились первые стихи, написанные на смерть поэта.

«Под свежим еще влиянием истинного горя и негодования, возбужденного в нем этим святотатственным убийством, он [Лермонтов], в один присест, написал несколько строф...» — так писал А. П. Шан-Гирей, трою-

родный брат и близкий друг Лермонова, оставивший ценнейшие мемуарные свидетельства о своем гениальном родственнике.

О том, как и при каких обстоятельствах возникли страстные поэтические строфы, запечатлевшие безграничное отчаяние и возмущение убийством Пушкина, мы знаем не только от Шан-Гирея, Лермонтов сам рассказал об истории их создания:

«Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке <...> Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей. <...> Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей...»

Так родились знаменитые 56 строф, поразительные по смелости, точности оценок и исторической проницательности; 56 строф, в два дня ставшие известными всему Петербургу; 56 строф, которые переписывали и передавали друг другу. Не исключено, что те, кто принес на Садовую весть о смерти Пушкина, и явились первыми читателями лермонтовских стихов, а затем и переписчиками. Так, Святослав Раевский, литератор и этнограф, сын старинной приятельницы бабушки Лермонтова Е. А. Арсеньевой, тут же изготовил копию стихотворения для своего знакомого А. А. Краевского, известного журналиста и издателя. Краевский передал текст Жуковскому, Вяземскому, Одоевскому...

Далее стихи выходят за пределы пушкинского круга



петербургских литераторов. Гвардейский улан Владимир Глинка не принадлежал к числу лермонтовских знакомых; он получил копию «Смерти поэта» от общих друзей и 30 января, в кондитерской Вольфа на Невском проспекте (27 января здесь перед дуэлью был Пушкин!), дал, в свою очередь, их списать приятелю — гусару В. Бурнашеву.

А через какое-то время лермонтовские стихи уже читают в Москве, Симбирске, Казани, Пскове, Михайловском, за границей... Их заучивают наизусть, им подражают, они на памяти у всех, кому близок и дорог Пушкин.

В одно из воскресений первой половины февраля Лермонтова посетил его родственник, камер-юнкер Н. А. Столыпин, чиновник Министерства иностранных дел. Лермонтов познакомился с ним несколько лет назад, в 1832 году, по приезде своем в Петербург; в дружескую близость это знакомство, однако, не перешло. Поддерживались родственные отношения; Столыпин изредка навещал тетушку Е. А. Арсеньеву и ее внука — своего ровесника Мишеля.

В то февральское воскресенье говорили, разумеется, о дуэли. Столыпин уже знал лермонтовские стихи, хвалил их за прекрасные строки о Пушкине, но резко возражал против обвинения в адрес Дантеса: «Как всякий благородный человек, он не мог не стреляться». И еще: иностранцы, состоящие на русской службе, по мнению Столыпина, не подвластны русским законам и не могут быть судимы русским судом.

Столыпин — дипломат, служивший под начальством графа Нессельроде, по словам одного из современников, — «один из представителей и членов самого что ни на есть нашего высшего круга». Этот высший круг, группа близких трону лиц, двор и большой свет решительно взяли под свою защиту Дантеса и Геккерна; хозьева раззолоченных салонов, средоточия недоброжела-

тельства и злословия, где рождались те гнусные сплетни и грязная клевета, которые привели Пушкина к гибели, не приняли участия во всеобщей скорби. «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине» — это суждение старшего друга Пушкина, общественно-го деятеля, историка А. И. Тургенева, подтвердил и спор Лермонтова со Столыпиным.

Лермонтов пылко возражал своему собеседнику; к вечеру этого же дня было готово прибавление к ранее написанным стихам:

А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправшие обломки  
Игрую счастья обиженных родов!  
Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Гения и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона,  
Пред вами суд и правда — всё молчи!..  
Но есть и божий суд, наперсники разврата!  
Есть грозный суд: он ждет;  
Он не доступен звону злата,  
И мысли и дела он знает наперед.  
Тогда напрасно вы прибегнете к злословию:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Было изготовлено множество копий и этой заключительной части стихотворения; экземпляры, по словам Святослава Раевского, раздавались всем желающим.

В. В. Стасов, в 1837 году учащийся-правовед, вспоминал: «Проникшее к нам тотчас же, как и всюду тайком, в рукописи, стихотворение Лермонтова «На смерть Пушкина» глубоко взволновало нас, и мы читали и декламировали его с беспредельным жаром, в антрактах между классами. Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе: «А вы, толпою жадною стоящие у трона» и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-

то в глубокое негодование, пылали от всей души, наполненной геройским воодушевлением, готовы, пожалуй, на что угодно, — так... заразителен был жар, пламеневший в этих стихах. Навряд ли когда-нибудь еще в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».

Именно последние 16 строк привлекли внимание III отделения как возмутительно вольнодумные. Если в первоначальном варианте стихотворения, без прибавления, власти в общем не усмотрели ничего предосудительного, то законченный, полный текст, смысл которого так отчетливо проясняла концовка, открыто называвшая виновников смерти Пушкина, неизбежно должен был навлечь на автора гнев и раздражение властей, поспешивших принять против него соответствующие меры.

«Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермантова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе,— писал Николаю I А. Х. Бенкендорф.— Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать».

Так было начато дело «О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским». Оно продолжалось около месяца и закончилось тем, что Лермонтова перевели тем же чином в Нижегородский драгунский полк, находившийся в Закавказье и принимавший постоянное участие

в боевых действиях против горцев, а Раевского отправили на службу (после месяца ареста) в Олонецкую губернию.

Стихотворение Лермонтова явилось событием в литературной и общественной жизни России 1830-х годов. Его высоко оценили Жуковский, Вяземский, Одоевский, Плетнев, Карамзины — друзья Пушкина, с которыми Лермонтов с этого времени особенно сблизился. В самом деле, стихотворение Лермонтова оказалось самым значительным среди прочих поэтических откликов на кончину Пушкина, которые представляли собою в большинстве своем традиционные стихотворения в романтическом духе; их содержание составляли горькие сожаления по поводу безвременной кончины гения, павшего жертвой неумолимого рока:

Полночной музы жрец любимый  
Сражен безжалостной рукой...

Стихи, принадлежавшие друзьям Пушкина, его ближайшему литературному окружению, выходили за рамки романтических штампов; многие из них носили глубоко личный характер и не предназначались для печати. Таковы, например, проникновенно лирическое «29-е января 1837» Тютчева, с его вечно живыми строками «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет» или прекрасное стихотворение Жуковского «<Пушкин>», записанное в пушкинском альбоме, приготовленном для будущих произведений (этот альбом Жуковский передал поэтессе Е. П. Ростопчиной, которая ответила ему посланием «Черновая книга Пушкина»):

Он лежал без движенья, как будто по тяжелой работе  
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,  
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем  
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,  
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,  
Что выражалось на нем — в жизни такого

Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья  
Пламень на нем; не сиял острый ум;  
Нет! Но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью  
Было объято оно: мнилось мне, что ему  
В этот миг предстояло как будто какое виденье,  
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:  
что видишь?

Ф. Н. Глинка, Э. И. Губер, В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. В. Кольцов, В. Г. Бенедиктов, Е. П. Ростопчина, И. П. Бороздна, Н. С. Теплова, С. И. Стремиллов, Е. Ф. Розен, Д. П. Сушков... Более тридцати стихотворений было написано на смерть Пушкина. И только Лермонтов сумел дать несравненную по поэтической силе, обобщающую оценку исторического, всенародного значения Пушкина; Лермонтов сообщил своим стихам подлинно общественное звучание, он единственный заговорил не просто о гибели поэта, но об убийстве, неизбежно определенном противостоянием Пушкина свету. В лермонтовском стихотворении — не только скорбь надгробного слова, но и страстность гневной, разоблачающей инвективы; в нем соединились поэт-элегик и поэт-оратор, поэт-трибун, проклиная «хладнокровных» убийц, которых ждет высший суд — «божий суд» и суд истории.

Через четыре с половиной года Лермонтов будет убит. На второй дуэли, оказавшейся роковой. За год до нее Лермонтов примет участие в поединке с иностранцем, французом, — сыном того самого французского посла барона де Баранта, который одолжил пистолеты д'Аршиаку; теперь эти пистолеты де Барант-младший намерен был употребить против собственного противника — Лермонтова. На этот раз по чистой случайности смертельного исхода не последовало. Лермонтову суждено было еще прожить чуть более года — 17 месяцев напряженной жизни боевого кавказского офицера, который выходил невредимым из жарких перестрелок и

яростных штыковых атак, но пал от руки своего товарища по армейской службе. Хорошо знавший и Лермонтова и его убийцу Мартынова генерал-адъютант П. Х. Граббе сказал, узнав о смерти поэта: «Несчастливая судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом, десять пошляков преследуют его до смерти».

Автор «Смерти поэта» очень скоро разделил трагическую судьбу воспетого им великого современника.



## СОДЕРЖАНИЕ

„ПЕТЕРБУРГ НЕУГОМОННЫЙ...“ М. А. Турьян . . . . .	7
«ОТЧИЗНЫ ВНЕМЛЕМ ПРИЗЫВАНЬЕ...». Р. В. Иезуитова	16
«Он в Риме был бы Брут...». В. К. Зажурило . . . . .	17
«...И всюду он гусар». В. К. Зажурило . . . . .	25
«Приятель всех арзамасцев». В. К. Зажурило . . . . .	30
«Princesse Nocturne». И. Б. Чижова . . . . .	36
«У НИХ СВОИ БЫВАЛИ СХОДКИ...». Р. В. Иезуитова .	46
«У беспокойного Никиты...». В. К. Зажурило . . . . .	48
«Одну Россию в мире видя...». В. К. Зажурило . . . . .	53
«Человек поистине замечательный...». В. К. Зажурило . . . . .	61
«Меланхолический Якушкин...». В. К. Зажурило . . . . .	66
«С Орловым спорю...». В. К. Зажурило . . . . .	69
«О ДРУГИ СМЕЛЫХ МУЗ...». Р. В. Иезуитова . . . . .	76
«Наш Тиртей». Р. В. Иезуитова . . . . .	79
«Философ резвый и пнит...». В. К. Зажурило . . . . .	83
«Наш Аристип и Асмодей...». В. К. Зажурило . . . . .	90
«Ленивец милый на Парнассе...». В. К. Зажурило . . . . .	99
«Страж верный прошлых лет...». В. К. Зажурило . . . . .	106

«ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ...». <i>Н. В. Королева</i> . . . . .	116
«Там наш Катенин воскресил...». <i>Н. В. Королева</i> . . . . .	122
«Колкий Шаховской». <i>Н. В. Королева</i> . . . . .	127
«Семенова — Трагедия». <i>Г. И. Назарова</i> . . . . .	131
«Кто мне пришлет ее портрет...». <i>Г. И. Назарова</i> . . . . .	135
«Дидло венчался славой...». <i>Н. В. Королева</i> . . . . .	138
«Блистательна, полувоздушна...». <i>В. К. Зажурило</i> . . . . .	142
«ГОРИШЬ ЛИ ТЫ, ЛАМПАДА НАША?...». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	147
«Балованный дитя свободы». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	150
«Философ ранний». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	155
Другие «младости минутные друзья». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	160
«ГОНЕНЬЯ ГРОЗНЫЕ...». <i>Р. В. Иезуитова</i> . . . . .	170
«Великодушный Гражданин». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	171
«У меня сейчас был Пушкин!». <i>В. К. Зажурило</i> . . . . .	175
«Лета и время образумят его...». <i>В. К. Зажурило</i> . . . . .	178
<b>„ГОРОД ПЫШНЫЙ, ГОРОД БЕДНЫЙ...“.</b> <i>М. А. Турьян</i> . . . . .	185
«СНОВА ТУЧИ НАДО МНОЮ...». <i>Р. В. Иезуитова</i> . . . . .	192
«Бог помочь вам, друзья мои...». <i>Я. Л. Левкович</i> . . . . .	213
«Я вас любил...». <i>Р. В. Иезуитова</i> . . . . .	224
«Любимец моды легкокрылой». <i>И. Б. Чижова</i> . . . . .	240
«В тревоге пестрой и бесплодной...». <i>Р. В. Иезуитова</i> . . . . .	251
«Трио». <i>И. Б. Чижова</i> . . . . .	266
«Коль ты к Смирдину войдешь...». <i>Г. И. Назарова</i> . . . . .	281
«С Гомером долго ты беседовал один...». <i>С. А. Кибальник</i> . . . . .	298
В орбите «Современника». <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	303
«Пасичник Рудый Панько». <i>Н. Н. Мостовская</i> . . . . .	347
«Ириней Модестович Гомозейка». <i>М. А. Турьян</i> . . . . .	359
«Гениальнейший дилетант». <i>М. А. Турьян</i> . . . . .	372
Три встречи с Владимиром Далем. <i>М. А. Турьян</i> . . . . .	383
Кавалерист-девица. <i>М. А. Турьян</i> . . . . .	393
Мимолетные встречи. <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	404



В Российской Академии. <i>В. К. Зажурило</i> . . . . .	423
В кругу художников. <i>А. В. Корнилова</i> . . . . .	429
Свидетели последних лет. <i>В. К. Зажурило</i> . . . . .	452
Не видясь, виделись... <i>Л. И. Кузьмина</i> . . . . .	464
«Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — Лермонтова». <i>И. С. Чистова</i> . . . . .	467

**ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ВСТРЕЧИ  
ПУШКИНА**

Составитель

*Людмила Евгеньевна Кошечая*

Заведующая редакцией *А. М. Березина*

Редактор *И. А. Сенина*

Младший редактор *В. Ю. Удалов*

Художник *Л. А. Яценко*

Художественный редактор *А. К. Тимошевский*

Технический редактор *Л. П. Никитина*

Корректор *В. Д. Чаленко*

\* \* \*

ИБ № 3096

Сдано в набор 15.05.87. Подписано к печати 04.11.87. М-38421. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00 + вкл. 1,40. Усл. кр.-отт. 24,15. Уч.-изд. л. 21,16 + 1,16 = 22,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 130. Цена 1 р. 60 к.

\* \* \*

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

**Петербургские встречи Пушкина/Сост. Л. Е. Ко-  
К76 шева.** — Л.: Лениздат, 1987. — 478 с., ил.

Сборник посвящен петербургским друзьям и знакомым А. С. Пушкина, которые влияли на его жизнь и творчество и сами испытывали на себе воздействие его личности.

Это члены тайных обществ Николай Тургенев, Никита Муравьев, Михаил Лунин, писатели А. С. Грибоедов, Денис Давыдов, Антон Дельвиг, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, художник О. А. Кипренский и многие другие — из различных слоев общества — актеры, книготорговцы, врачи, ученые, музыканты.

П  $\frac{4603010101-201}{M171(03)-87}$  170—87

49.1